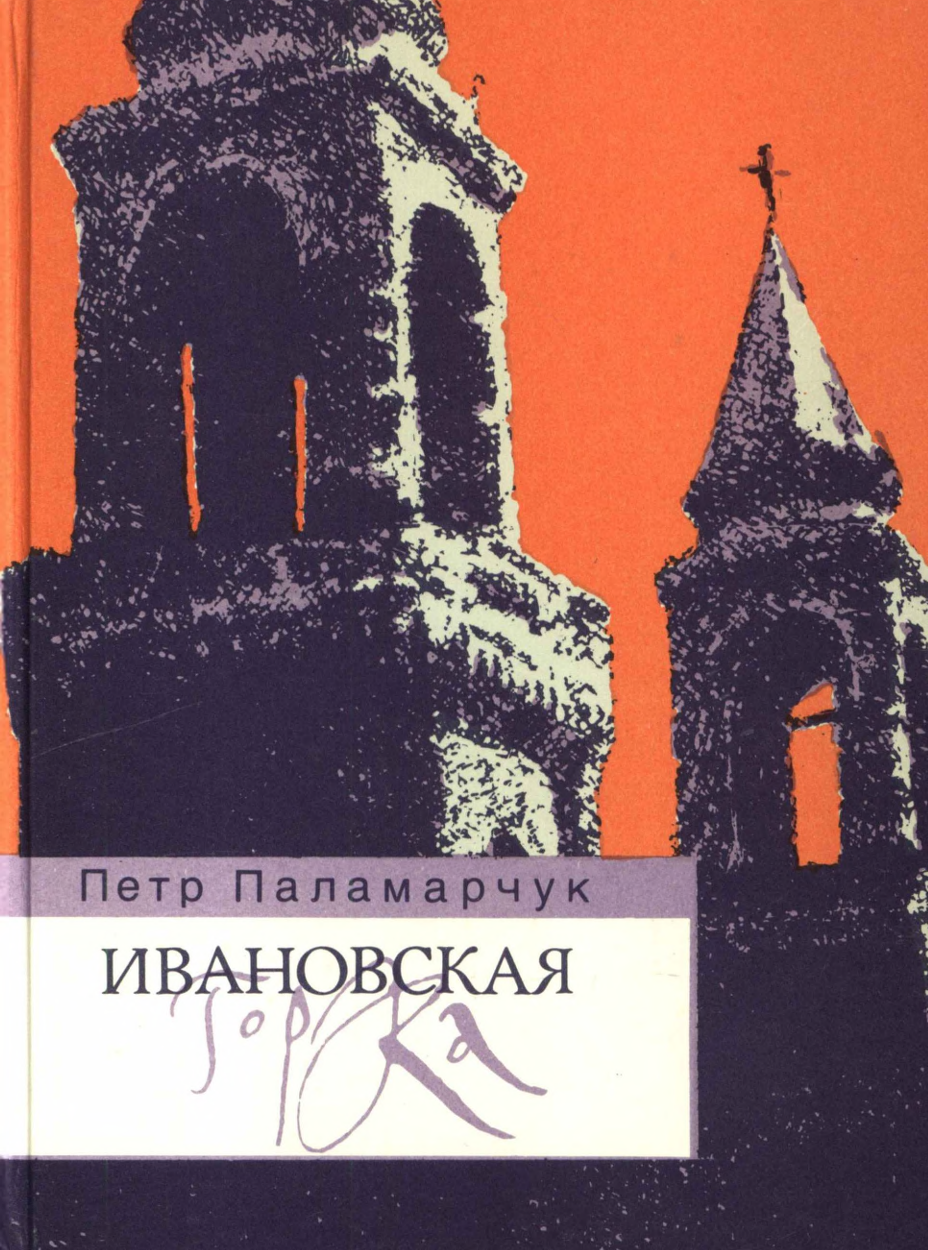

Петр Паламарчук
ИВАНОВСКАЯ
горка

Петр Паламарчук

ИВАНОВСКАЯ



РОМАН И ПОВЕСТЬ

Москва
«Молодая гвардия»
1989

ББК 84Р7
П 14

П $\frac{4702010201-165}{078(02)-89}$ 141—89

ISBN 5-235-00526-0

О ШИРОТЕ МЕРНОЙ И БЕЗМЕРНОЙ

Сочинение Петра Паламарчука необычно для сегодняшней литературы. Для подавляющего большинства читателей «роман» означает последовательно (или хотя бы с отдельными и четко обозначенными отступлениями) развивающуюся сюжетную историю. И многие могут быть, так сказать, разочарованы, столкнувшись с иной жанровой стихией. Я бы назвал эту книгу «сказанием».

Итак, сочинение необычно. Говоря так, чаще всего имеют в виду построение, форму произведения. Однако в сочинении Петра Паламарчука сложность, многосоставность построения естественно и даже необходимо вытекает из многоликости самого содержания.

Нужно прямо сказать, что за последние десятилетия наша словесность как-то слишком «выпрямилась» и обеднилась, обращаясь только к ряду «общепринятых», обкатанных областей и сфер жизни. Русская жизнь, являвшаяся у Гоголя и Лескова или, если взять XX век, в раннем творчестве Пришвина и Леонова, в неслыханном многообразии, в безмерной широте, приобрела гораздо более «однотипный» характер, сузилась и нивелировалась, причем независимо от того, изображалась ли современность или прошедшие эпохи, хотя бы тот же «осьмнадцатый век», которому посвящена бо́льшая часть сочинения Петра Паламарчука.

«Ивановская горка» как бы возвращает нам ту безмерную широту, несмотря на то, что действие, в сущности, не уходит за пределы небольшой местности в центре Москвы. Важно сразу же отметить, что Петр Паламарчук отнюдь не «идеализирует» эту широту. Недаром ведь Достоевский вложил в уста одного из своих героев многозначительные слова о том, что-де слишком широк русский человек и надо бы его сузить. Впрочем, нельзя не помнить, что идеал рождается только в реальном бытии, его (идеал) не создашь искусственно, и от «опасной» широты никуда не денешься — другого не дано.

Петр Паламарчук как писатель стремится идти в русле осознан-

во патриотического направления нашей литературы. Это направление часто обвиняют в идеализации или хотя бы «идиллизации» русской жизни. Но автора «Ивановской горки» никак не обвинишь в подобных грехах. Развертывая на страницах своего сочинения безмерную широту национального бытия, он не затушевывает черты зла, безобразия, лжи, жестокости, предательства. И все же в его сочинении нет какого-либо пессимизма и мрачности. Ибо в основе той самой «широты» — здоровый корень жизни народа, разметавшегося по невиданным просторам от Балтики до Тихого океана. И широта эта, повторю, очевидна и в тех людях и событиях, которые вроде бы стеснились на малой Ивановской горке.

Замечательные качества сочинения Петра Паламарчука — точное знание и исторического, и современного материала, а кроме того, что, пожалуй, еще важнее, подлинное владение этим материалом.

Ныне все бросились «в историю». Но как неприятно было прочитать недавно на страницах «Правды» в сочинении Ю. Нагибина «Пушкин-москвич» о том, что-де «архивные юноши», упомянутые в «Евгении Онегине», были, оказывается, бездельниками из богатых семей, ловящими чины в Архиве иностранных дел... Речь ведь идет о братьях Киреевских, Владимире Одоевском, Веневитинове — прекрасных юношах, которых Пушкин и высоко уважал, и душевно любил, в изданиях которых постоянно печатался.

И это, к сожалению, только один пример странного сегодняшнего невежества; их можно приводить сотнями и тысячами.

В работе Петра Паламарчука такое невозможно, ибо он, повторяю, не только знает, но и полностью владеет тем, о чем рассказывает. И сегодня это качество исключительно важно.

Автор совершенно справедливо говорит в своем «Обращении» к читателю: «История отечественная настолько художественней никогда не бывавших приключений... что на долю сочинителя оставалось лишь собрать ее, освободить от мертвой шелухи лжи...» Надо, однако, заметить, что это «оставалось лишь» на деле осуществимо только как плод напряженной и непрерывной работы души и разума.

Издание «Ивановской горки» является не просто еще одной ступенью в судьбе молодого писателя Петра Паламарчука, но и обогащением казны современной отечественной словесности в целом, ибо внесет в нее столь мало изведанные пласты и токи народного бытия. Поэтому-то я с глубоким удовлетворением приветствую издание нового сочинения Петра Паламарчука.

Вадим Кожинов

ИВАНОВСКАЯ ГОРКА

Роман о Московском холме

ОБРАЩЕНИЕ КО БЛАГОСКЛОННОМУ ЧИТАТЕЛЮ

«Лета к суровой прозе клонят...» — сетовал поэт на пороге своего тридцатилетия. Но куда, уже в свой черед, клонит проза? Стоя у черты того, что академик Д. С. Лихачев счастливо назвал «тысячелетием русской культуры», ответим — к истории. Общество в зрелом возрасте чрезвычайно озабочено вопросом о своих корнях, истоках.

Главное действующее лицо романа — холм посредине Москвы, носящий имя Ивановского. Имя, которое в просторечии нередко прикладывается ко всякому русскому; поэтому-то здесь, на площади менее одной квадратной версты, и сошлась этих Иванов добрая сотня. Лев Толстой некогда обмолвился о том, что-де стыдно писать про «Ивана Ивановича, которого никогда не было». Так вот, кроме нашего современника Вани-Володи, чьими глазами увидена тысячелетняя история холма, все остальные 99 Иванов совершенно доподлинные. История, а для нас в особенности история отечественная, настолько художественней никогда не бывавших приключений вымышленных «Иванов Ивановичей», что на долю сочинителя оставалось лишь собрать ее, освободить от мертвой шелухи лжи и расположить в наиболее выгодном для обозрения порядке, когда блеск сиюминутной пестроты уступает место могучей красоте единства.

Дерзнувший приняться за русский роман ставит себя в чрезвычайно ответственное соседство с высочайшими образцами. Он связан заочною клятвой быть немногословным и вести речь лишь о том, что называется «самое главное». Наследственная крепость духа, связь настоящего со славным прошлым и противостояние всякого разбора сектантству —

то есть, в исконном значении слова, расколу, — вот что составляет предмет этой книги. Он злободневен и насущен — недаром же первый сектант-«каженик» явился на Русь всего через шестнадцать лет после ее крещения. За протекшие с тех пор десять веков секты оторвали от народного тела не только десятки миллионов старообрядцев, о чем более или менее известно. Малоизученным, а потому и более опасным соблазном служат зародившиеся у нас изуверские толки хлыстов и скопцов, а также их великосветская ветвь — «вольное каменщичество», масонство. Со всею этой нечистью при настоящем жадном любопытстве к родной истории следует быть постоянно начеку, чтобы вместе с сокровищами не откопать тонкий трупный яд.

Всего двадцать лет назад Историческая энциклопедия могла позволить себе заявление, что «в настоящее время» масонство на Западе «заметной общественной роли не играет», да и в России после 1822 года тоже (автор статьи Ю. М. Лотман). А еще немного спустя пришлось заговорить о том же совсем на иной лад... Между тем немало крови и душ положено было на преодоление в прошлом у нас этих грозных соблазнов; и важно, чтобы выработанное противоядие не пропало даром — слишком большою ценой оно было куплено.

В 1986 году наконец вышло в свет первое художественное исследование трудных путей духовных поисков наших предков девятнадцатого века — роман Владимира Личутина «Скитальцы». Кому-то может показаться, что описанные в нем искания дело давно минувших дней. Но это глубоко неверно. Недаром же на нашем тысячелетнем холме по сей день и час работают не только Российская историческая библиотека с городским отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, но ежедневно звонит православный храм, сотни москвичей и иногородних посещают молитвенный дом баптистов, общину адвентистов седьмого дня и хоральную синагогу; а кое-кто и Управление по выдаче виз желающим поменять Родину. Духовная борьба продолжается, и закрывать на нее глаза безрассудно. Это в особенности показали недавно окончившиеся годы полуправды, когда из-за отсутствия гласности выработалась привычка всякое печатное слово воспринимать шиворот-навыворот.

Роман двигается вперед тремя путями, тремя кругами, имеющими, однако, как загадочная Мёбиусова лента, одну общую поверхность. Это многоцветная история Ивановской горки, полная самых разнообразных приключений плоти и духа; подлинное жизнеописание вора-сыщика «осьмнадцатого столетия» Ваньки Каина, — и поиск, скорее даже гонки за правдой нынешнего жителя горки, Вани-Володи. О Каине, являющемся как бы его черной тенью, следует еще сказать особо. Темного, скажем более — захватывающе-мрачного у него в достатке, как, впрочем, и в нескольких других событиях, происходивших на Ивановом холме; хотя праведниками он тоже обделен не был. Впрочем, праведник стоит на прямом пути, и не его приходится спасать в первую голову; но и всякий человек, покуда еще дышит душа его, полномочен сделать собственный выбор по совести. Не напрасно же бытовало у нас поверье о том, что само слово «покаяние» идет от имени древнего грешника Каина. И пусть на поверку «каяться» представляет собой древнейший, общий всем индоевропейским народам глагол — очень многое говорит сердцу именно эта народная этимология.

В конце концов, как водится, все три пути сходятся к перекрестку трех классических единств: времени, места и действия; перед действующими лицами встает во весь рост вопрос выбора. Но он куда как непрост, поскольку вовсе неоднозначно и Зло как таковое; одно из главных его коварств — навязывание ложного «выбора» меж двумя равно погибельными дорогами, которые где-то в кромешной тьме сходятся вместе. Здесь это мнимое противостояние надменного раскола — и спесивого сознания себя обладателем конечной «истины», никому более не доступной; а отец обоих крайностей один — лукавая гордость, корень всех прочих пороков. На деле же вопрос стоит совершенно иначе: на свою собственную землю опираемся мы — или на тень древнеримских холмов и отживших поверий об «избранном царстве»?

Еще в XVII столетии поборник славянского единства Юрий Крижанич сделал этот выбор так: не в уподоблении Руси ветхому Риму, считал он, а в укреплении народных устоев великой славянской державы состоит ее сила и спасение. О том же, по сути, говорит и А. С. Пушкин в неотправленном послании к П. Я. Чаадаеву по поводу его первого «Фи-

лософического письма», опять-таки неоплошно сопрягая вместе двух столь противоположных Иванов, как дед Иван III и внук Иван Грозный: «Пробуждение России, развитие ее могущества, ее движение к единству (к русскому единству, разумеется), оба Ивана, величественная драма, начавшаяся в Угличе и закончившаяся в Ипатьевском монастыре... клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, какой нам Бог ее дал».

В романе использованы
исторические разыскания
Татьяны Ивановны Молодцовой
и Сергея Константиновича Романюка,
которым сочинитель
выражает благодарность.
Страницы, посвященные Ваньке Каину,
содержат почти полностью и дословно
его подлинное жизнеописание.

Нумерация глав составлена
в хронологической последовательности
событий,
однако размещены они по-иному,
в соответствии с собственно
романным порядком.

...Бывали и в нашем отечестве в натуре чудные явления и в обществе великие дела и многие достойные примечания перемены; бывали и есть разумные Градоначальники, великие Герои, неустрашимые Полководцы; случались с многими людьми такие приключения, которые достойны б были занять место в историях; бывали и есть великие мошенники, воры и разбойники; но только мало у нас прилежных писателей...

МАТВЕЙ КОМАРОВ,
ЖИТЕЛЬ ГОРОДА
МОСКВЫ.
Обстоятельное и верное описание
добрых и злых дел
Российского мошенника, вора, разбойника
и бывшего московского сыщика Ваньки Каина,
всей его жизни
и странных похождений.

Санкт-Петербург, 1779 г.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ВАНЯ-ВОЛОДЯ ВЫХОДИТ НА ОХОТУ

1

Породила да меня матушка,
Породила да сударыня,
Во зеленом-то саду гуляючи,
Что под грушею под зеленою,
Что под яблонею под кудрявою,
Что на травушке на муравушке,
На цветочках на лазоревых.
Пеленала меня матушка
Во пеленочки во камчатые,
Во свивальники во шелковые;
Берегла-то меня матушка
Что от ветру и от вихорю.
Что пустила меня матушка
На чужу дальну сторонушку.
Сторона ли ты, сторонушка,
Сторона моя незнакомая!
Что не сам-то я на тебя зашел,
Что не доброй меня конь завез:
Занесла меня кручинушка,
Что кручинушка великая —
Служба грозная государева,
Прыткость-бодрость молодецкая
И хмелинушка кабацкая...

2

Песня летучею мышью вспорхнула с темной застрехи памяти, словно давным-подавно забытый в толще страниц писчий лист, выскользнувший невзначай на волю из ветхой, набитой ятями книги, которую досужный хитрец играючи выворотил гармошкой. То ли бабка, то ли нянька, то ли еще кто-то безымянный, стоявший двумя ступеньками ниже на лествице поколений, пел ее когда-то над Ваниной колыбелью и сокровенным гостинцем потихоньку оставил в уголке про-

шлого, уходя навсегда к себе в забытье, — но вот в одно из самых страшных мгновений она и подвернулась под руку, торопясь хоть чем-то утешить, утишить боль.

Пробудившись еще только начерно, вполсилы, Ваня-Володя тотчас осознал главную навестившую его беду: у него ушла прочь душа. То есть там, где в левой части груди помещается у человека под ребрами сердце, ощутимо бился теперь один лишь заученно трудившийся над перекачиванием по кругу крови рабочий насос, но ни в нем самом, ни где-то «за» ничего уже более иного не оставалось.

И тогда перед ним распахнулся бездонный, своеобразно даже красивый совершенною чернотой мрак отчаяния, соседствующий разве с непереступаемой попятной стопою чертой смерти, — всей беспредельной основательностью глася, попросту вопия о собственном царском достоинстве в обширнейшем государстве рядовых неудач и обиходных несчастий, каких служит у него на побегушках тьма-тьмущая.

3

Между тем началось все как раз с неурядицы куда скромней по размаху, но навряд ли менее досадительной: третьего дня — так точно, коли сегодня с утра на дворе четверг, значит, третьего, в понедельник — ушла от него жена.

Ну, это-то, кстати слово молвить, дело вполне житейское, — подумал он, сравнивая два горя дородностию и ростом, — и здесь еще вполне можно выбирать: либо примириться по обыкновению, либо, напротив, окончательно —

Тут он слегка повел затянутым поволокою полусонок глазом вправо и окостенел от новой волны испуга, увидав наяву, что лежит не один. Ваня-Володя дернулся на тощей, истисканной за ночь повинною головой подушке, не желая сразу поверить в то, кто именно составил ему нынче соседство...

Совсем рядышком, и ладони не было расстояния, с мертвою величавостью могильного памятника роскошно-холодно покоилось потрясающе красивое женское лицо, осененное полукольцом буйных изжелта-седых кудрей по плечи. Глаза были распахнуты настежь и застыло, нисколько не мигая, упирались в слабо расцветающее ранним весенним светом оконце на дальнем конце пенала комнаты.

— Дай курить, — спокойно приказало лицо, безошибочно угадавши про Ванино пробуждение и одновременно самим расколотым звуком слишком уже знакомого голоса лишая последней надежды ошибиться при узнавании так, чтобы каким-нибудь чудом все же оказалось, что это не Сонька — жуткая потемочная душа околотка Сонька Власова по прозванию Рак.

4

Некогда она была пронзительнейшею красавицей, получившей тот не выслуженный ничем, полный вскрай дар взаймы от скряжистой обычно и на единый талант людской доли; а затем очертя голову отказалась признать прав́а своего ревнивого ростовщика-заимодавца и прямиком загремела в долговую яму к самой судьбе. Неотвратимая внешняя прелесть накатила на дворницкую дочерь-татарку совершенно незвано — и та сразу пустилась пользоваться ею напропалую, нарочно даже изгаляясь всяким свежим успехом перед безответным, присутуленным, метр-с-кепкою мужем, навязанным насильно общим советом землячества. Подлинной ее семьею сделалась разухабистая московская улица, — но она же потом и обратилась в палача Соньки, не сладившей с вожжами собственного естества.

Первая залетная беременность была скоро пресечена левым абортом, как заколот был потом в своем потаенном студенистом шаре еще не один недовоплотившийся младенец, чересчур уж настырно, по ее мнению, торопившийся проникнуть в подсолнечный мир. Когда же ради расширения жилой площади решено было все-таки очередного из них «оставить», случилось непредвиденное: ребенок погиб во чреве, истыканном спицами доморощенных акушерок, так что вытаскивать его тушку наружу в больнице пришлось посредством целой машины из гирь, колес и капроновых нитей, — но сама Сонька стала с той поры что ни день безостановочно усыхать и года через три превратилась в сущий скелет, действительно напоминающий вялого рака, словно для издевательства увенчанный оставшейся ничуть не тронутой сухоткою невероятной красоты головою, повитой копною пепельных, словно у самой Смерти, волос.

Отчаяние еще подстегнуло ее привычное любвеобилье, которое пришлось теперь уже вовсе некстати, ибо достаточно было только однажды увидать Соньку теперешнюю во плоти даже не полностью, чтобы уже никогда не суметь позабыть этот страшный образ последнего наказания и понести его на всю жизнь в памяти, как подлинный ожог. А позже к цепной своре несчастий прибилось и жестокое поверье, развившееся из уличного прозвания, будто всякий, кто дерзнет вопреки воплям своей души все-таки коснуться до Соньки, непременно не кончит добром и притом в весьма краткий срок: рак-болезнь за горло ухватит, пойдет пятнами метастаз по всему телу и заживо-де сгноит...

Тогда-то и исполнилась мера ее мучений, за которые Сонька была бы всячески достойна искреннейшей жалости, не изостри беда ее и так изрядно отравленный гнилыми словами язык. Мужа, зачем-то не пожелавшего даже такую ее отпускать, она сама, гнушаясь его любовью, сбила со двора прочь и день-деньской терлась в поисках новичка подле тех плотно населенных сараюшек, где собираются после работы мужчины погалдеть про обыденную ерунду над пенною кружкой. Сама Сонька, впрочем, совсем почти не пила, ей приходилось лишь притворяться, выказывая поддельное пристрастие ради последних приличий, — и ежели чужого прохожего не поспевали предварить доброхотные завсегдатаи, он вскоре становился однодневной добычею пропащей детоубийцы. Впрочем, в последние годы и мальчуганы, как раньше говорилось, «в самом наусии» тоже перестали застревать в ее худых сетях; единственным уловом служили заезжие восточные или даже африканистые лейтенантики, выпархивавшие стаями после занятий из соседней инженерной академии, но и тех старшие чином умели порою по-свойски предостеречь хоть и на чужеземном наречии, но все равно столь внятно, что неминуемо попадали под сногсшибательный поток Сонькиных проклятий.

5

...Этот третий уже удар, после тех, что пришлись в лоб и под дых, был бы наверняка наповал, коли б сострадательный Ваня-Володя не поторопился повиноваться женскому

сказу и не спрыгнул сейчас долой с кровати за куревом: только тогда он с некоторым облегчением обнаружил, что как завалился давеча порядочно подгулявши, так и проспал всю ночь напролет одетым в коричневый тренировочный костюм, называемый в просторечии «трико», — и невидимый Промысел тут, как видно, ненадолго все-таки сжалился, милостиво лишив отважившегося на преступление заповеди прелюбодея способности довершить делом свое задуманное падение.

С тем живейшим презрением молча следила со спины Сонька, покуда он долго и безуспешно ковырялся в далеком ящике, выуживая заначенные для дымящих гостей папиросы — ибо у них с женою этой страсти взаимно не важивалось. Роясь впотьмах полусогнувшись, Ваня-Володя вдруг явно почувствовал, что насупленно наблюдает за ним не только она, но и вся выморочная — он как-то краем уха слыхал, будто прошлый хозяин чуть ли не здесь прямо дни окончил — длинная комната, брезгливо созерцающая грешное гомозящееся тельце очередного суетливого постояльца.

Выдавши наконец неладной гостье потребное, он не сразу вспомнил, что пора бы уже и разогнуться, вслед за чем с каким-то почти слышимым треском развернул привычные за многие годы к согбенному колесовидному положению кости. Затем безнадежно переворошил еще раз женины книжки на трех навесных полках — она собирала исключительно путеводители, от бедекеров прошлого века, изданных пароходствами и частными предпринимателями, до нынешних толстых в белых на целлофане обложках и жиденьких в мягких желтых. Но на самом-то деле он еще позавчера перерыл их наискось и поперек в поисках хоть какого-то указания, куда же могла податься в бега его скорая на подъем половина, и тогда уже подивился в сердцах: путеводительных указаний хоть пруд пруди, ан идти-то и некуда!

— Сошел с круга вчистую, — горестно произнес он про себя в наставшей там гулкой пустоте и бросился наутек в прихожую, почуяв всей кожей, что искурившая свою цигарку подруга примется сейчас одеваться, а уж при этом присутствовать было бы вовсе невыносимо. Распахнув двери, вышмыгнул за них прочь и будто нарочно зацепился здесь сразу взором за двойное наглядное воплощение этого недавно покинутого им заколдованного кольца: собранный своими руками

с высочайшей прилежностью из сотни только настоящему знатоку ведомых в подлинном достоинстве деталей гоночно-дорожный велосипед, подвешенный кверху ногами на стене коридора.

6

Словно назло стремясь еще ярче уязвить воспоминанием об остановленных недавно бесконечных гонках, задний обод сам собою тихохонько обращался против часовой стрелки, стрекоча спицами как кузнечик...

Ваня-Володя торкнулся было в ванную, где по неловкости оплошно выдавил в рот наместо содержимого тюбика зубной пасты колбаску пенистого шампуня и, изрыгая страшные хулы попутно с целыми залпами радужных мыльных пузырей, вылетел обратно.

Тут он вновь осоловело уставился на бывшее свое орудие производства, безотчетно пришевеливая пальцами в широких боковых карманах спортивных порток в обтяжку, смахивавших на сильно выродившиеся гусарские лосины, — а потом вдруг чем-то подспудным осознал, что и здесь тоже находится не один. Поводя по сторонам не сразу обвыкшимися в коридорной полумгле очами, он наконец обнаружил другую пару глаз, хищно блестевших из дальнего угла рядом с вешалкою, сплошь заваленной темными одежками жильцов всех трех комнат их общей квартиры. Из самой толщи этого плотяного мрака в него и впивались двое зрачков, вокруг коих он уже более угадал, нежели углядел колкие жучьи усы, столь же смоль-смоляной прямой чуб и подбритые виски своего соседа Катасонова, имени которого за суетой недавнего переезда сюда никак не поспевал запомнить; да и мудрено было, поелику того никто иначе чем звучным фамильным прозвищем не величал.

Убедившись, что он раскрыт, Катасонов гулко засмеялся и выразил снисходительное сочувствие:

— Докатался, братец? Как поет поэт Рубцов —

> Стукнул по карману — не звенит.
> Стукнул по другому — не слыхать.
> В коммунизма облачный зенит
> Улетели мысли отдыхать...

И тут он еще раз хохотнул, скрепивши своим смехом верность высказанного утверждения на тот же пошиб, как богомольцы вершат молитву аминем.

7

Правду сказать, он почти не ошибся, ибо, оказавшись теперь на мели — временно безработным и к тому же обезжененным, — Ваня-Володя встал сегодня с одра своего гол аки сокол, но у него-то самого как раз этой простой мысли в мозгу еще не возникало: так что сосед угадал ее, так сказать, наперед.

Обрадованный попаданием собственного предвидения прямо в яблочко, Катасонов, бодро жужжа наподобие тяжелого майского жука, выкатился из-за вешалочного укрытия и застыл перед Ваней-Володею, молодцевато поводя усами, будто хрущ сяжками. Пока тот размышлял еще, в каком наклонении произнести положительный ответ, Катасонов ретиво откусил преизрядный заусенец на указательном персте и со смаком проглотил его, для верности предварительно разжевавши в полуотворенной пасти зубами. Кадык его при этом сладострастно забился под тонкою кожей, и, завороженно разглядывая его трепетание, Ваня-Володя наконец решился выговорить внятно:

— Пожалуй. Испросачился дочиста.

На это его грустное заявление собеседник удовлетворенно покивал острым упрямым лбом с ворсистым утесом волос, глубоко врезавшимся в бурное морщинное море.

— Знаешь, что я тебе скажу, Иван, — не сбрасывая скорости, с маху переключился он на совершенно иной, подчеркнуто деловой склад речи, — продай-ка мне ве́лик! Все одно ж ты его уже позабросил. Тебе нужны тугрики, а мне, как я есть литсекретарь, на нем куда как способней будет по переулкам от букиниста к букинисту летать: чай, не «Волга», постовой на штраф не позарится, а и попробует — так дворами уйду, шиш догонишь...

Ваня-Володя сперва не на шутку испугался этой сделки: ничего себе предложеньице — взять да загнать, как изношенные башмаки, былого кормильца, угнездившегося тут вековать на покое заслуженную старость!

Но потом, воскресивши пред внутренним взором все былые невзгоды, которым тот служил неопустительным живым напоминанием, всякий раз тычась почем зря в глаза подле дверей, — столь же отчаянно бесшабашно сдался:

— Давай, только не глядя, сейчас!

8

— Прямо сию же минуту?! — подивился сверх ожидания скоро добытому согласию Катасонов, но времени терять не стал и сразу принялся изучать механизм, начавши с выписанного латиницей на раме названия фирмы «Диамант» — конечно, для виду, потому как раз уж подкатился так с лету, то, должно быть, успел в одиночестве осмотреть хорошенько вожделенное приобретение.

— А ведь он у тебя, Ваня, того: сборная селянка, — изрек он с видом знатока-доточника, косвенно сбивая цену.

— Угу, — не разобравши этого оттенка, довольно согласился тот. — Своеручно свинтил от разных машин из наилучших частей.

— Э-э, мил человек, да такой-от ведь и в комóк-то не примут...

— Зачем же в комок; я лучше ребятам по старой памяти сбагрю, — оскорбился за кровное свое произведение Ваня-Володя, прихлопнув доброго скакуна по седлу, но тотчас сообразил, что теперь уж ни за какие коврижки к треку и за версту не подойдет — и осекся.

— Так что вот как знаешь: с ходу больше тридцатника ни копья, — спокойно оценив степень его растерянности, произнес свой жесткий приговор Катасонов.

— Да ты что, сбрендил?! — взвился бы, если б еще оставались силы, а то просто так захрипел Ваня-Володя. — Это же разбой середи бела дня...

— Да еще нет ли восьмерок, — уверенно гнул свое Катасонов, давая продавцу время сообразить, что, снявши голову, по волосам плакать не след, и вновь рассчитал удар точно: наморщив от обиды лоб, тот одним махом сорвал велосипед с крюков на пол:

— На, пробуй, здесь есть где!

9

— Ишь ты, шустёр, прямо тут! Я лучше на двор сойду, — продолжал додавливать Катасонов. — Дело оно нешуточное...

— Пошли, — решительно дернулся за ним Ваня-Володя.

— Нет уж, дудки-с! Покупного коня объезжать положено без помех, — отсек сосед. — Ты погоди минутку, я только сделаю круг да вернусь за деньгами.

Он чересчур что-то прытко сгинул в парадном, а Ваня-Володя, припомнив о залетной гостье, двинулся было назад к себе. Но сразу в дверях, чуть не влепив ему створкою по носу, на него налетела сама Рачиха и, обдавши пряною смесью густейшего табачища с крутым презрением, тоже прянула наружу, кинув на прощание:

— Слабак! Слизень...

Ваня-Володя, как ни был готов к подобному оскорблению, все же обмяк и вновь сгорбился; но, собравшись с остатками воли, заставил себя во второй раз насильно распрямить кости, опять-таки отметив явственный хруст в суставах и — полную выпотрошенность внутри. Вместо души там зияла, разинувши жаждущий зев, одна порожняя и ничем не заполнимая емкость.

Он убито прикорнул, свернувшись рогулькою на подоконнике, ожидая увидать вскоре гарцующего в стременах «Диаманта» Катасонова, но тот все не появлялся.

10

Постепенно раздумываясь так в полной праздности, Ваня-Володя начал уже не на шутку беспокоиться, потому что отсутствие соседа делалось что ни минута непристойнее; но вот из коридора раздался долгожданный тяжелый грохот. Бывший уже наготове к прыжку Ваня-Володя рванулся туда что было сил — однако, на удивление, никого за стеною не обнаружил.

Он уж отважился было заглянуть самостоятельно в смежную комнату, произведя осторожный стук по замку костяшкою согнутого мизинца, но там тоже ничто не отозвалось, и в самый последний миг Ваня-Володя опять обробел.

Тогда его навестило спасительное обходное соображение —

зайти спросить совета у старухи Лощеновой, третьей их жилички, настолько степенной и тихой, что у него еще со вчерашнего вечера зародилось даже подозрение: уж не к ней ли под крыло сиганула с тоски его ушедшая в нети строптивая Вера?

Он сделал еще три шажка в темную глубь коридорной кишки и достиг тонкого лезвия света, лежавшего наискось на полу, вытягиваясь из чуть растворенной двери дальней отдельной комнаты. Кашлянул раз-другой, потоптался и вдруг, как ныряют «рыбкой» головою вперед в холодный омут, просунулся внутрь, пробарабанив громко в неведомое пространство. «Можно к вам в гости, Евдокия Васильевна?»

В ответ преспокойно донеслось следующее:

— И сия рек, изыде со ученики своими на он пол потока Кедрска, идеже бе вертоград, в оньже вниде сам и ученицы его...

11

— Чего-чего?! — ошарашенно переспросил Ваня-Володя, но старуха уже захлопнула почтенную золотообрезную книгу, откуда, по всей видимости, и было вычитано чудное славянское предложение, дунула привычно на свечу, фитиль которой мигом послушно загас, и повернулась всем лицом навстречу вошедшему.

Он не однажды уже наталкивался на нее в местах, как говорится, общего пользования, однако за недосугом семейной передвижки рассмотреть спокойно в самородной обстановке впервые сумел только сейчас. Она была сероглаза, востроноса, невелика росточком, изрядно суха, даже поджара, явно лет около восьмидесяти, если не более, потому что волосы, отседев, сделались уже рыжевато-русы, — в общем, как будто образцовая рядовая великого засадного полку исконных русских старух.

Все, что ему было ведомо до сего часа из косвенных упоминаний жены-беглянки, вызванных теперь на поверку из подполья памяти, сводилось к тому, что старая их соседка состояла в числе коренных местных жилиц и чуть ли не совладелиц самого дома. С младых ногтей оставшись без родных и наследства, она начала работать домашнею воспита-

тельницей при чужих малых детях, да и посейчас не бросала этого привычного занятия, тем паче что нынче ее роднило со своими питомцами то особое зеркальное сходство, по которому у тех за плечами было столь же краткое расстояние до вечности, какое оставалось ей впереди. А вот собственной семьи, кроме подросших подопечных, первые из коих сами вошли в дедовский чин, у нее так и не собралось, поэтому раз в году где-то посредине зимы на день ее рождения сходились, как говорят, одни эти воспитанники, а по будням ее и видать не было — старуха жила и спала при чередном малыше, возвращаясь домой на выходные, да и то необязательно во всякий из них.

12

— Нету у вас случаем Катасона? — по-свойски поджав фамилию должника, осведомился, еще раз прикашлянув из приличия, Ваня-Володя и сразу отметил, что при звуке этого имени в глазах у Лощеновой что-то померкло — она нашлась только мотануть в отрицании головою.

— А Вера моя в последние дни не являлась? — отважился он на дальнейшие расспросы, но тут уж та вовсе никак не отозвалась, занявшись вплотную доглядчивым изучением его внешности.

— Пить небось хочется, — определила она утвердительно, а потом, как будто спохватившись, доброхотно предложила: — Откушай-ка со мною чайку, самого крепкого, только сейчас запарник настоялся. И бодрит: заварка особая! Богородичная травка — чебрец...

— Надо же, — подивился Ваня-Володя на то, как это он так расслабился, что по его лицу всякий горазд читать, будто на доске объявлений, внятной для каждого мимохожего, за исключением лишь ее самой, что знай висит и ничего о себе не смыслит. Его взаправду подсознательно томила сущая жажда, так сказать, совесть тела за вчерашние буйства, но, позабывшись представиться как положено по имени, она сохранила рассудок в полном неведенье о своем приходе.

Он присел на краешек стула в красном углу под цветными, раскрашенными акварелью открытками, что заменяли в чрезвычайно простой обстановке комнаты дорогие образа,

схватился за поданный стакан будто за поручень и стал потихоньку отхлебывать кусаче-пахучий кипяток, подумав еще вдобавок, как это замысловато иной раз на белом свете складывается — он ведь еще с первого взгляда, только ввалившись с узлами в квартиру, решил не колеблясь, что дальняя их соседушка, что называется, дышит на ладан; и она действительно обернулась такова, да только дыхание сие оказалось столь крепко, что не ровен час еще их с Верою переживет.

13

— Нету твоего Ката теперича дома, — погодя немного все же сообщила так же уверенно хозяйка, пуще Вани сократив до предела его прозвание, и затем отчего-то предъявила к просмотру указательный палец на десной руке. — Понял?

Ваня-Володя всем своим видом выразил недоуменное неведение — ни о персте, ни о том, как это она упроворилась так наверняка вычислить передвижения третьего их сожителя, явно не выходивши покуда сегодня на общую площадь.

— А потому только, — размеренно пояснила она далее, — что когда он тута, так подушечка у меня коло ногтя начинает тотчас сама собой пухнуть, да порой разболится и посинеет до того, что просто моченьки нет, и работать никак невозможно.

Будь это в другой день попроще, когда сознание Вани-Володи бывало надежно прикрыто бронею здравого смысла и наполнено хотя вполовину живою душой, он непременно принялся бы за сомнения в правдивости хитрого соответствия; но сегодня ему было не до проверок, и он с легким сердцем — или, точнее, с пустым — запросто положился в том на Лощениху.

— Ты вообще с ним поосторожнее, — предупредила она заговорщицким голосом. — Он тебе главная закавыка, а миновать-то совсем нельзя, так что при встречах крепись особо.

Опять-таки позавчера, если уж точно не на той неделе, Ваня-Володя быстро бы докумекал, что это говорит в ней, должно быть, еще родовая, наследственная соседская свара,

но нынче на такие околичные опасения у него недоставало духу, да и мыслить было недосуг.

— Особенно у него, там лучше вообще не задерживаться — ни вдвоем, ни наедине, — продолжала напевать старушенция. — А то я как-то зашла спросить бумаги, давнее было дело, и ведь точно чуяла, что сидит у себя: слышно в упор из-за стенки, двери открыты, и дух еще не простыл никак, спертый, — ан видать успел-таки спрятаться. Вот я сперва не сообразила того, подошла ближе, думала, он за стол заронил чего и там возится — на столешнице чтой-то шевелилось. Только доткнулась до крышки, глядь — батюшки-светы, вся в червях!..

14

— Да так само и родня, цельный корень их ядовитый, — видя его легкую убеждаемость, заводила она все дальше в чащу своих сказаний. — Лет уже семь тому стала я как-то больно чихать-сопливиться; и ведь от роду ни разу не баливала, ан детям-то хворый вовсе не пестун, и куды ж тогда: прямо ложись да с голоду помирай! Ну, принялась на досуге-то пальтецо латать — да прямо из-за подкладки выудила иглу с человечьим на ней волосом обмотанным, и так это все ловко в полé пришпандорено, нарочно не сыщешь! Но уж нас не проведешь на мякине, дело известное — надо ее сразу на огонь и жечь, доколе изверг сам не заявится: сердце у него так защемит, что не захочет — приползет и сознается.

Открыла я конфорку газовую, взяла сахарные щипцы в тряпицу и давай наяривать. Три часа битых держала, покуда рука совсем не отнялась — и ничего...

А уже в воскресенье, дней спустя с тройку, явилась — не запылилась матушка его природная; вот уж хитрюга, в Калинине спряталась! И говорит эдак на кухне громко, чтобы слыхать было: сижу-де себе в середу дома, и вдруг как скрутит меня, как завьет, словно жжет кто-то. Сама не своя сорвалась с места, бросилась на вокзал да из Калинина как со сковородки каленой пустилась на парах к Москве. Насилу часа через три отпустило, очухалась еле-еле; сошла

не помню на которой остановке и только под вечер к себе добралась...

С той поры насморки эти от меня и сгинули без следа туда, откудова их накликали.

15

Тут уже, каков ни царил ералаш в нутре у Вани-Володи, он все-таки стал что-то неладное подозревать о степени достоверности произносимого, и Лощенова, улыбнувшись лукаво, сочла уместным растолковать удовлетворительнее.

— С издетства еще завелась во мне не купленная, не обмененная какая-то сила — немножко вперед и вбок дальше других видеть; но вот вызвать ее нарочно или хотя оседлать никак уже не в моих правах. Жила бы на деревне — наверняка была б коли не знахарка и не ведунья, то уж точно кликуша какая-нибудь завалящая. Ан родилась-то ведь в городе, и весь срок мой на него только отпущен.

Мне-то ведь, Ванечка, столько же лет, сколь и веку, — с девятьсот первого я тринадцатого января, старый Новый год, но годкам моим все не конец: еще на крестинах зарок положил батюшка отец Иоанн Скворцов от Николы-Подкопая, прямо напротив тут, что сейчас завод, — мол, жизни младенчику Дуне написано ровно столетие. Так вот и есть я старушка-вековушка, век прожить да добрым людям всю правду, что видела, доложить! И еще третий у нас дружка-ровесник — этот самый дом...

«Только нам-то на кой ляд было сюда переться! — подумал про себя с тоскою Ваня-Володя, озлившись молча на жену, затащившую наперекор всем другим, что разъезжаются прочь на окраины из общих квартир на отдельные, пусть расклетушки, зато уж свои, ни с кем не деленные. — А тут нá тебе, вали в этот сарай дважды сосмежный!»

— И-и, Ванюшка, совсем про то не надо жалеть, — опять прочла всю его простоту по глазам Евдокия Васильевна. — Когда люди домой возвращаются — это радость, да еще какая. Ведь дом...

16

— Дом, — завела она плавно речь на тот степенный, повествовательный лад, как распевают былину или бают сказку, — это же не одни только стены да чердак с подполом; дом как бы весь мир в сокращении, и вместе с тем он будто один большой великан-человек. Есть у него и что-то вроде собственной души: все надышанное, перепетое, отболевшее задерживается здесь невидимо малою своей частью, переходя по наследству к новым уже жильцам...

«Чего это она меня прямо как ребятенка очередного воспитывает?» — почудился про себя Ваня-Володя, но на сей раз приложил все старания, чтобы хоть эта мысль наружу не вылезла, продолжая по видимости пристально внимать певучим россказням.

— Все это кругом когда-то, — перешла между тем к более близкому предмету Евдокия Васильевна, обведя широко рукою с чашкой, которую держала на старомещанский пошиб, далеко отклячивши мизинный палец, — принадлежало красавцу гвардейскому полковнику с большою семьей, но потом они невдолге в лихой год погинули на Урале. Мы у него тогда, как и многие другие, снимали просторный угол и звались вообще-то еще полным именем Воплощеновы, потому что дед-крестьянин сразу по высвобождении из помещичьей крепости двинулся прямиком в учительскую семинарию, да там такое мудреное прозванье за неуемную въедливость в высшую мудрость науки и подцепил. Это уже в двадцатые нам управдом ради экономии при письме фамильное обрезание спереди учинил, — и вот как раз тогда, покуда старые жильцы поразлетались кто куда, учредилась у нас вместо них коммуналка, а в подвале завели еще незнамо к чему пекарню, выдававшую черствые ситники да тощие французские булки, зато расплодившую бездонную прорву жирных, как сволочь, крыс. И настолько это разожравшееся на ворованном казенном харче племя было жадное и бесстыжее, что, поверишь ли, когда снаружи еще лифт вдоль клетки лестничной подцепили, то не раз, бывало, войдешь туда сторожко бочком, а она уже, воровка, сидит в углу, дожидается, кто бы ее на дармака вверх с собой прокатил! Ну не было на этих тварей никакого совсем умолоту...

А после, лет тому с тридцать, пекарню все же свели за город в место поудобней, крысы, видать, перешли вместе с нею, но зато по всем этажам расползлись несметные полчища тараканьего племени. Вот тогда и Каты эти тоже сюда въехали, соблазнивши какою-то дешевой мурой тогдашнего начальника ЖЭКа, да так и вросли, будто репей крючками-колючками: тут лишь для виду живет один этот жук, да прописан-то еще цельный табор, ждут только, чтобы дом вообще заколотили под снос, и тогда можно будет законно разъехаться по новым удобным щелям.

Но мне все же верится, что совсем его ломать не станут. Вон сейчас сколько этих обществ памяти завелось, почитай, чуть не всякий день бродят тут с беседами и замерами, — может, еще и о нас постараются, чтоб уцелели. А главное, что коммуналка-то совсем уже почти рассосалась, и жилец прежний — взять вот и вас самих — обратно с выселков в середину Москвы потянулся. Чем не судьба: народите еще ребятишек, моя площадь вам по наследству как положено отойдет, а Каты — те все одно откочуют куда повыгодней. И тут уже будет ваш маленький дом в нашем общем большом, а?..

17

— Скажите, — задал давно завязнувший в мозгу, как саднящая занозина под ногтем, настырный вопрос Ваня-Володя, — Катасонов — он, мягко выражаясь, из наших?

— То есть как это «из наших»?

— Ну уж извините — он русский?

— А то какой же?

— Что-то не больно похож: черный, как сатана, глаза цыганистые, да и весь вид какой-то восточный...

— И-и, милый друг, вишь чего захотел! Тебе подай, видно, голубоглазого да русобородого — так уж проехали, нету таких, кроме разве помину. Ты на себя-то хоть раз внимательно поглядел?

— Ну, меня ведь же гонки ухайдакали...

— А другие-то что ж, пока ты носился, лежали нога на ногу? Теперь уже поздно тоскою болеть. Нынче, доложу я

тебе честно, что не... кто не негр или... да нет уж, только он один и есть: который не черный — остальной вполне может быть русский.

— А вот тут-то мы вас и поправим, — вяло усмехнулся, вспомнив известную притчу, Ваня-Володя. — Был в нашей команде такой парень: мать его, как водится, после школы прилетела в столицу на киноактрису поступать, да всего-то корысти добыла, что понесла от эфиопа, который ее, обрюхативши, бросил. И вот родился он просто вылитый шурин-мурин, только наместо черной масти такой сизо-лиловый с подпалинами, а в паспорте значилось так: имя — Руслан, отечество — Иванович, потому как тот истый отец загинул вместе и с именем, фамилию настоящую, правда, не помню уже, его больше дворовым прозвищем кликали: Нагульный, а насчет народности, то вписана была точь-в-точь та ж самая, что и у меня: русский.

18

— Еще того краше. Значит, и вовсе, чтобы русским сделаться, не осталось уже исключений. Лише Кат этот твой — пусть он по бумагам и наш, только душа-то у него знаешь каковская?

— ?

— Тараканья!

— ???

— Видишь ли, тут вдруг не выговорить, чтобы тотчас понятно... Ну, вот я сколько детей подняла, столь сотен книжек им вслух перечитала, от Афанасьева сказок и про черную курицу — до Вия со Львом Толстым включительно, младенец сейчас опять, как в начале века, чересчур возрастать торопится. А еще ночами бессонными с крикуном-пелёночником сама чего-чего не надыбаешь... Так вот, и до того мне эти сочинители на глаза мозоли натерли, что я уж теперь на одни только газеты с журналами могу глядеть, да разве еще в детектив какой. И знаешь, даже в самой этой бодяге иногда как бы ниточка красная продернута, то там, а то сям проглядывает... Вот послушай один кусочек внимательно, только не просто так, а вникай — от кого эта строка легкою тенью брошена.

Она вытянула с полки истрепанный номер «Науки и жизни», разогнула на не раз уж, как видно, открытом месте, распахнувшемся послушно где надо само собой, вздела на нос очки-дужки и произнесла, глядя, как приметил Ваня-Володя, не прямо туда, а чуть поверху, задевая взором пространство и почти, стало быть, наизусть:

«Мирской захребетник».

Затем почти так же более по памяти, а когда и явно перекладывая ради внятности своими словами да лишнее сокращая, поведала ему следующее.

19

— Во Франции зовется швабом, в Германии — французским жуком или русаком, а в России, напротив, прусаком и французом. Завезен он был к нам в восемнадцатом веке русскою армией, участвовавшей в Семилетней войне, став таким образом единственным приобретением России от многолетнего вмешательства в европейские склоки...

В наше время рост материального благополучия населения, значительное улучшение жилищных условий, обслуживания, просвещения и благоустройства, особенно в городах, казалось, должны были бы привести к быстрому сокращению числа этих паразитов, но на деле все вышло как раз наоборот.

В последние десятилетия число мирских захребетников не только резко возросло, но многоликое их семейство еще пополнилось новыми иноземными отрядами: в шестидесятых годах с реквизитами «Мосфильма» прибыл из Средней Азии туркестанский, в семидесятые схожими путями доставили австралийского, американского, африканского, кубинского и пепельного, которые почти все неплохо прижились в среднерусской полосе.

Дело в том, что животные эти легко приспосабливаются к любым условиям — лишь бы были в достатке пища, влага и укрытие. А скопления мусора, кухня и отхожее место — идеальная среда их обитания. Но главное, на конце брюшка имеют они особые железы, выделяющие остропахучие вещества, привлекающие соплеменников. И никакие — заметь: никакие! — химические средства не могут эти запахи унич-

тожить. Поэтому любая, самая миллиметровая щель или трещина в стене дома, однажды облюбованная и помеченная ими, служит точкою сбора десяткам и сотням новых поколений...

Испытывая постоянное чувство жажды и голода, они разбегаются обычно в сумерки — а новые породы перестали уже и света бояться — в поисках пищи-питья, с помощью подвижных усиков обладая возможностью прокладывать путь даже в кромешной тьме. Причем за год одна особь, поглощая еды в два-три собственных веса, загрязняет и портит ее вдесятеро больше.

Самки их, будучи всего лишь однажды оплодотворены, продолжают в течение всей жизни, от восьми до двадцати двух раз, производить потомство — как завзятый куряка подпаливает от старого бычка новую папиросину, из остатка одного выводка зачиная следующий. Детеныши рождаются крайне цепкими, например, голодать способны до восьмидесяти суток.

Полностью уничтожить этого врага человеческого на данном этапе пока, увы, не представляется возможным. Единственное надежное средство — холод: при минус пяти они погибают через минуту. Но попробуйте охладить так большой современный дом?!

История борьбы с мирскими захребетниками уходит в далекое прошлое. Применялось в ней не только физическое истребление, но и весь арсенал науки — яды кишечные, растительные и неорганические, а также всевозможные смеси: от мышьяка, керосина и хлорофоса до контактных синтетических отрав включительно. В сороковых годах появились средства типа ДДТ, действующие на нервную систему, — и тогда всем показалось было, что борьба наконец приведет к полному освобождению от этого спиногрыза. Но буквально через три-пять лет после начала употребления новых средств захребетник проявил отчаянную многостороннюю устойчивость: физиологическую, генетическую, географическую, общую, частичную, перекрестную, поведенческую и так далее.

С той поры в мировом сообществе родилось сознание, что решать эту задачу все страны вынуждены сообща, вместе меняя время от времени способы борьбы. Причем в настоящий момент возвратились к наиболее древним, прадедовским

средствам, к которым, как выясняется, у противника до сих пор остался достаточно высокий уровень чувствительности.

Как говорят на Руси, с мироедом и бороться нужно всем миром — то есть сразу усилиями целого дома. Работа эта отнюдь не проста — и покуда лишь в пятнадцати из каждых ста жилых зданий столицы их удалось вывести подчистую...

— А теперь ответь-ка мне, — обратилась Лощенова впрямую к Ване-Володе, завороженному впечатляюще ученым описанием, — не напоминает ли тебе это еще кое-чего покрупнее?..

20

Тут из коридора донесся возмущенный треск вроде обвала, и Ваня-Володя, не поспев (да и не сумев) толком чего-то возразить, бросился туда в надежде отловить наконец Катасонова, — но опять наткнулся лишь на глухую насмешливую пустоту пространства. Тогда он с опозданием сообразил, что следовало, конечно, оставить тому на дверях записку с просьбою заглянуть к Лощеновой, где в ожидании его лясы точатся, — да теперь уже стало как будто поздно; вдобавок он отчего-то сразу уверовал и в показания старухина лакмусова перста.

Вернувшись к Евдокии Васильевне за стол, он увидал, что она вновь заботливо наполнила его чашку душисто горчившим настоем, действительно почти что изгнавшим жажду из горла — но тем самым только заметнее сделалась та внутренняя полость, что угнездилась под ним. И вот, недолго колеблясь, он вдруг взял да и выложил старухе как на духу все свои беды дочиста и сполна...

— Такие вот страсти, — окончил Ваня-Володя отнюдь не скоро этот горестный сказ и, выпорожнивши до дна запазушную котомку напастей, вслед за тем напрочь замолк.

— На то он сегодня и Страстной четверг, — не совсем для него ясно изрекла сочувственная без лести слушательница, а потом погодя дала такой совет: — Вот что: жены твоей у меня не было и нету, и где она в точности — этого я не знаю. Но чую точно так же, как от этого Ката боль моя в

пальце, что тебе немедля нужно подыматься и идти сей же час искать —

— Веру?

— И все остальное...

— Далеко ли я без денег дойду? А Катасонов?!

— Ну, этот-то сам сыщется, но тут, втретье тебе говорю, пожалуйста, поосторожней. Не думай никак, доброхот, коли сошел уже с круга — что здесь дорога твоя и вся.

Это как бывает — остановится подземный поезд нечаянно не на станции, а во чреве самой норы, и тогда народ, что не задумываясь летел себе запросто в тартарары, стоя спокойно на ногах, а то и мягко посиживая, принимается таращить всполошно глаза по сторонам: как, да что, да и вообще, куда это я занесся и кто таковы эти случайные мои соседи, которых ведать не ведаю и вроде не надо бы, а вот вдруг не ровно обвалится что или стукнет сзади — и придется еще вместе смертный час принимать? Полезная очень по-своему слазка выходит середи скачек...

Так и ты, соскочивши с той машины, что тебя по кольцу твоими же ногами, не спрашиваясь, везла на Кудыкину гору, выбирай теперь путь внимательнее, следи, чтобы был он прямой — да гляди не угоди на новый-то круг, и будет последний тот еще горше первого.

21

Ваня-Володя горячо поклялся ей наблюдать опасение, впрочем, не так уж чтоб совершенно искренне, и в окончательном раздрае выкатился вновь наружу. Сейчас он зато ощущал куда меньшее стеснение обиходными правилами приличий и, даже не сделав вида, будто стучится, дернул что было сил Катасоновы двери.

Внутри за ними тревожно бултыхался пурпурный сумрак, колыхаемый биением накинутой на окно вишневого окраса шторины, напрочь застившей дорогу внутрь лучам белого света извне. В этой подвижной подцветке комната на самом деле казалась шевелящейся грудой тысяч телец разновидных существ: сверху донизу стены, пол и чуть ли не потолок ее были сплошняком унизаны полками, где в два ряда и еще вповалку поверху гнездились сотни книг, книжищ и книже-

чек, а вперемежку в отверстых коробьях из-под голландского масла, стянутых для крепости рогожными ремнями, торчком упрятаны были в штабеля иконы — маленькие медные и деревянные размером поболе: начиная от той, что охватом в единую пядь, и вплоть до укутанного по пояс одеялом с веревками — словно стреноженного, чтоб не сбежал, — образа в полный мужской рост.

Неловко ступая на цырлах в постоянном страхе услыхать хряскающий звук раздавленного сокровища, Ваня-Володя подбрел к письменному столу, почившему на двух львиных тушках с открученными долой хвостами, и обнаружил там как будто нарочно положенную так, чтобы в первую голову заметил пришедший — наискось здоровенного, распахнутого настежь тома, — записку на матовом квадратике ватмана наподобие визитки. Напрягши зрение, он прочел на ней следующее:

МАЛЫЙ ВУЗОВСКИЙ 3

18—30

Не совсем уяснивши смысл сообщения — разве что припомнив начерно по названию переулка, что это где-то совсем тут под боком, — он приподнял карточку на воздух и в самом фолианте углядел еще дважды отчеркнутые красным — под строкою и на полях со значком восклицания — такие слова: «...вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло».

22

Мало что и они смогли ему сразу пояснить, а запутывать, однако, продолжили, да тут он к тому же еще приметил третье, совсем сбившее с панталыку обстоятельство: обок разинутой книги лежала опрятная стопа одинаких карточек с теми же в точности каллиграфически выписанными адресом и часом без даты. Стало быть, записка сия не ему одному была предназначена — или же вообще кому-то иному; а он уже было ошибкою почел ее за косвенно назначенную на сегодняшний вечер встречу.

Покуда Ваня-Володя озадаченно раздумывал над тем, что бы это все вкупе с невероятно бесстыдным исчезновением соседа с тридцатником могло означать, из коридора в третий уж раз раздался не просто шум, а какой-то погромный грохот, и, испугавшись, как бы его не сочли ненароком за похитителя, вторгшегося незвано в чужую обитель за мелкой поживой, он опрометью бросился наутек.

Гром за дверьми быстро обратился в подобие издевательского хохота, и опять-таки никого там наш скорый гонец не застал: из лощеновского угла доносился тихий невнятый шепот на старославянский лад, собственный его закут зиял рядом пуст и отверст, и лишь чей-то серый плащ на вешалке уныло разводил в недоумении рукавами, как безжалостно покинутое по осени на опустошенном огороде ни на что уже не пригодное пугало.

23

Последняя незадача, впрочем, только прибавила ему уверенности в том, что пора уже наконец выбираться на чистый воздух; перевязавши как следует по-походному кроссовки, он подтянул выше пупка портки, застегнул до упора «молнию» на гимнастической курточке и, стащивши долой с крюка теплую клетчатую кепку, отправился решительно вовне.

Дорога в мир была для него куда как коротка, благо жительствовали они с недавних пор вместе с женою — то есть сегодня уже и без нее — на цокольном этаже, под которым оставался разве полуподвал с книжным складом на месте выселенной пекарни. Но и этот краткий отрезок он еще не поспел пройти до конца, как уже кое-что начaлó проясняться: подле лифта в тесном парадном застыл в бодрой стойке парнишка из квартиры напротив, гонявший по полю мяч в молодежном составе «Спартака», на чье беззаботное молодечество Ваня-Володя глядел теперь с сочувствием как на собственный вчерашний день; вместо проходного пожелания здоровья он вдруг пожаловался, что его мало не сшиб с ног «Котосон», несшийся как угорелый на вéлике.

— Давно это было? — будто заправский следователь, вопросил Ваня-Володя.

— А когда я разминку на дворе делал... Да уже с час тому.

— Что-нибудь говорил?

— Ничего... ничего особенного... Погоди: сделал круг по площадке и ухнул вон через арку, а пока набирал скорость, крикнул — точно, крикнул зачем-то, что тебе, дескать, низко кланяется.

— Гад, — сурово рассудил Ваня-Володя и уверенно шагнул вперед в парадняк.

24

На пороге он в последний миг приостановился, чтобы верно определить направление погони: отсюда в разные стороны расходилось три одинаково торных пути, куда запросто мог сигануть его последний обидчик, первым из трех беглецов — жены, покоя души и денег, — намеченный для поимки. Как раз на перекрестии их через дорогу переправлялась ватажка немолодых женщин, предводимая высоченным залысым дядькою, широким взмахом десницы, будто полководец преодолением естественной преграды, руководивший совсем в общем-то не хитрым передвижением.

— Здесь мы и остановимся, — неожиданно тонко возгласил он, располагая своих послушных спутниц полукругом; но стоило Ване-Володе лишь слегка приглядеться к их лицам, как он тотчас же принужден был сменить первую цель охоты. Тут отчетливо пахло женою! Он не мог сразу определить в точности где, но явственно неподалеку: то ли по их же Подколокольному в крайнем доме, именовавшемся среди своих «Телешовским», где помещалось городское общество охранителей памятников, либо же наискось вверх по пригорку, но тоже не далее полуверсты, в здании Исторической библиотеки, видал он не однажды мельком нескольких из них, — главное, что те, несомненно, сопутствовали Вере в образовательных прогулках по городу или скучноватых краеведческих вечерах, на которые она против воли частенько прибирала с собою супруга. Теперь же он прямо под ложечкою ощутил сосание, что через них-то и ведет к ней самый надежный, хотя наверняка тоже петлистый путь.

25

Между тем его невольные провожатые столпились прямо под домом с тринадцатым нумером — колокольнею, давшей имя всей улочке, — в подножии которого некий неуемный рукосуй вывел анилиновыми красками целый зверинец: гусыню, поросенка, лису и прочую человекообразную живность из мультфильмов, на челе их поместив еще губастого верблюжонка, прямо в висок изображению которого впивался живой черный кабель расположившейся внутри гальванической печи. Ваня-Володя под этим несчастным чудищем и пристроился, чтобы хорошенько слышать рассказчика и наблюдать его ведомых, но вместе с тем самому высовываться поменьше.

— Тут у нас наилучшая точка отсчета, — заявил путеводитель и пояснил несколько попространней: — Направо рядом Подколокольный переулок втекает в площадь бывшего Хитрова рынка: и как она ни изменилась внешне, внутри вычиненных фасадов сохранились доселе почти что полностью все ее прежние дома. На самом углу стоит трактир «Каторга»; наискось стрелку Свиньина переулка с Петропавловским занимает так называемый «Свиной дом», петропавловская часть коего звалась еще отдельно «сухим оврагом», а свиньинская — «утюгом»: это была самая, пожалуй что, знаменитая московская ночлежка. Здание напротив заключало в себе некогда два трактира — «Пересыльный», облюбованный нищими да барышниками, и «Сибирь», посещавшуюся ворами, скупщиками краденого и прочими им подобными катами. В глубине участка по Хитровскому, ныне Максима Горького переулку, в старинной усадьбе Лопухиных было еще лежбище «раков» — портных, пропивавшихся дословно до положения риз и потом, не имея возможности из-за срамного вида выйти наружу, иглою зарабатывавших себе на новую одежку, укрываясь под нарами, аки рак под корягою.

Слева проходит Солянка, древняя дорога на Владимир...

Глянув в ту сторону наскоро, Ваня-Володя увидал в устье Малого Ивановского медленно бредущую без дела понурую фигурку Соньки Рачихи; но рассказчик, словно подхватив у Катасонова с Евдокией череду угадывания его немудрящих соображений, тотчас продолжил:

— А наверх взбирается Подкопаевский, перенявший прозвание храма над нами. Оттуда текла когда-то, еще до основания Москвы, речка Рачка, чуть более версты длиною, впадавшая раньше в Москву, но теперь подземным ходом отведенная к Яузе.

Холм же, у подножия которого мы стоим, и есть главный герой нашего сегодняшнего путешествия —

ГЛАВА ПЕРВАЯ

К ИОАННУ ПОСТНОМУ

1

«Этот город занимает открытое местоположение: куда бы ты ни пошел, видишь луга, зелень и деревни в отдалении, ибо он расположен на нескольких холмах, высоко, в особенности Кремль. При каждом доме есть непременно сад и широкий двор; оттого говорят, что Москва обширнее Константинополя и более открыта, чем он: в этом последнем все дома лепятся один к другому, нет открытых дворов, а дома в связи между собой; в первой же много открытых мест, и улицы ее широки...»

2

— Такою увидал Москву в середине семнадцатого столетия архидиакон-сириец Павел Алеппский, приехавший сюда вместе со своим отцом, Антиохийским Патриархом Макарием, — раздельно выговорил ведун, привычно давая срок для записыванья опорных имен и дат своим подопечным; а затем спрятал в подсердечный карман круглоуглую карточку, откуда дословно вычел все описание, и далее пустился уже излагать наизусть, обративши лицо кверху, но глядя на деле глазами, завороченными белками наружу, куда-то в самую середину себя:

— Помните, у нас уже был недавно разговор о том, почему ему показались тут большие высоты, в то время как тою же порой посетившие город западные пришельцы оставили печатные свидетельства, будто бы Москва выстроена на совершенно гладкой равнине?..

Действительно, тогдашние люди и внутренний и внешний свой мир воспринимали образно, точнее, прообразовательно, и там, где на пересеченной местности Среднерусской возвышенности гостю с Запада открывались бесконечно плоские восточные дали, взор подневольного турецкого христианина под покровом природного вида искал сверхприродный: седмихолмие Третьего Рима.

Точные измерения, впрочем, гласят, что в первородном «вечном городе» составившие его пригорки подымаются над рекою на высоту всего от тридцати девяти до семидесяти девяти метров, тем самым вправду мало чем разнясь от наших: в шестнадцать сажен — то есть около тридцати пяти, или по-старому «полсорока», метров росту та горушка, где поставлен был Кремль; а наивысшая московская точка к северу от него уступает их таковой же римской лишь менее двух десятков. Но все-таки сириец разглядел лучше — ибо отнюдь не деревянным аршином мерятся эти вершины...

3

Падение ветхого Рима в прах перед готскими ордами арианина Алариха поставило некогда в столь же униженное положение и самый дух его старожилов, испокон века почитавших царствование своей столицы над Вселенной нескончаемым. Тогда-то современник этого позора Аврелий Августин и выдвинул свое новое, безумное для древних и умопомрачительно-дивное для будущих веков учение о двух градах — городе житейской суеты и Граде вечной истины, который, впрочем, отнюдь не бежит из подсолнечного мира прочь к заоблачным высотам, но в виде неизменной жажды бессмертной правды в душах людей постоянно странствует с ними по белому свету, понуждая за окоемом дневной злобы прозревать иное, высочайшее назначение человека. Причем не одно только обнаженное от плоти понятие, но и живой его образ сделался вскоре чрезвычайно известен далеко за пределами Рима, вплоть даже до наших, лежащих вне античного космоса пространств: так, наглядным воплощением, единственною в своем роде архитектурной иконою его поныне служит выстроенный Никоном под Москвой монастырь Новый Иерусалим.

Но с приходом новой эры далеко не уничтожилась вконец главная прелесть ветхой, и наиболее разительным примером в истории для подобного страстного вожделения ко всесокрушительной власти продолжала посмертно служить распавшаяся уже въяве, ненадолго подмявшая под себя чуть ли не все обжитые земли Римская империя, причем в определении

этом основным служит второе слово, то есть в прямом переводе «власть»; а первое, хоть и стоящее в головах, лишь прилагается к ней. Но прилагательное сие весьма существенно, символического в нем едва ли менее, нежели в короне римских цесарей; потому-то и откочевали вскоре тени седми старых холмов во «второй Рим» — Константинополь, где их семейству поторопились сыскать новую прописку. А близ перелома пятнадцатого столетия, после падения и другого, немедля начались розыски еще следующего.

Открывший его у себя в отечестве псковский старец Филофей настойчиво внушал о подлинности своей находки великому князю Василию Третьему и, усильно стремясь достигнуть в этом успеха, не обинуясь, назвал наш извод Рима не только что третьим, но уже и последним. «Ромейское царство, — клялся он, — неразрушимо, яко Господь в римскую власть написася...» Василий, однако, соблазнительному предложению не поддался, скорее всего памятуя, что Христа в имперскую перепись поневоле занесли родившая его Мария и Иосиф Обручник; а сам он, будучи однажды спрошен об отношении к той власти, красноречиво указал на вычеканенный в монете профиль кесаря, ясно разделив, что́ земному владыке принадлежит и что нет. Достучаться же под конец жизни поспел Филофей к тому, кто первым сумел по достоинству оценить выгоды от его посулов: к Иоанну Васильевичу Грозному, что предпочитал вести свой род прямо от цезарей языческого Рима.

А уже век спустя, при Алексее Михайловиче, когда Никон вкупе со своими понятиями о соотношении мирского с духовным сведен был с патриаршего престола долой, — мысль о римском властном преемстве пустилась в свой самый свободный и безоглядный полет.

4

Тут уже, как из неисчерпаемой колдовской калиты, посыпались в народ подложные сказания об основании престольного града Руси на поганский вовсе образец: даже самое имя Москвы услужно согласились вести от «праотца нашего Мосоха, Афетова сына, внука Ноева», позабыв — а может, нарочно оставивши додумывать на будущее, когда уже позд-

но менять будет, — что потомству сего праотца, «ненавидящему мир» и олицетворяющему все вообще грубые и варварские народы, под водительством «Гога из земли Магог, князя Рос, Мосоха и Фовеля» как раз по собственно библейским пророчествам суждено в будущем сделаться основою сатанинского воинства, ополчившегося против «стана святых и города возлюбленных», и в конце концов пасть позорно и поголовно так, чтобы «осталось беззаконие их на костях их, потому что они, как сильные, были ужасом в земле живых».

А всего более, сами не сознавая, чего сотворяют, принялись развивать басни про то, будто наравне с Римом и Константинополем наш столичный город стоит на крови. Тогда-то в строку и легла история Ромула, повторившего славный Каинов подвиг — о новом двойнике этого убийства-заклания чуть позже я еще войду в подробность. Но главное, что по-своему очень точно отразили те отреченные сказки: попытку слить воедино мистическое преклонение древних перед всемогуществом земного царства — и принесенную Распятым в мир идолопоклонников весть о бессмертной победе любви над исконным злом. Заменивши тогда в никак не сваривавшемся составе любовь на гордость, и произвели на свет мысленного упыря — мечту об эдакой доморощенной Империи конечной истины, одного представления о которой достаточно, чтобы содрогнулось до дна сердце человеческое.

Два Рима пали от самопревозношения — отца, как считалось издревле, всего прочего сонмища грехов и пороков; но того показалось еще не в достатке и, объявивши Москву третьим их перевоплощением, ускорили заготовить ту же погибельную судьбу и «росескому», как дословно выражался Филофей, царству.

Счесть себя не обинуясь единственно под небом правыми — дело, что и говорить, совершенно естественное, но только естество его, так сказать, вполне еще ветхозаветного свойства. Искать правду, жертвуя для того в первый черед и исключительно своею собственной головой — труд, достойный уже времен просвещенных. Промысел, впрочем, не всегда столько жесток, чтобы дать шее гордеца окончательно закостенеть; он иногда тоже способен смиловаться и подогнуть отеческою рукой упрямую выю ради ее же пользы.

5

Однажды Достоевский — который в детстве, помните, у нас и об этом тоже была в свое время речь, любил рассматривать первопрестольную как раз отсюда, с балкона дома своего дяди, переделанного из палат семнадцатого столетия и ставшего затем ядром Исторической библиотеки, — занес в записную книжку следующий разговор:

«— Ты немногим задайся, братец, и лучше немного, да хорошо сделай.

— Нельзя русскому человеку задаваться немногим. Это немецкая работа. Русский человек лучше сделает много, да нехорошо».

...Любопытно, однако, относил ли он это также и на свой личный счет? — как бы «в сторону» заметил говорящий, но двигаться этим проселочным направлением рассказ свой далее не пустил, а заключил вступление в него другим вопросом.

— Здесь не только сделан больной разрез присущего соотечественникам пошиба чересчур по-хозяйски управляться с действительностью, — ибо, как всякий разрез или скол, он вместе и чрезвычайно наглядно, и все же очень неполно выказывает внутреннюю суть рассекаемого, которое для этого приходится обычно умерщвлять. Тут нужно более всего обратить внимание на не очень приметное сперва словечко «нельзя»... Из-за него-то во многом мы и стоим сейчас с вами на южных склонах коренного берега Москвы-реки у возвышенности, вживе представляющей собою один из семи холмов — Ивановский, — как будто бы отважно взмостивших на свои плечи тяжкое бремя Третьего Рима. Так что наша задача сегодня — пройти его вдоль да поперек, наверх и вглубь, через пространство во время и попытаться выяснить, поглядевши на то, что выходит в итоге из эдакого «нельзя»: может быть, все-таки как-нибудь льзя?..

6

С первого же воззрения следует сразу признать, что над уравниванием нашего холма вечность потрудилась изрядно, ведя эту работу уже без малого тысячу лет с двух концов — приплющивая голову и подкапываясь в основание. Недаром

и церковь, что стоит над нами, носит прозвание «Никола на Подкопае». Поздние предания гласят, правда, что родилось оно, когда воровские злоумышленники, прокопавши ход под землею, забрались ночью в храм, сорвали с образа Николы-угодника драгоценную ризу и уже направлялись вон, но на возвратном пути были погребены завалом в собственном подкопе. Еще позднее была сложена уже другая, научная легенда, будто рядом копали для своих нужд грунт местные жители, — но только оставалось невнятным, на какой ляд понадобились им вдруг именно здешние суглинки и супеси. Настоящим же подкопаем был, несомненно, поток реки Москвы и, образно рассуждая, самой реки Времени.

Что касается непосредственно до этих церковных стен, в коих нынче производится полиэтилен, то столетье назад они служили подворьем самого Александрийского папы — есть таковой и у православных, не все же одним католикам тем величаться! А в предпоследний год пятнадцатого века сюда удалился после пожара, напрочь выпустошившего Кремль, даже великий государь Иван Третий, живший подле Николы-Подкопая в уцелевших простых крестьянских избах.

7

Причем забрел он на Кулишки неспроста, ибо местность сия к востоку от Китая-города известна была вперед кремлевской: она, по преданиям, входила в круг «красных сел» первого владельца здешних земель боярина Степана Кучки. Дом его, как считалось, стоял чуть повыше, у Чистого, что раньше кликали Поганым, пруда, откуда к Сретенке тянулось урочище «Кучково поле» — быть может, и родовое прозвание боярин у того поля занял: «кучкою» в оные годы звался не только малый ворох, но также еще куща, то есть хижина или шалаш не особенно хитрого строения, в каких и прозябали начальные славянские новоселы. А пруд тот, кстати заметить, расположен как раз в пойме речки Рачки, и вот сколь ни мала она была, но, упихиваемая заживо под землю, сумела-таки зацепиться на прощание хотя словечком на поверхности: об óн пол Покровки и доселе стоит здание церкви Троицы на Грязех, получившей некогда такое нелестное определение по неусыпному ходатайству упрямого ручья.

Никаких достоверных свидетельств о Кучке-боярине не сохранилось, но, вероятно, благодаря этому он и пришелся весьма ко двору в последней четверти семнадцатого столетия, когда, как я поминал уже, вместо подлинных искали сочинить мнимые корни наши в далеком прошлом, стремясь переменить правду о том, «почему было государству Московскому царству быти, и кто то знает, что Москве государством слыти».

Тогда-то и вымудрили книжное сказание, будто боярин Степан Иванович худо принял и даже «поносил» на своем дворе Юрия Долгорукого, за что тот повелел его «ухватити и смерти предати». Детей же нечестивца — Петра с Акимом и сестру их Улиту — он якобы пожалел, взявши к себе на двор. Прелестная Улита впоследствии сделалась женою сына его, Андрея Боголюбского, наследовавшего великое княжение. Не забыв, однако, старой обиды, она с братьями улучила час и отомстила сполна на муже отцову смерть, но тем и на собственные души призвавши погибель. А затем казнившие их меченосцы возмездия, завороженные красотою Кучкова имения, столь изобильно орошенного благородною кровью, и основали в нем будущий престольный град...

Как и всякая ложь, эта также вящей убедительности ради зацепила кой-что из подлинного: летописи действительно рассказывают, что в числе убийц Андрея Боголюбского были Аким Кучкович и Петр Кучков-зять; а город наш еще в половине двенадцатого столетия носил двойное название: «Москва, рекше Кучково». Сам князь Андрей за мученическую кончину и поднятый государственный труд впоследствии был причислен к лику небесных заступников Руси; но Москва возвысилась рачением и мудростью другого своего великого сына — тридцать три года правившего ею родоначальника московских князей Даниила Александровича, младшего отпрыска Невского победителя. Поскольку же добрая память о Данииле Московском всегда оставалась в народе живою, сочинители кровавого навета в другом изводе своей басни даже сменили имя Андрея на Даниила, лишь бы выручить главную свою подмену, — и все же отнюдь не смертоносная месть «по пролитии и заклании кровей многих», но строительное стремление к собиранию в самом обширнейшем смыс-

ле легло в основу русской столицы: недаром и срединная площадь в Кремле, где высится Великий Иван, наречена Соборною.

8

Куличками же, или Кулишками, а точней и древнее — Кулижками окрестность эта звалась изначально, но смысл слова постепенно утратился, став наконец загадочен и даже таинствен.

Старорусское «кулига» обозначало вообще участок земли — угодье. Вместе с народом, осваивавшим обширнейшие пространства нашей земли, оно растеклось по ее лицу во все стороны и прилепилось там к совсем уже розным вещам, оставивши неизменной лишь сердцевину понятия — нечто, как бы углом вдающееся в основную местность: тугая излучина реки на Севере, островок леса посереди верхневолжских полей, на Средней Руси лесная поляна, расчищенная под земледелие, а на Урале и выселок на лесной росчисти. Близкое к исходному значение имело дочернее уменьшительно-ласковое «кулижки»: то луг на речном берегу с хорошим травостоем, то роща на болоте, а то и сенокос в бору.

Касательно собственно московских Кулишек бытовало еще особое ученое мнение, будто так назывались заводи, остававшиеся по весне от разлива Москвы-реки и соседней Яузы,— но это заслуживает веры гораздо менее прочего. Дело в том, что прозвище «на Кулишках» донесли к нынешнему веку целых семеро храмов в местности Ивановского холма, но только к трем из них такое толкование приложимо: ко Всем Святым у Варварских ворот, Рождеству Богородицы на Стрелке, вот тут по левую руку он виден, и снесенному в тридцатые годы Киру и Иоанну на Солянке — между прочим, при этом последнем Кировском храме в прошлом веке открыто было другое, Сербское подворье. Для остальной же четверицы, стоящей высоко на угоре, оно уже не годится никак: это Три Святителя у Старых Конюшен в Трехсвятительском Малом, что ныне Вузовский, переулке (услыхав последнее имя, Ваня-Володя взбодрился от уже принявшейся одолевать его привычной сыпучки при встрече множества беспригодного для обычной жизни знания), Петр-да-Павел в Малой Крутицкой

Певчей, Владимир в Старых Садех и Ивановский монастырь.

Так что быстрей всего наши Кулишки — это исходные росчисти среди здешнего матерого бора, где появились первоначальные оседлые жители и, благословясь, вперед даже кущей и изб ставили деревянные храмы. О боре же речь еще пойдет особая, но не тотчас.

9

Судьба скоро отозвалась на Кулишки и своею согласною рифмой: именно по ним, проходя Солянкою, двинулись на Куликово поле полки Димитрия Иоанновича, и поэтому-то по их возвращении тут же в честь ангелов-хранителей всего русского воинства была срублена обетная церковь Всех Святых. Нынешнее ее здание более позднее, и предание об основании храма в 1380 году склонялись до недавней поры почитать благочестивою сказкой, — покуда, починяя стены памятника к шестисотлетию куликовского одоления, на пятиметровой глубине не наткнулись на ветхие, но совершенно подлинные бревна.

Строго судя, Кулишки несколько пообширней Ивановой горки: помимо нее, они захватывают еще низину между Солянкою и москворецким берегом, звавшуюся Государевым садом или еще Васильевским лужком. Житие Василия Блаженного, славного московского юродивого, останавливавшего порою и вескую десницу Грозного царя, повествует, что тот часто ночевал в Варварской башне Китая-города, посещая для увещания узников стоявших на лугу бражных тюрем, куда попадали не в праздник гуляющие выпивохи. Но оказывается, что имя Васильева луг получил гораздо прежде рождения блаженного «нагоходца», и виновником его послужил, должно быть, заложивший тут сад Василий Второй, внук Донского.

В наше время границею холма, который мы взялись сегодня с великим пристрастием изучать, служат уличные проезды: от Всехсвятского храма в гору до часовни на Ильинских воротах в память гренадер, павших при взятии Плевны; затем на восток улицею Покровкой, начальный отрез которой до Армянского переулка с осьмнадцатого столетия стал звать-

ся отдельно по стоявшему здесь Малороссийскому подворью Маросейкой, — хотя ей же ей он столь мало особится от ее целого, как и сама Украина от всей Руси. У Покровских ворот, что даже звались некогда Кулишскими, нужно свернуть вправо и двинуться вниз по Покровскому и Яузскому бульварам, то есть хребту основания стен стоявшего тут Белого города — именно отсюда их в 1587 году начинал строить градоделец Федор Конь. И наконец, от Яузских ворот воротиться ко Всем Святым обратно Солянкою, делающей угол у обширнейшего дома Варваринского общества, поставленного как раз на месте нарекшего улицу Государева Соляного двора.

Все про все выходит менее единой квадратной версты, но это, конечно, одна только видимость: с населяющими ее прошлым и настоящим разбираться придется долгонько. Божий день — была у предков особая единица времени, равная тысячелетию; и таков именно возраст горушки этой в истории. Ведь старины здесь, несмотря на множество разбойного слома, сохранилось поболее, нежели на остальных холмах, едва ли не считая с ними кремлевский.

Нынче же внутри названных улиц пробегают ровно полтора десятка переулков — точно столько же, сколько в начале столетия было на них православных церквей и часовен; сюда можно еще прибавить три инославные и один иноверческий храм — но эти последние, в отличие от наших, дошли до сегодняшних дней в относительной целости. По Ивановскому монастырю именовался Ивановским же и церковный сóрок, на которые делились все вообще храмы столицы: как и холмов, сóроков считалось тоже семеро, расходившихся веером от средины к окраинам; Покровка с Маросейкою отделяли Ивановский от Сретенского, а река Москва от Замоскворецкого.

10

...Внимая вполсилы тягучему повествованию, Ваня-Володя не забывал вглядываться с прищуром в лица соседей-слушателей, составлявших, как он вскоре догадался, ладно сбитое и вовсе не сейчас только сошедшееся общество.

Большинство женщин кропотливо заносили повествуемое

в перекидные походные тетрадки, закусив от старательного тщания губу или послюнивая в минуту праздности карандаш. Невысокий мужчина в гражданском, но с заметными следами былой выправки, деловито общелкивал окоем из такого же ветерана ФЭДа, а умилительная пара почти что двойняшек старушки со стариком, подобравшись из-за тугого слуха вплотную к говорившему, влюбленно замерла, наступив прямо на его тень.

Какая-то из боковых спутниц даже полюбопытствовала вежливо у Вани-Володи шепотом, не состоит ли и он паче чаяния в числе «кружка», но в ответ он осторожно отперся, промямлив тихо, что шел себе просто мимоходом, да вот приостановился, стал слушать и ненароком заслушался. Она сразу оставила его в покое, но самого Ваню-Володю водопад сведений, которые некуда было как будто в дело приткнуть, начинал уже изрядно гнести. Он все же добросовестно старался продолжить труд внимания и усвоения, однако питал неложное подозренье, что от целого вихря названий и случаев в дремучем лесу его памяти останутся потом одни только прогалины с островками — то есть самые эти «кулишки».

11

— Помимо почтеннейшей древности, Иван Третий имел и иную, более непосредственную причину выбрать Ивановский холм для своего пребывания, — тянул их меж тем все глубже в дебрь минувшего вещий вожатый. — В этой местности стояла первая на Москве церковь во имя равноапостольного князя Владимира, покровителя великокняжеского дома, поставленная тут, как предполагается, в дереве еще первым Василием, сыном Донского героя, когда он выдавал дочь свою Анну за наследника византийского престола Иоанна Восьмого; храм, таким образом, служил вещественною заметой родственной связи московских Рюриковичей с константинопольскими василевсами, уходившей вглубь ко днепровской купели: ведь сам крестивший Русь Владимир Святой тоже женат был на византийской царевне Анне.

Вскоре после постройки Владимировская церковь сделалась домовой при великокняжеском дворце — Василий Васильевич Второй получил в наследство среди прочего «новый

двор за городом у святого Владимира». Продолжая отцов почин, он и заложил здесь Государев сад, по которому храм сделался уже более известен как Владимир не на Кулишках, а в Старых Садех; в двадцать втором же году нашего столетия и сам переулок, где доныне стоит его каменный преемник, переименовывается в Старосадский из Космодемьянского, — ибо тезок ему к тому сроку на Москве накопилось ни много ни мало целых восемь, в среде коих впору было и заплутать.

12

Обратимся теперь непосредственно к Ивановскому монастырю, посейчас достойно венчающему весь холм. Имя свое он получил от главного престола собора Усекновения главы Иоанна Предтечи — на день этого праздника приходились именины Ивана Грозного. И хотя сам царь Иван в том прообразовательном событии, что даровано было ему при наречении в покров, оказался скорее последователем царственного усекателя Ирода, — местное предание упорно связывает с ним основание обители, приписывая честь закладки либо ему самому, либо матери его Елене Глинской. Письменного подтверждения этим повериям, однако, нет, ибо по бумагам монастырь становится известен лишь с начала семнадцатого столетия, сразу же получая тройственное прозвание «Ивановский в Старых Садех под Бором что на Кулишках». Первый и последний члены этого звучного титула достаточно теперь понятны — но средний представляет задачу: откуда мог взяться тут бор, коли уже в пятнадцатом веке местность была основательно обжита?

Однако недоумение это способно послужить как раз основою собственной разгадки. Суть ее в том, что согласно одному крайне остроумному предположению Ивановский холм влечет за собою еще одну, священную в своем роде цепь преемства с Кремлем.

Как гласит летопись, начальным московским храмом на кремлевской горе считался «святый Иван Предтеча под Бором». Это была доподлинно «первая церковь на бору, в том лесу и рублена, и бысть соборная при Петре митрополите». Причем он не только велел воздвигнуть ее здесь, но вскоре,

в 1332 году, пристроил ко храму свой двор, переселившись сюда из Владимира, считавшегося до того основным местопребыванием русского первосвятителя, и тем положив основание возвышению Москвы не только гражданскому, но и духовному.

Каменным Иоанн-на-Бору стал в следующем столетии; затем в 1493-м сгорел вместе с находившейся в его подвалах казною Софьи Палеолог и был вновь выстроен в 1509-м. Это здание простояло два с половиною века до николаевской поры, когда за ветхостью было разобрано, а престол и иконостас перенесены вовнутрь Боровицкой башни, получившей издавна свое имя от того же бора, вернее, боровицы — то есть сосновой рощицы.

Но уже в четырнадцатом столетии напротив, в Замоскворечье, появляется целый монастырь Усекновения главы Иоанна Предтечи под Бором, и хотя кремлевский его тезка назван был в память другого праздника Иоанна Крестителя — Рождества, — вовсе не лишено вероятия, что именно от первой на Москве церкви перешли в Черниговский переулок, где поныне стоят два его храма, чернецы. В пятнадцатом веке замоскворецкая обитель числилась еще мужскою: когда великая княгиня Софья Витовтовна, мучась трудными родами, производила на свет будущего Василия Темного, Василий Первый посылал сюда к известному старцу просьбу молиться за их счастливый исход. Затем монастырь делается женским, а вскоре сведения о нем иссякают — ибо, как предполагается, в конце того же пятнадцатого столетья его перевели еще раз, поближе к новому великокняжескому двору с садом, куда он и принес за собою исконное прозвище боровицкого.

13

...В продолжение этого хитросплетенного родословия Ваня-Володя приметил боковым зрением, что отставной фотограф, перебравши окружные виды, принялся целиться прямо в лоб своим спутникам, норовя запечатлеть на пленке и их. Тут он, неведомо чего опасаясь, отступил на всякий случай в сторону, чтобы не попасться в кадр, и стал на самом краю под сень безобразно пышного анилинового петуха.

Рассказчик же, напротив, охотно развернулся лицом к

камере, не останавливая ни на миг течения своей устной летописи.

— Особенную заботу об украшении и ревность к паломничеству в Ивановскую обитель выказывали первые Романовы — Михаил Федорович и Алексей Михайлович; в осьмнадцатом веке она была возобновлена в прежнем благоустройстве по указу Елизаветы, но все-таки ни одно древнее здание шестнадцатого столетия до двадцатого не дожило...

Перед оставлением Москвы Бонапарту монастырская казна была вывезена для сохранности в глубь страны, но насельницы во главе с игуменьей Елпидофорою остались, запершись, в родных стенах. На первый день ломившимся внутрь франкам не удалось сбить крепких запоров с ворот; но со второй попытки четвертого сентября они все-таки в том преуспели и принялись за грабеж, а сестер разогнали кого куда. Хозяйничанье пришлецов продолжалось как будто недолго, однако вернувшиеся обратно восьмого сентября монахини обнаружили, что оно оказалось для обители почти что смертельно: чуть ли не вся она погорела. Сохранившийся чудом собор обращен был тогда в заурядную приходскую церковь, монастырь подвергнулся упразднению, а уцелевшие кельи заселены чиновниками и рабочими Синодальной типографии.

14

Так бы и осталась вершина холма заброшенною, не случись в половине девятнадцатого века трагическая, по сю пору не разъясненная во многом история...

В одном из крупнейших купеческих родов Москвы — семье Мазуриных, особенно возвысившейся в послепожарные как раз годы, — была дочь по имени Елизавета Алексеевна. В 1828 году ее обвенчали с подполковником Карабинерного полка Иваном Николаевичем Макаровым-Зубачевым. Брак этот казался сперва несчастлив — более десяти лет они прожили врозь, но потом все-таки примирились, и в середине века у них родился первенец. Тогда же была составлена духовная, по которой в случае кончины одного из супругов все имущество отходило к другому. И вот неожиданно через год после того муж подполковницы умирает неестественной

смертью — в желудке у него судебным медиком был обнаружен яд. Виновника убийства так и не нашли; но спустя немного времени в сущем еще малолетстве скончался и единственный сын Елизаветы Алексеевны; так что одинокая, не имеющая прямых наследников вдова осталась с более чем полумиллионом на руках, дающим ей тьму возможностей, кроме единой еже на потребу — воскресить умерших родных, — и потому как будто ни на что уже ей не пригодным.

Она принимается настойчиво искать отдать его на какое-то благотворительное дело и после нескольких попыток, когда однажды предполагалось даже внести всю сумму на перестройку Большого театра, решает возобновить позабытую и почти полвека в разоре лежащую Ивановскую обитель, посвященную небесному ходатаю ее покойного мужа. Нелегко было сделать этот выбор, а еще трудней оказалось подступиться к воплощению его в действие. Хлопоты вышли продолжительны и запутанны, но как скоро разрешение было все-таки получено, в 1858 году Макарова-Зубачева тоже умерла, завещав все состояние и долг возобновленья монастыря жене родного брата Николая — Марии Александровне Мазуриной.

Двадцать лет своей жизни положила та на выполнение завета. Был приглашен именитый архитектор Михаил Дормидонтович Быковский, который составил проект в русско-византийском вкусе. В соответствии с ним остатки старых зданий в 1860 году разобрали, а на их месте заложили основание новых. При выемке грунта откопано было в земле восемь ящиков человеческих костей, которые отпели тут же в Николе Подкопайском, а затем погребли на Ваганькове.

На торжестве закладки присутствовал знаменитый митрополит Московский Филарет Дроздов, предсказавший благотворительнице, что ей суждено будет дожить до того, как обитель достроят. Но в эту дорогую и долгую затею ушли не только оставленные родственницею, а и все собственные Марии Александровны деньги. Их тоже хватило не сполна, и тогда она продала свой дом и перебралась сама в воссоздаваемый монастырь, отказавшись, однако, от предложенной чести сделаться его игуменьей.

В 1877 году, когда она переехала сюда на жительство, здания были уже готовы наконец к освящению, но тут вспо-

лыхнула война с Турцией, и Мазурина добровольно предоставила их под единственный на Москве лазарет для раненых. Только год спустя, уже после победы, обитель была освобождена от воинского постоя и полностью довершена, как то и предрек Филарет. И тут, не дождавшись всего лишь года до открытия ее вновь, Мария Александровна скончалась.

15

В начале текущего столетия обо всей этой истории в монастыре напоминали только имена двух его храмов, названных по ангелам супругов Макаровых-Зубачевых: Иоанновского собора и больничной церкви преподобной Елисаветы. Здесь обитало уже около трех сотен монахинь и послушниц, которые, помимо своих основных обязанностей, несли послушания по прядению шерсти, вязанию и вышиванью. Работали также иконописная мастерская для сестер и детские ясли, а близ станции Химки под Москвою находился еще сельскохозяйственный хутор Чернецово с церковноприходскою школой.

Престольный праздник обители — 29 августа, Усекновение главы Иоанна Предтечи, — по уставу является днем строжайшего поста, почему и монастырь слыл в народе Иваном Постным. Согласно старинным поверьям в эту пору не полагается вкушать ничего круглого, напоминающего очертанием своим голову, а также резать что-либо ножом, даже хлеб, ибо тогда в качестве молчаливого укора за нарушение запрета под лезвием может потечь настоящая кровь. В престол под стенами монастыря собиралась славившаяся далеко за пределами города шерстяная бабья ярмарка: съезжались сотни возов, с которых продавали всевозможные изделья домашнего ткачества и вязки, а между чинными покупателями и торговцами втихомолку сновали лукавые обитатели соседней Хитровки, что называется, не кладя на руку охулки, прибиравшие все, чему ни случится худо лечь.

В восемнадцатом году здания монастыря перешли в ведение ЧК: сперва здесь помещалось, говоря старым слогом, узилище, а нынче училище; сооружения с тех пор изрядно над- и перестроили. Но не так давно Ивановский монастырь

был предложен к постановке под государственную охрану как памятник градостроительства, и хотя пока вопрос этот не решен окончательно в положительном смысле, крышу на соборе, как мы увидим вскоре, все же вычинили, покрывши медным листом. Полтора десятка лет назад был выполнен также проект восстановления всей Ивановской горки в качестве заповедного старомосковского уголка, и его даже в общих чертах напечатали, — но на деле покуда он остается лежащим втуне.

16

Вот и вся в общем очерке внешняя история этого холма. Что же касается до жизнеописания населявших его людей, начиная от нищей юроденки и вплоть до лиц царского корени, в том числе занимавших некогда всероссийский трон, а также подземных ходов, какими холм источен на много уровней вдоль да наперекрест, и истинного происшествия с чортом на Куличках, — эту часть повести мы продолжим на следующих остановках, поднявшись повыше, куда я приглашаю не только постоянных наших членов, но и тех, кто доброхотно присоединился только сейчас...

Почувствовав себя пойманным с поличным, Ваня-Володя вздрогнул и не нашелся, что отвечать, — но тут его выручила одна старожилка из среды слушающих, нетерпеливо спросившая:

— Скажите, а подземными ходами мы тоже сегодня пройдем?..

Ведущий несколько замялся, смущенный подобною прямотой.

— Нет, это уж придется отложить до следующего раза...

— Почему? — разочарованно не отступала та.

— Ну, видите ли, во-первых, не всем туда удобно и способно пролезть. Да вдобавок большинство ходов позаложено, давно не используется. Некоторые же из них и вовсе легендарны.

— А есть-таки где-нибудь свободный спуск? — никак не хотела отцепиться любопытствующая вопрошательница.

— Насколько мне ведомо, самый просторный находится внутри того самого серого огромного дома на месте Соляного

двора, о котором я уже поминал. Там идет вниз такая широкая дорога для автомашин в расположенный в подвале гараж... и далее. Однако, повторяю, нам туда нынче никак не поспеть...

Покуда же мы еще не удалились от Николы-на-Подкопае, я расскажу на прощание одно связанное с ним лично доброе московское предание. Однажды в день большого праздника шла мимо храма ветхая совсем старушка. Народу было битком, и вот она передала вперед здоровенному купчине копейку с просьбою купить на нее самую дешевую свечку. Тот сперва взял, а потом застыдился, что ему, человеку степенному и всеми знаемому, придется позориться копеечною покупкой — да и бросил жалкую ту монетку потихоньку под колокольнею на траву.

А как служба-то отошла, стали люди выходить наружу и смотрят — чудо чудное: теплится прямо посереди травы неведомо кем поставленная свеча. Собралась толпа, дивуются, никто понять ничего не может, — а тут и купец идет стороною, да как увидал, сразу понял. Стал на колени и все, как было, рассказал, повинился...

Но прежде чем возобновить повесть о насельницах Ивана Постного, мы с вами двинемся сейчас мимо ГАИ к палатам Шуйских на углу Малого Вузовского и далее осмотрим еще трое памятников гражданской архитектуры средневековья, сохранившихся здесь досель: домá дьяка Украинцева, гетмана Мазепы и Долгоруких, а заодно, несколько нарушив жесткие границы поиска, перейдем на другую сторону Покровки, чтобы заглянуть во двор на Сверчковом переулке, где недавно восстановлены палаты именитого гостя Сверчкова. В конце восемнадцатого столетья в них находился Каменный приказ, ведавший всем зодчеством на Москве, а с восемьсот двенадцатого года четверть века помещалась его наследница — Комиссия для строений, в коей сосредоточились дела по воссозданию первопрестольного града после пожара. Но еще прежде, в самой середине осьмнадцатого века, в подвале том, по преданию, сиживал любопытнейший вор-перевертень Ванька Каин, о чьих невероятных похождениях тоже большой разговор впереди —

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ИВАН ОСИПОВ СЛАВНЫЙ ВОР

1

Ей усы, усы проявились на Руси!
Проявилися усы за Москвой за рекой,
За Москвою за рекою за Смородиною.
У них усики малы, колпачки на них белы,
На них шапочки собольи, верхи бархатные;
Ой! смурые кафтаны, полы стеганые,
Пестрядинные рубашки, золотны воротники,
С напуском чулки, с раструбами сапоги,
Ой! шильцом пятки, вострые носки.
Собиралися усы во единой братцы круг;
Ой, один из них усище атаманище,
Атаманище — он в озямище,
Еще крикнул громким голосом своим:
Ох! нутет-ка, усы, за свои промыслы,
Вы берите топоры, вы рубите вереи;
За Москвою за рекою, что богат мужик живет,
Он хлеба не сеет, завсегда рожь продает,
Он пшеницы не пашет, все калачики ест,
Он солоду не растит, завсегда пиво варит,
Он денежки сбирает да в кубышечку кладет.
Мы пойдемте, усы, разобьем мужика,
А уж этова крестьянина умеючи взять:
И вы по полю идите, не гаркайте,
По широкому идите, не шумаркайте,
На заборы вы лезьте, не стукайте,
По соломушке идите, не хрястайте,
Вы во сенички идите, не скрыпайте,
Во избушку идите, все молитовку творите.
Ой! тот ли усище-атаманище,
Он входит в избу сам, садится в переду,
Ничего не говорит, только усом шевелит,
По сторонушкам усище посматривает:
Напырялась-нашвырялась полна вся изба усов —
Ой! на печке усы и под печью усы,

На полатях усы, на кроватушке усы.
Ой! крикнул ус громким голосом своим:
Ой! ну-ка, хозяин, поворачивайся,
Поворачивайся, раскошеливайся,
Мы не в гости пришли, не к тебе ночевать,
Не жены смотреть, не дочек любить, —
Ты давай нам хозяин позавтракати.
Ой! хозяин тут несет пять пуд толокна,
А хозяюшка несет пять ведр молока, —
И мы попили-поели, мы позавтракали.
Ой! ну-ка, хозяин, поворачивайся,
Поворачивайся, раскошеливайся, —
Ты давай нам, хозяин, деньжоночки свои!
Ай! хозяин божится, денег нету у меня,
А хозяюшка ротится, нет ни денежки у нас,
Одна девка за квашней, нет полушки за душой;
А дурак-сын на печи, он свое говорит:
Ужо батька врет, будто денег нет —
На сарае сундук во пшеничной во муке.
Ой крикнул ус громким голосом своим,
Ой нуте-ка, усы, за свои промыслы,
Кому стало кручинно, нащепайте-ка лучины,
Вы берите уголек, раскладайте огонек,
Вы кладите хозяина со хозяюшкою.
Ой! хозяин на огне изгибается,
А огонь коло него увивается;
Хозяин-то дрожит — за кубышечкой бежит,
Хозяюшка трясется — да с яндовочкой несется.
Ой! мы денежки взяли и спасибо не сказали,
Мы мошоночки пошили, кошельки поплели,
Сами вниз поплыли, воровать еще пошли...

2

— Ловко, Иванец, пущено, — откликнулся вдруг снаружи дворянин Лёвшин, подслушивавший песню под высоким окном каморы. — Сам собою разве складал?

— Где сам, Федор свет Фомич, где чужое — поди теперь разгреби...

— Да ты, молодец, я чай, и всю жизнь в том великой разницы не видал?

— И то... — спокойно согласился Ванька и глухо замолк.

— Сем-ко пойдем, Иванец, в горницу, спой еще: гораздо твои запевки утешны. А я за тот труд винца красоулю доспею...

— Нам бы и охота, да не можно, — лукаво отозвался Ванька. — Нешто неведомо, что у команды на меня особой наряд:

ни для чего никуды не спускать,
нижé за караулом никогда не отпускать
и приходящих никого не допускать!
Кто еду принесет — сперва офицеру кусать,
потом уже отдавать,
а вина и в милостину не примать.
Калачи да хлебы ломать —
запеченные ключи шукать.
Ножи — вредительный снаряд высматривать,
да чтоб между колодниками игры в зернь не велось — досматривать.
На корм денег в день копейку выдавать
да ежеден караулу о всем том репорт подавать...

3

— Ладно приказы перекладаешь; еще б коли тебе самому их писать — так не в пример бы стали понятней.

— А я и вписывал и уписывал, выпало-таки времечко...

— Да ты их и теперь горазд вертеть, аки дышло.

— Нонече разве то!

— Как не то: свидания запрещены, а что у вас за Чижики переговаривались давеча, а? Один колодник снутри, другой прошлец наруже?!

— Дак они ж единоимянники не по-нарочну случились, простолюдимы купцы — не родня. И той прохожий еще вчера на поруки спущен...

— Спущен, конешно. Денежку он, вишь, подавал, да и вся она тут недолга! Досужлива голь на пронырства.

— Уж мы на проказы пролазы, — довольно подтвердил Ванька и опять охранительно примолк.

— А кто ночи напролет пьет-гуляет, с женками спит, друг другу рубли да шубы в карты перепускает?

— Шубу я Василью Базану за полтину заложил.

— Про «заложил» ты сыскным бай, не мне...

— Каким сыскным? А тыт-то не из Комиссии равно ли?

— Я вольной дворянин и сам о себе промышляю... А коли обращаюсь тут с приятелями офицерами, ин на то особый свой смысл. Сем-ка поди со мною из каморы, есть о чем раздобарить глаз в глаз.

— Вить опять кто ж меня спустит, кто погулять отпустит? — откликнулся любопытный донельзя Ванька, пропев голосом совершенно противоположное тому, что означали произнесенные из осторожности слова.

— А друже твой закадычной, Подымов сержант на что? Вон тут денежка на крючок — разлюбезное его нещечко; а мы покуда по-свойски помаракуем...

4

Караульный, спавший, казалось, мертво-мертвецки подле дверей, нашед здесь наконец угомон от полуночных игрищ, тотчас воспрял, возвращенный из нетей счастливою вестью о даровой мерке водки, ловко замел поданное серебро и картинно смежил вновь очи. Благодаря такому его снисходительному попечению, впрочем отнюдь не дешевле достававшемуся нарочитому колоднику, нежели само секретарское благодеяние, Ванька действительно имел некоторую вольность ходить по двору, порою забредал в передние горницы из своей особой палаты в нижнем подвале и здесь, снявши на время ручные кандалы, оставаясь в одних ножных, имел досужество с подьячими и случавшимися иным часом дворянами разговаривать.

..В пустой по-воскресному присутственной каморе со столом, крытым красным сукном и уставленным оловянными чернильницами, опытный Ванька сразу почуял витавший тут тонкий сладковатый припах крови, без перерыва выпускавшейся на буднях из живой человечины с десятого после полуночи часа до половины третьего пополудни на правежах и допросах, творимых «с розыском». С того его заметно подернуло, и он понудил спутника проникнуть далее в подьяче-

скую, клетушку куда попроще: там хотя окна были все те же с железными решетчатыми затворами, но наместо казенных стульев стены подпирали привычные лавки, чернильницы были уже глиняные, а взамен колокольчика посереди столешницы громоздились двое счетов. Кроме того, по углам пузато застыли четверо ящиков для хранения полночревых кляузных дел, большую часть коих Ванька мог честно поставить себе в личную заслугу.

— Суд да дело у нас, Иванец, вот будут каковы, — начал Лёвшин не совсем удачно и, чтобы не спугнуть собеседника первым же неловким словом, поспешил тотчас переправиться. — Верняе не дело с судом, а полюбовный уговор. Вот ты, брат, кем и кем за свою жизнь не перебывал...

— Доточная ваша, Федор Фомич, истина. Даже попом, и то хаживал. Разве вон... Божьим сыном не назывался, как —

— Как кто? — с ходу навострил уши дворянин.

— Как Христос, понятно, — улучив чрезмерное его к тому внимание, вильнул от прямой правды «славный вор».

5

— Вот о том-то и речь, — спокойнее повел осаду Лёвшин. — Я ведь Комиссии о твоих винах не сочлен, а человек частный. Но много кого тут знаю и кое-чего таки... Ясно?

— Как белый свет, — ответствовал, сильно построжав, Ванька, видимо соображавший, какая корысть может ему выпасть от этого любопытствующего расспросчика и что тому на деле за рожон в пустобрешных байках.

— Бумаги они мне кажут порой под рукою, — и я, брат, дивлюсь только, до чего же ты проворен на всякую стать! При эдакой прыти всякого ближнего оговаривать почем зря...

— А ваше-то «зря» почем будет? — ернически отозвался Ванька, подловив собеседника на нечаянном спотыке речи.

— Погоди скоморошить. Так вот, плутать ей, Комиссии, в твоих ковах — не расплутать еще добрых три года с походом. Тут разве одно еще есть похожее следствие без причин — о новоявленных раскольниках-хлыстах...

— Ну, это с которого еще конца браться, — неясно рассудил разбойник.

— Так вот, брат. А я, надобно тебе знать, автор.

— ?

— Ну, сочинитель повестей на письме. Таких, каков ты в миру, записываю доподлинные приключения и книжки те выдаю в свет.

— А-а, истории, что ли, которые тиснят?

— Как бы так. Сем-ко расскажи, братец, мне не в допрос, а в охотку свою жизнь с самого первоначала. Я ее брошу на бумагу, поправлю, оттисню и выдам за свой счет, а коли ходко продаваться станет, денежки с прибытка ладком и поделим. Чем тут почем зря песни на воздух пущать, не излишня ж тебе помстится добрая сотенка?..

Против Лёвшина опасения, Ванька прилежно и с толком выслушал предложение, после чего как следует разжевал про себя, мямлил что-то невнятное толстыми губами, пунцовевшими, как спекшаяся струя густой крови в глубине бороды, тер крючковатый нос, впрочем довольно разлапистый и рыхлый на природном своем конце, переваривая почти наглядно возможные выгоды и опасные траты, какие может доставить не в обычай затеянная дворянская блажь, а с тем, недолго поколебавшись, споро поддался: «Изволь!»

Лёвшин, все еще страшась, как бы все то не обернулось одною проказой известного своею каверзностию мошенника, торопливо затеплил свечу в шандале, подвинув к ней ближе десть казенной бумаги; затем, растворивши чернильницу, обмакнул туда наточенное впрок на завтра безымянной приказной душою гусиное перо и выжидательно застыл.

— С чего зачинать-то? — ради прилики спросил Ванька, памятуя, что и певец уличный без ломания былины своей не заведет, хоть тресни.

— Коли зачинать — стало, с зачатия. А не упомнишь того точно, валяй с рождества, — соблюдая тот же обычай обязательной перебранки перед началом игры, сделал ответный ход Лёвшин.

Ванька подбоченился, хитрым-хитро глянул на него крупными, цвета наливного чернослива очами и, занозисто мигнув, с ходу соврал:

6

— Я, Иван Осипов сын, родился во время царствования Государя Императора Петра Великого в 1714 году от подлых родителей, обитающих в столичном Российской Империи городе Москве.

...Самою же вещью отец его числился крестьянином Ростовского уезда села Ивановского, принадлежавшего купцу Филатьеву московской гостиной сотни, в каковом селе Ванька и явился в мир, но только четырьмя годами позже; и лишь тринадцати лет от роду привезен был в Москву на господский двор. Хотя Федор Фомич о последнем обстоятельстве читал в следственных бумагах и, конечно, теперь его про себя припомнил, но, дабы не пресечь жизнь вожделенной повести еще в зародыше, нарочито смолчал, продолжив безмолвно вникать в произносимое, основные вехи которого он для верности бросал начерно в свои записи.

— Служил я в том же городе у богатого гостя Петра Димитриевича Филатьева,

и что до услуг моих принадлежало, то с усердием должность
мою отправлял,

токмо вместо награждения и милостей несносные от него
побои получал.

Чего ради вздумал встать поране
и шагнуть от двора его подале.
В одно время, видя его спящего,
отважился тронуть в той же спальне стоящего
ларца его, из которого взял денег столь довольно,
чтоб нести по силе моей было полно.

И хотя прежде на одну только соль промышлял,
а где увижу мед, то пальчиком лизал,
но оное делал для предко́в, чтоб не забывал.
Висящее же на стене платье его на себя надел
и из дому тот же час не мешкав пошел,
а более затем поторопился,
чтоб от сна он не пробудился —
и не учинил бы за то мне зла.
В то время товарищ мой Камчатка дожидал меня у двора.

7

— Это которой такой Камчатка?

— Беглой солдат Петр Романов сын прозванием Смирной Закутин, — вовсе иным, бесполым казенным гласом ответствовал готовно Ванька точно так, как положено показания в дело давать, добавивши еще: — А впоследствии времени парусной фабрики отставной собственною милостию матрос...

— Тот, коего ты ж потом по дружбе —

— Прилежа всей душою службе —

— Ну ладно, сказывай по порядку и на судейский этот пошиб-то, пожалуй, помене налегай, его на дух не норовят. Говори как мыслишь, хотя и раешным петрушкою — все краше, нежели крапивным тем семенем.

— Вышел со двора,
подписал на воротах:
пей воду, как гусь, ешь хлеб, как свинья,
а работай чорт, а не я!

— Погодь! — не стерпел все же Лёвшин. — Ты ж отозвался в допросе чистым как есть невегласом, ниже́ подпись свою не знающим...

— Дак для того оно было и верно.
Ин ученого Ивана от грамоты отучат,
когда кандалы с колодками нахлобучат;
а и непомнящий родства Ванька вспомянет мать,
коли спину станут кошками линовать.
Таков-то и я зраком —
что с лица свято, назади инаком!

8

...Пришед к попу на двор,
шел я не по большой дороге, но по проселошной — через забор;
отпер в воротах калитку,
в которую взошел и товарищ мой Камчатка.
В то время усмотрел нас лежащий на том дворе человек,
который в колокол рано утром звонит...

— То есть?

— Невелика честь: сторож церковной. Вскоча, спросил нас:
что мы за люди и не воры ли
самовольно на двор взошли?
Тогда товарищ мой ударил его лозой, чем воду носят...
— На приклад, коромыслом?
— А то. И сказал:
неужели для всякова прихожанина ворота хозяйские отпирать —
почему некогда ему будет и спать.
Потом к попу в покой взошли,
но более ничего у него не нашли,
кроме попадьи его сарафан
да его долгополой кафтан,
которой я на себя надел,
и со двора обратно с товарищем моим пошел.
Дорогою у рогаток часовые хотя окликали,
токмо думаю, что, признавая меня попом,
а товарища моего дьячком,
нас не одержали,
и мы пришли под Каменной мост,
где воришкам был погост —

9

— кои требовали от меня денег,
но хотя и отговаривался, однако дал им двадцать копеек,
на которые принесли вина,
притом напоили и меня.
Выпивши, говорили:
пол да серед сами съели,
печь да полати внаем отдаем,
а идущим по мосту тихую милостыню подаем —
— Ясно: мошенники!
— И ты-де будешь, брат, нашего сукна епанча!
— Сиречь?
— Такой же вор — тут и вся речь.
Поживи здесь в нашем доме,
в котором всего довольно
наготы и босоты

изнавешены шесты,
а голоду и холоду амбары стоят.
Пыль да копоть,
притом нечего и лопать...

Погодя немного, они на черную работу пошли.

10

Я под тем мостом был до самого свету
и, видя, что долго их нету,
пошел в город Китай, где попал мне навстречу того ж дому господина Филатьева человек и, ничего не говоря, схватя, привел меня обратно к помещику в дом.
В то ж время прикован на дворе был медведь,
близ которого и меня помещик приковал сидеть,
где я два дни не евши прикованной сидел,
ибо помещик кормить меня отнюдь не велел,
токмо, по счастию моему, к тому медведю девка ходила,
которая его кормила,
притом по просьбе моей и ко мне тихонько приносила;
между тем сказала, что-де и помещик наш обстоит в беде —
Ландмилицкой солдат сидит в гостях в холодной избе...

— Укокошен?!

— Да мертвой в колодезь брошен!

Потом помещик мой меня в покой к себе взял,
и, скинув все платье, сечь меня приказал.
Тогда я ему и сказал:
хотя я тебя ночью, немножко окравши, попугал,
и то для того, чтоб ты доле меня не спал;
и, не дожидаясь более, тотчас старую свою песню запел:
сказал СЛОВО И ДЕЛО, от которой он в немалую ужесть пришел.
В то ж время случился при том быть полковник Иван Иванович Пашков,
который ему наказал,
чтоб более меня не стращал,
а куды б надлежит отослал,
при чем я ему и еще той же песней подтверждал,

чтоб, не продолжая времени, в Стукалов монастырь, сиречь
в Тайную, где тихонько говорят, отсылал.

11

По прошествии ночи поутру в полицию меня представил,
где в той же песне еще голосу я прибавил,
ибо оная для ночи не вся была допета,
потому что дожидался света.
В тот же час драгуны ко мне прибежали
и в тот монастырь, куда хотел, помчали;
где по приезде секретарь меня спрашивал:
по которому пункту я за собой сказывал?
Коему я говорил, что ни пунктов,
ни фунтов,
ни весу, ни походу не знаю,
а о деле моем тому исповедаю,
кто на том стуле сидит, на котором собачки вырезаны...

— ???

— В креслах судейских, где же еще. За что секретарь бил меня той дощечкой, которую на бумагу кладут...

— А то что за диковина?

— Нешто и она неясная: линейка!

— Послушай, братец Иван: нашто ж все тьмократы перекладать тарабарским наречием?!

— Ин это уж такой промеж нас склад, не обессудь.

На другой день поутру граф Семен Андреевич Салтыков, приехав, приказал отвесть меня в немшоную баню, то есть в застенок, где людей весют — сколько кто потянет; в которую сам взошед, спрашивал меня: для чего я к секретарю в допрос не пошел и что за собой знаю?

Я, ухватя его ноги руками,
стал говорить, что мой помещик подчивал Ландмилицких
солдат деревянными кнутами —
сиречь цепами, что рожь брюзжат —
из которых солдат один на землю упал.
То помещик мой, видя, что оной солдат по-прежнему ногами
не встал,
дождавшись вечера, завернул его в персидский ковер, что
соль весют...

— Во что?

— В куль. И снесли в сухой колодезь, в который соль сыплют.

А секретарю для того не объявлял,
чтоб он левой рукой к Филатьеву не написал,
ибо я в доме у своего помещика часто его видал.

12

Граф приказал дать мне для взятья помещика пристойное
число конвою,
которой к нему и поехал со мною.
В то время у ворот меня тот лакей встрел,
которой к помещику меня привел,
и для того я конвойным взять его велел.
Ты меня, сказал я ему, поимал у Панского ряду днем,
а я тебя ночью во двору твоем,
так и долгу на нас ни на ком.

Пришли к тому колодезю, из которого вытащили Ландмилицкого солдата мертвого, почему взяли господина Филатьева и привезли в Стукалов монастырь. Граф спросил меня: был ли при убивстве господин твой?

Я сказал: какой на господине мундир,
такой и на холопе один.
Сидор да Карп в Коломне живет,
а грех да беда на кого не придет,
вода чего не поймет,
а огонь и попа сожжет.

13

После в скором времени дано мне от оной Тайной канцелярии для житья вольное письмо, которое я получа, в Немецкую слободу пошел, взошел в кабак, где усмотрел товарища своего Камчатку и четырех человек из тех, кои под Каменным мостом со мною были, и с ними пошли к Яузе, что близ дворца, к придворному доктору Елвиху.

Взошед тайно в его сад, сели в беседке, где усмотрел нас того сада сторож. Подошедши к нам, спросил: что мы за люди и зачем в сад зашли? Мы сказались господскими людьми,

почему он взошел к нам в беседку, — коего мы, схватя, связали и спрашивали: как к господину его можно взойтить в покой? Он указал нам окно, в котором вырезали из рамок стекло; растворя окончину, увидели того доктора с женою под окном спящих. Принужден я был в том же окне разуться, влез в спальню и, видя их разметавшихся не опрятно, накрыл одеялом, которое сбито было ими в ноги. Пошел в другие покои, взошел в детскую, где спала девка, которая спросила меня: зачем пришел?

Я сказал ей:
пришли в дом ваш купцы для пропалых вещей!
В то ж время и товарищи мои тогда ко мне вскочили,
и ту девку, связав, на кровать положили,
в середину доктора и докторши, а сами говорили:
бей во все
колоти во все
и того не забудь,
что в кашу кладуть...

— То бишь?
— Чтоб, не оставливая, все забирали.
Нашли стол уборной
с посудою серебряной,
с которого все без остатку забрали, —
и с тем обратно в то ж окно вылезали.

Пошли к речке Яузе, где для переезду ходил плот, переехали на другую сторону реки. Но, увидя за собою погоду — то есть погоню, — перерубили на том плоте канат,
чтоб нельзя было бегущим нас перенять.

Пришли под Данилов монастырь и отдали взятую посуду для продажи того монастыря дворнику.

14

Потом, собравшись пять человек:
Жаров, Кружилин,
Метлин, Курмилин,
да я, — пошли в тою ж Немецкую слободу к дворцовому закройщику Рексу,
у которого закрался Жаров ввечеру под кровать,

а мы остались в саду ждать.
Как настала ночь, тот Рекс и живущие с ним люди обдержимы были сном. Тогда мы, взошед в покой,
покрали у него тысячи на три,
с тем и пошли;
и несколько отошед, увидали за собою бегущего из Рексова дому человека,
которого мы схватили,
привели к реке Яузе и, связав, в лодку положили,
и при том ему сказали,
что ежели он станет много говорить,
то заставим его рыбу ловить —

— Стало, утопите?

И, отпихнув ту лодку от берега, пошли к Спасу на Новой.

15

Погодя несколько времени, пришел я на Красную площадь, где мне попала навстречу вышереченная дому господина моего Филатьева девка, которая меня и медведя кормила, и между разговоров сказывала, что на ее руках имеются с деньгами и экипажем две палаты.

Я после того на четвертой день пришел на двор Татищева, которой был в ряд с помещиковым, и, перекинув в огород курицу, стал у ворот стучаться. Вышел тогда Татищева дворник, которого я просил, чтоб он впустил меня в огород его для поимки залетевшей моей курицы. Почему впущен был внутрь, где будучи, высматривал у сказанных девкою кладовых палат, которые были стеною в тот огород, в окнах решетку и затворы, чтоб можно было в те кладовые влезть. А высмотря, пришел к товарищам своим, которые пять человек дожидались меня у Белого города, близ Ильинских ворот,
где, досидев до ночи, пришли в тот Татищева огород.

Отломав ломом железным у кладовой во окне затвор, вложили в решетку небольшое бревно, выломали и, в то разломанное окно влезши, усмотрели несколько сундуков. Из которых некоторых тронули обухами; имеющиеся в сундуках деньги, серебряную посуду и шкатулку, обитую бархатом, взяли, а сами говорили:

тяб да ляб клетка,
в угол сел и печка!

— Что таково?

— Сам гадай, каково... Вышли из кладовой, — и в то ж время за нами учинилась мелкая раструска, то есть тревога. А мы бежали близ Белого города и, как поравнялись против Чернышова двора, перед которым была великая тина, то мы деньги да пожитки в ту тину бросили и, оставя их, пошли за Москву-реку на двор к генералу Шубину.

Пришед к задним его двора воротам, и стучались у оных, почему вышел к нам человек, который по ночам в доску гремит. Тому мы сказали, что по близости двора их лежит пьяной, и как оной отошел от ворот, мы, схватя его, заворотили на голову имевшийся на нем тулуп и завязали, чтоб не можно было ему кричать. Вшед во двор, взяли из конюшни лошадей, в стоящий на дворе «берлин» запрягли и поехали к Милютину на фабрику, где взяли знакомую бабу.

Посадя ее в тот «берлин», поехали на Чистой пруд к одному купцу и влезли в его чердак, в котором нашли женской убор; нарядили ту бабу и велели ей быть барыней. Поехали назад к Чернышову двору, где брошены были деньги с пожитками, и по приезде скинули колесо; а нареченной барыне велели выдти вон, и из той грязи деньги и пожитки в «берлин» переносили. В то ж время, чтобы проезжающие мимо нас люди дознаться не могли, то реченная барыня бранила нас и била по щекам, говоря при том: что-де, вам дома смотреть было не можно ли, все ли цело?

И как без остатку все забрали, надели по-прежнему колесо, поехали и, остановясь против Денежного двора, вынувши из «берлина» деньги и пожитки, на том месте его и с лошадьми оставили. Ту ж «барыню» повели под руки и, пришед в свою квартиру, наградя деньгами, отпустили ее на фабрику обратно, откуда была она взята.

16

А выше показанная господина моего девка посажена была в полицию, где под битьем кошками спрашивана: не имела ли она для покражи тех пожитков какова подвоху или с

какими людьми разговоров? Однако в том учинила она запирательство, почему и освобождена обратно.

После помещик отпустил ее на волю, и вскоре попала она мне у Гостиного двора навстречу и сказывала, что она от помещика своего уволена и вышла за рейтара Нелидова. Между тем я зазвал ее в питейной погреб, где велел себя подождать; а сам, сходив на свою квартиру, взял утаенную у своих товарищей покраденную у господина моего шкатулку, в которой имелось несколько алмазных и золотых вещей, принес к ней и при том сказал:

только и ходу,
из ворот да в воду.

— Чтоб никому не объявляла?

— Ну-те-ко. И, побыв в том погребу, взяла меня в свою квартиру. По приходе спрашивал меня ее муж: какой я человек? Коему я о себе объявил:

что я ни вор, ни тать —
только на ту же стать! —

и имею у себя для жительства данное из Тайной канцелярии письмо. И, вынув оное из кармана, подал ему, чтоб он положил его для сбережения у себя. Притом, как уже напился я пьян, положен был спать.

А первого часа за полночь, встав, пошел из их квартиры тихим образом, чтобы они слышать и беспокоиться не могли, к живущему поблизости портному мастеру. Перелез в его огород, взошел к нему в покой, где поработал в маленьком бауле денег 340 рублев, и с теми обратно в квартиру рейтара пришел, который говорил мне: для чего я так рано и не сказавши ему с квартиры его ходил? На что я сказал:

наши вислоухи на дворе сторожки;
а ты сыт будь грибами,
держи язык за зубами.

И подошед к преждебывшей девке, а его жене, дал ей те покраденные мною деньги в руки и при том ей говорил:

вот тебе луковка попова,
облуплена готова!
Знай почитай,
а умру, поминай!

И, погодя, взял малое число денег и данное для сбереже-

ния свое письмо, пошел в свою квартиру, — в которой пожив несколько времени, взял с собою шесть человек и пошел из Москвы на Макарьевскую ярманку.

17

Будучи в дороге, не доходя города Вязников, попал нам встречу едущий с соломою на лошади крестьянин, которого спрашивали мы: где того города живет воевода? Но он был в то время сыр, то есть пьян, почему бранить нас стал...

Мы, схватя его с возу, привязали к дуге, а имеющуюся на телеге солому зажгли, отчего та лошадь бросилась в сторону, скакала по полям, покамест остались передки. С которыми и с тем привязанным мужиком прибежала она в свою деревню, где мы намерение имели наступающую ночь препроводить, ибо оное дело происходило перед вечером, но, боясь, чтоб нас не узнали, оставя оную, пошли в другую.

18

Потом пришли на ту Макарьевскую ярманку, подошли к Армянскому анбару, где товары сваливают, и я усмотрел в анбаре том тех армян деньги, — которые достать мы себе старались, изыскивая способы. И чрез скорое время поутру вышел из анбара один хозяин для покупки в мясной ряд мяса; а мы велели одному из нас, как оной будет подходить к гобвахте, закричать на него «караул»!

И как взяты они были, мы прибежали к тому анбару, в котором оставлен был его товарищ, сказали ему, что тот попал под караул, почему оной запер анбар и пошел на гобвахту.

В то ж время, взошед мы в оной, взяли две кисы да три мешка с деньгами, отнесли неподалеку и зарыли в песок. Товарищей своих послал я в квартиру, а сам сходил на пристань, купил лесу и лубья да поставил на том месте, где деньги положены, шалаш. И еще взял тесемок, мошенок и прочей мелочи, навешал в том шалаше якобы для торгу.

А как дождался ночи, то оныя деньги переносил к своим товарищам, кои уже и бывшего на гобвахте свободили, а построенную лавку оставил.

19

По прошествии нескольких времени пришел я на Гостиной двор, где увидал, как в колокольном ряду купцы считали серебряные копейки и, сочтя, положили в лавке, покрыв циновкой. Я сел под прилавок и, изобравши время, вскочил в лавку, взял из-под той циновки кулек, думая, что то деньги. Но в нем положен был серебряной оклад, —
однако рассудил, что хотя вместо денег он попал,
токмо и его примут в заклад.

В то время сидящая за пряниками женщина, оное увидев, закричала хозяевам, которыми я с тем кульком был поиман и приведен в светлицу, где те купцы пишут — сиречь в контору. Взяли они у меня пашпорт и, раздев, стали бить железной сутугой, притом же наложили на шею монастырские четки.

— ??

— Стул. Я, видя оное, не мог более сыскать себе к избаве способу и завел старинную свою песню —

— СЛОВО И ДЕЛО...

— по которой отправлен был в Редькину канцелярию.

— Это, что ль, оной офицер, которой командирован был в Нижний и окрестности для выемки разбойников?

— Самой тот, полковник из полковников.

20

Как товарищ мой Камчатка сведал обо мне,
что я в каменном мешке,
сиречь в тюрьме водворяюсь, то, взяв калачей, пришел ко мне якобы для подачи милостыни и давал колодникам по калачу,
а мне подал два и при том сказал:
триока калач ела,
стромык сверлюк страктирила.

— Давай-ка ясняе?

— За ясняе бьют красняе.

Мол: тут с ключами калачи,
цепь отпирай да не кричи!

Погодя малое время, послал я драгуна купить товару из

безумного ряду — вина в кабаке. Как оной купил, и я, выпив для смелости красоулю, пошел в нужник, где поднял доску, отомкнул цепной замок и из того заходу ушел.

Хотя погоня за мной и была, токмо за случившимся тогда кулашным боем от той погони я спасся. Прибежав в Татарской табун, усмотрел Татарского мурзу,
которой в то время в своей кибитке крепко спал,
а в головах у него подголовок стоял.

Привязал его ногу к стоящей при кибитке лошади и ударил тое лошадь колом, которая татарина потащила во всю прыть. А я, схватя подголовок, которой был полон монет, и сказал:
неужели татарских денег в Руси брать не будут?
Пришед к товарищам, говорил:
на одной неделе
четверга четыре,
а деревенский месяц —
с неделей десять!

— Это что?

— С утра еще нешто, ко полуночи ништо. На сей приклад: что везде погоня нас ищет. Ну и пошли мы на пристань, переехали чрез Волгу в село Лысково, переменя на себе платье — затем, что в том стали нас много знать.

21

В то ж время незнаемо откуда взялось шесть человек драгун, которые стали нас ловить. Камчатка побежал от меня прочь, притом сказал, что он увидится со мной
на последнем ночлеге,
как буду ехать на телеге.

Я побежал чрез постоялые дворы на Макаровскую пристань, где, с народом переехав, прибежал в торговую баню, в которой разделся, вышел на двор и усмотрел, что драгуны около той бани стали.

Я вскочил обратно в баню, связав свое платье, бросил под поло́к, оставя одни только портки, и взял из той бани побежал на гобвахту к караульному офицеру, объявив, что незнаемо какими людьми, будучи в бане, деньги, платье и при том

пашпорт у меня украдены. Офицер, видя меня нагова, дал мне солдацкой плащ и отослал в Редькину канцелярию. А как приехал полковник Редькин, то спросил: какой я человек? Коему я о себе объявил, что я московской купец, парился в бане, где платье и несколько денег, при том же данный мне от московского Магистрата пашпорт украли. Он приказал меня письменно допросить.

Как стал подьячий меня допрашивать, то я ему шепнул на ухо:
тебе будет, друг, муки фунта два с походом —
сиречь кафтан с камзолом.

После того пришел часовой, у которого прежде я ушел;
я согнулся дугой
и стал как другой,
будто и не я, —
почему и не признал он меня.

А Редькин на допросе не утвердился, приказал еще спросить торгующих на той ярманке московских купцов: подлинно ли я купец?

Чего ради подьячий для показанья к тем купцам меня водил, и по знакомству торгующий в питейном погребу подьячего уверил: что подлинно я московской купец. Пили у него при том разные напитки, от чего сделались пьяны, и обратно в канцелярию пошли, объявили о том сыщику Редькину, от коего приказано было дать мне пашпорт.

Которой я на два года получив, пошел в город Нижний в ряды, где ухватили меня три человека драгун за ворот, называя беглым. Я хотя отговаривался и казал данной мне из канцелярии сыщика Редькина пашпорт, однако повели они меня к себе. Я не знал, как от них отбыть; усмотря же у одного двора стоящую с водой кадку, вырвавшись у них, ступил на оную, перескочил через забор на тот двор, а с того двора в сад, прибежал на Сокол-гору к Ильинской решотке к своим товарищам. И говорил им:
спасибо Петру,
что сберег сестру, —
иначе, что ушел цел.

Сели в кибитки, которые были для отъезду приготовлены, приехали в Москву.

22

По приезде пошли в Нижние Садовники, взошли в пустую избу; дождавшись ночи, сделали в той избе из бумаги оконницу. А как настало утро, то стали камень о камень тереть, будто что мелем. Камчатка насыпал голову мукою в знак калачника и, высунув из окошка голову, кликнул с продаваемым мясом мужика, — которое, сторговав, велел подавать в окошко. Мы, взяв говядину, из той избы ушли.

А мужик стоял под окном долгое время, ожидал за проданное мясо денег; и, усмотрев, что никого в избе нет, рассуждал с прохожими:
люди ль то были
или дьяволы с ним говорили
и говядины лишили.

23

После того несколько спустя времени пришли в Греческой монастырь на Никольской в келью грека Зефира, которой на тот час был в церкви, а в келье оставался один его работник, коему мы сказали, чтоб он нес в церковь к хозяину своему восковые свечи. Работник, взяв несколько, и понес, а мы, схватя его в дверях, спрашивали:
не украл ли он те свечи,
а ежели пошутил, чтоб откинул от сундуков ключи, —
и, вскоча в келью, платье и при том два малых пистолета взяли и со оным пришли близ Убогого дому к жителю суконщику Алексею Нагибину, отдали для сбережения те пожитки оному.

На другой день бывшая у сего хозяина работница взяла тайно украденные нами два пистолета, понесла для продажи на Красную площадь. Где оной грек попал ей навстречу, признал те пистолеты и, под видом сторговав, повел ее якобы для отдачи денег в Греческой монастырь, в котором, связав ее, со оными представил в полицию. Где и показала она, что взяла их в доме своего хозяина, у коего служит работницей; почему к нам, где мы имели пристань, для забрания нас под караул приехали солдаты, захватили меня да товарища моего Жарова и, взяв те обще с ним принесенные пожитки, приве-

ли в полицию. А по запирательству, взяты мы были на очную ставку, где говорили между собою, что
овин горит, а молотильщики обедать просят, —
то есть чтоб подарить секретаря и повытчика. И, как положили меня для битья плетьми, товарища моего Жарова в то время вывели на крыльцо, откуда он тогда и бежал.

После того недели с три спустя прислал товарищ мой Камчатка старуху, которая, пришед ко мне, говорила:
у Ивана в лавке
два гроша лапти —
то есть нельзя ли из-под караула уйтить.
Я сказал ей: чай примечай,
куда чайки летят —
то есть я так же, как и товарищ, время к побегу хочу избрать.

Во оных разговорах вдруг взят я был для двоекратного пристрастного подтверждения пред полицеймейстера, которой увещевал меня, чтоб во всем я принес извинение. Коему я сказал:
здесь в полиции баня дешева —
стойка по грошу, лежанка по копейке,
только чтоб правому быть.

Потом отведен обратно в тюрьму. В скором времени товарищ мой Камчатка сыскал случай подкупить стоящего на карауле в той полиции вахмистра об отпуске реченной доказательницы для парения в баню, откуда, надев на себя другое, принесенное нарочно платье, она бежала; без которой нечем было мое дело к окончанию привесть, и в скором времени свобожден и я был на расписку конной гвардии рейтара Нелидова.

24

После оного, собравшись мы человек с пять, а именно: столяр Кувай, Легаст, Жузла, Пива да я, пошли на Конную площадь, купили лошадей, на которых поехали в город Кашин, и по приезде стали в Ямской слободе у старосты.
Жили в том городе более полугода,
токмо не учинили ни к кому похода,

сиречь не делали воровства.

А из того поехали ко Фролищевой пустыни. Не доезжая оной, попали встречу нам цыганы,
из которых одного сотника их и с кибиткой скрали,
отъехавши несколько, того цыгана связали,
а пожитки его к себе взяли;
и, оставя, поехали ниже Макарья, что слывет Шелковый затон,
где ворам был не малой притон.

При том в то ж время плыли по Волге суда, с которых сшел хозяин и поехал сухим путем. Мы за ним и, видя, что оной остановился на винных заводах, поворотя, поехали к Макарью для покупки харчу. Ехавши, усмотрели на Макарьевском лугу незнаемо какого звания шестеро человек спящих,
у коих, что было, отобрали,
чтоб впредь так крепко не спали.

Взошли на Песошной кабак, в котором случилось в то ж время быть человек до семидесяти, и при них атаман Михайло Заря, которым присовокуплены и мы были к ним в товарищи.

25

Покупили у Макарья ружья и пороху, пошли на тот винной завод и, несколько не дошед, сели на три круга, стали варить кашу; а на завод послали огневщика для проведывания, которой по приходе привязан был к столбу. Мы ждали часа с два, атаман послал еще есаула Камчатку и при том ему приказал, чтоб в случае его несчастия дал знать. Есаул по приходе на завод говорил заводским людям: для чего они без резону к столбу вяжут? Тогда того заводу нáбольшой, смотря с галереи, приказал есаула Камчатку привязать к тому же столбу.

Есаул, то видя, засвистал, чтоб товарищам своим голос подать.
Атаман, услыша оное, закричал,
чтоб к ружьям скоро бросались
и на завод мешались;
тотчас ружья и сабли похватали,
на тот завод побежали.

Атаман пошел в солодовой амбар, в котором захватили несколько народу, и в том амбаре заперли. Тогда набольшой стрелял в нас из ружей, токмо тем никакого вреда нам не учинил; напоследок заперся в своих покоях. Мы, схватя от ворот бревно, ударили оным в дверь, которую расшибли в щепы, и взошли в покой. Тогда случившийся у того набольшего Князек задел по шее нашего огневщика саблей, отчего огневщик упал. Мы тотчас оного Князька, схватя, заперли в нужник, при том ему сказали:
тебе опосле честь будет.

Атаман взошел к набольшему и, видя у него на кафтане звезду,
говорил ему,
что честь твоя с тобою,
а теперь попал в мои руки, то разделайся со мною;
торг яма,
стой прямо!
Видя яму, не вались,
а с ворами не водись,
не зван в пир не ходи,
сиречь для чего так нечестно поступил;
и хотя грамоте и горазд,
токмо опять не думай, чтобы в наши руки не попасть, —
то есть не дал бы погони.
Взяли у него денег без счету,
а посуды без весу,
и все отослали к лесу.

Потом вывели из заходу прежнего Князька, которого атаман спросил: кто он подлинно таков? Он о себе объявил, что грузинской знатной Князь. И, более не мешкав,
поехали мы Кержанским лесом,
где, изобрав место, стояли с месяц.

26

Поехали из того лесу в село Работки, в котором дни три приехал тогда оного села управитель, спросил: какие мы люди?
Коему мы о себе объявили, что мы Донские казаки,
а как увидим деньги, так не подержут их никакие замки, —

и, более не быв, из того села поехали; при том спросили бывшего тут калмыка: чьего оно господина? Которой объявил, что генерала Алексея Яковлевича Шубина...

— Постой-ка, того...?

— Того самого его. — Неужели, сказали мы, у него летней одежды нет, а всегда ходит в шубе? Почему будут к вам портные для шитья летних кафтанов.

27

И, побыв, поехали из того села и приехали на Оку на Лосенский перевоз, чрез который переезжали на пароме, где случился в то ж время офицер и спрашивал нас: какие мы люди?

А как съехали с того парому, атаман, предупредя, его остановил и при том говорил:
ты спрашивал нас на воде,
а мы спрашиваем тебя на земле:
лучше б ты в деревне жил да овины жег,
а не проезжающих допросами пек!

Приказал у него отобрать шарф, знак и шпагу, за что велел заплатить несколько денег, и, оставя его, поехали в Москву.

28

По приезде стали на две партии в ямской Переяславской слободе на постоялых дворах и жили более полугода, токмо всегда спрашивали проезжих: не скажется ли кто генерала Шубина. В одно время сказался нам один служителем того Шубина и при том объявил, что Шубин в то село ездит летом; почему, дождавшись мы весны, поехали ко оному Шубину. Атаман отправил к селу Избылцу меня с двумя товарищами вперед для осмотру к приезду партии места и велел дожидаться.

Мы, как вышли из Москвы, стали подходить к зверинцу, от коего поворотили к Лефортову, где усмотрели незнамо какого звания двух человек, которые вели женщину, у коей обернута была голова и лицо простынею по самую шею; из них впереди ее шел один с мешком. Камчатка спросил их: кого они ведут?

Те отвечали, что они ведут бабушку на повой.

Напротив чего Камчатка сказал: видно, что в воду головой!

И, остановя, стал ее смотреть. Между тем сделалась ссора. Один из них думал выхватить нож, однако до того не был допущен: Камчатка ударил его гостинцом, то есть кистенем: что видя, другой его товарищ, оставя их, бежал в лес. А первого с тою женщиною взяли, отвезли в Лефортово да отдали у рогатки часовым.

Коя показала о себе, что она девка дому господина Лихарева, сманена оными людьми, из чего видно, что они намерение имели в тот мешок ее спрятать, чтоб никто не нашел — сиречь утопить.

29

Где оставя их, пошли мы по Володимирской дороге к тому селу Избылцу и по приходе дождались своей артели. Потом все въехали в то село к знакомому мужику, у коего приготовлено было мною до прибытия партии четыре лодки, в которых мы и отправились водой.

И как приехали в село Работки, случился тамо на то время торг, токмо Шубина во оном селе тогда не застали: он ездил за охотой. Мы поставили в управительском и прикащиковом дворах караулы, взошли того Шубина в покои, взяли несколько денег и пожитков и, прибравши с собой управителя и прикащика да преждереченного калмыка, сели обратно в лодки и поехали.

А как стали несколько от того села в расстоянии, то, усмотрев за собою погоню, приказали оному управителю и прикащику ее остановить. Кои тем кричали, чтоб они более погони не чинили, почему тут народ запнулся. Тогда мы управителя, прикащика и калмыка положили на берегу связанных.

30

В то ж время по обеим сторонам Волги была великая тревога, в селах били в набат, причем для поимки Редькина команда послана была за нами. Мы бросили лодки и в них

несколько пожитков, а достальное взяли с собой. Пробираясь лесами трои сутки, пришли в город Муром, стояли в оном два дни. А как об нас знать дано, то мы, пришед до села Избылца, где наши схоронены были лошади, послали наперед к тому ж знакомому мужику спросить о бывшей тревоге.

Мужик сказал, что для нас оставлен на кабаке бургомистр и при нем пять человек солдат. Мы, об оном чрез посланного сведав, пришли в тот кабак и по приходе закричали:
шасть на кабак,
дома ли чумак,
верит ли на деньги,
дает ли в долг?
Атаман сказал:
когда мас на хас,
так и дульяс погас...

— Чего такого?

— Всякого да сякого: что-де никто не шевелись!

— Точно ли?

— На сей конец довольно.

31

Попили вина и пива да, взяв у объявленного мужика своих лошадей, поехали к городу Гороховцу. Атаман стал говорить, чтоб избрать место для отдыху, почему приехали в село Языково, в котором жили в смирном образе месяца с три.

В том же селе на реке Суре стояло торговое армянское судно, на которое ночью пришли. Тогда хозяин его палил в нас из ружей, токмо тем спасения никакого себе не получил. Когда мы взбежали на его судно, то он, чтоб его не нашли, заклался в товарах, однако по указанию его водолива был найден. И, по несыску у него денег, которые он думал утаить, перевязали его поперек тонкой бечевкой да, ухватя за руки и за ноги, бросили в реку Суру; в которой подержав, вытащили обратно на судно, вздули виног — то есть огонь — и хотели его сушить. Почему, что́ было у него денег и пожитков, отдал, которые — и притом несколько товаров — взяли и пошли в село Борятино.

32

Тогда ж мы, сведав, что сделалась за нами погоня, пришли к реке Пьяной, где живут мордва и татары, взошли на двор к татарскому Абызу, как прозывается ихний поп, взяли у него лошадей и поехали к монастырю Боголюбову, что близ города Володимира.

По приезде стали на знакомый двор, где жили с неделю. Откуда я от товарищей своих отправлен был в Москву для приискания квартиры.

Я, взяв с собой Камчатку, поехал наперед. По приезде в Москву стали в Кожевниках. Камчатка от меня пошел на парусную фабрику, ибо он был матрос; а я пошел в ямскую Рогожскую к ямщику, у коего напредь сего стояли, и жил у него до осени.

Притом ходил по Москве и проведывал воров и разбойников: где кто пристанище имеет, — потому что во оное время для покупки ружей, пороху и других снарядов в Москву цельные партии приезжают. А как о многих сведал, то вздумал...

33

— Остепенись малость: какой тогда год на дворе-то шел?

— Лето которое? Индикта со вруцелетом уже не упомню, от Адама же осмой тысящи ровно первая четверть, по Рождестве Христове на третий день.

— Мудрено заплел: 1741, бишь, декабря 27-го числа?

— Заневолю и так.

— Вон чего. Сиречь — где первые воровские дела твои вроде как пересекаются. Тут и годи покуда: чуешь, каков грядет топотище преужасной — смена российской кустодии...

Дворянин Лёвшин с юркой опаскою убрал бумагу под обшлаг широченного раструба рукава, задул прогоревшую на добрую треть свечу и, поднявшись, мягко качнулся на высоких каблуках взад-вперед, сказавши на прощание:

— Ну, бывай до поры здоров, Иванец. Я все это набело перемараю и за продолжением впредь притеку, токмо ты о нашем деле никшни.

— А денежки-то не скоро ли? — не позабыл почтительнейше осведомиться языкатый бывальщик.

— По уговору: при докончанье. Ин ежели история наша ходко подвинется, тут не одним рублевиком дело дышит. Знай примечай: ты ведаешь ли, что из здешних палат ране был копан ход под землею туды... Аж за Иванов за монастырь, на Кулишки?

— Ну-у, барин-раздобарин?! — насторожился Ванька.

— И я сведом не в точности, но теперь нарочно прознаю. А там сыскать только в ход сей вход, да и пора, твоим сказом молвящи, в поход на уход —

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ПОД СПУДОМ

1

ZELLE 9
ZELLE S
VORSICHTIG!

2

Такие не вполне внятные рассудку, но явственно предостерегающие иностранные надписи прочел на трех из четырех ворот подземелья изумленный Ваня-Володя и вслед за тем неприязненно ощутил, как ручеек холода, закравшийся втихаря за шиворот, пребольно ожег голую кожу, мигом покрывшуюся волдырями мурашек.

...Выслушав тогда раздражающе наставительную историю своей новой окрестности, он уже под конец почувствовал совершенно уверенно, что высунувшаяся было надежда ухватиться тут за нечто насущное, некую мысленную нить-подсказку, которая сможет вывести его тройственный поиск к вожделенной цели, вновь безвозвратно утратилась. Ее внешне скрытое, но отчетливо призывающее к угадыванью живительное присутствие сошло потихоньку на нет, оставивши окружающее совершенно в сем смысле прохладным — как в той детской игре, где отыскивающему сокровенный предмет подсказывают «тепло» или «холодно» в зависимости от близости находки.

Кроме того, он столь же безусловно, как и бездоказательно, понял, что служит сейчас живою пешкой в чьей-то замысловатой пространственной игре, и сознание это тотчас естественно породило в нем живейшее желание смешать, спутать ходы надменному гроссмейстеру, направившись вовсе не туда, куда ему было назначено непрошеным путеводителем и положено как будто непереступаемыми правилами поведения в беде.

3

Он лишь из одного приличия, чтобы не оскорблять показательным невниманьем, проследовал еще немного за табунком краезнатцев к верху горушки, прислушиваясь поневоле к частному разговору, который вел по пути к следующей остановке руководительственный мужчина с прицепчивою доточницей, все никак не желавшей успокоиться из-за лишения великой радости поползать немного ужом по подпочвенным норам. В приватной беседе тот куда пространней пересказывал ей предположения и поверья, что соединенными стараниями с подлинными землекопами превратили весь холм в некое подобие чудного муравейника.

Не считая ходов, сообщавших палаты и храмы между собою, сказания протягивали их нити далее ко Кремлю и даже за Москву-реку на посады. Впрочем, не все оно вышло на поверку одним лишь сплетением россказней: когда в начале тридцатых годов рыли открытым способом вдоль по Мясницкой до Красных ворот метро, одно из преданий удалось подвергнуть ученому испытанию. На дворе роскошного особняка княгини Юсуповой — графини Сумароковой-Эльстон в Хоромном тупике, где нынче Сельхозакадемия, а некогда был охотничий дворец Иоанна Грозного, издавна вызывали чрезвычайное любопытство четверо люков, уводивших, как думали, в глубокое подземелье. Два из них по вскрытии оказались напрочь засыпаны, третий просто обыкновенный колодец, — а вот последний, четвертый, как водится, и был настоящим ходом, спускавшимся по направлению к Белому городу.

Множество ответвлений, по большей части обрушенных намеренно или же загроможденных оползнями подмытой почвы, убегали от него в стороны к домам местной масонской знати, которая имела здесь некогда даже и особый свой храм в славной Меншиковой башне, куда как будто тоже существовал нарочный лаз из-под земли. Скопившийся за века едкий газ тушил керосиновые фонари и колол очи не шибко оснащенных исследователей, да и подпиравшие сроки строительства не давали возможность особенно забираться вперед, и поэтому поиски пришлось остановить в самом еще зачатке. Но, как предполагается, главная вена этой подспуд-

ной системы вела в самое сердце столицы, через Хохловку ныряя под Иванов холм до Солянки и виясь далее книзу.

4

А в начале еще нашего века в газетах прошелестело однажды сообщение, будто при земляных работах для центральной городской электрической станции на Соляном дворе, где во времена óны располагались владения Малюты-Богдана Скуратова-Бельского, на глубине в пять сажен обнаружен был засыпанный с головой полусгнивший колодезный сруб. Снявши восемь аршин древних бревенчатых венцов, на дне его натолкнулись на хорошо сохранившийся остов лошади, а под ним на некотором расстоянии нашли мужской скелет. На ногах у него были сапоги с загнутыми кверху носками, а рядом отыскался и другой, женский уже сапожок...

Конечно, вся эта недосказанная головоломка из ветхих ужасов неминуемо породила пропасть страшных догадок о несчастных следствиях любви в опричное лихолетье. Впрочем, тут романтические выдумщики несколько намешали в московской географии, ибо сей Соляной двор был отнюдь не родня тому, что остался жить своей тенью в имени улицы Солянки, — он заодно с Винным стоял тогда против храма Христа Спасителя, на Болоте. Но все-таки упрямая правда вещественной достоверности, бесконечной в стремлении уточнять все до мельчайшей подробности, всегда остается ниже достоинством правды художественной, что при той же беспредельности в поиске истины направлена не долу, а вверх. Потому-то в двадцатые годы появился даже довольно ловкий приключенческий роман «Подземная Москва», где допотопные басни и дитячий восторг перед скороспелыми преобразованиями соединяются иногда довольно успешно с подлинными разысканиями одержимого охотника за библиотекой Ивана IV — профессора Игнатия Стеллецкого.

5

На это звучное имя как бы некий замочек ответно щелкнул у заглушной дверцы где-то в заповедных хоромах памяти Вани-Володи, но вход, охраняемый им, будучи отперт, словно

еще ожидал какого-то дополнительного движения, чтобы отвориться как следует нараспашку.

— Кстати сказать, — просунул опять свое коронное словцо для перехода на боковую ветвь повести рассказчик-водитель, не замечавший как будто Ванина чрезвычайно возросшего любознайства, — это был человек со старым академическим образованием, настолько болевший жаждою отыскать скрытый в московской земле клад мысли, что даже собственную свою квартиру обставил он наподобие подземной галереи, выложив в нишах настоящие, найденные при раскопках черепа, осколки посуды и прочее ископаемое добро среди магического полумрака, оттеняемого тревожным мерцанием свеч. А перед самой уже смертью —

Тут они подошли вплотную к перекрестку Подкопаева с Малым Вузовским, и Ваня-Володя вдруг, не обинуясь, резко свернул назад. Причем побудительным поводом к сему отнюдь не в первую голову послужило соображение о том, что назначенная здесь обманнически Катасоновым встреча должна была даже при счастливом сложении обстоятельств состояться только под вечер. Настоящим двигателем для решительной перемены пути стало окончательно окрепшее воспоминание о том, что жена-то как раз перед исчезновением своим и читала здоровенную зеленую папку, в которой благодарный поклонник этого самого Стеллецкого собрал все труды, статьи и заметки, какие тот за долгий срок жизни успел напечатать в различных изданиях о подземных тайнах столицы. Ваню-Володю все это привлекало тогда столь же мало, как и прочие женины путешественные затеи; но единственной вещью, показавшейся ему заслуживающей внимания, была судьба кладоискателя лично.

Поиски затаенных сокровищ во чреве Москвы довели его в итоге до редкого и вместе с тем как-то своеобразно хитро связанного с упорными попытками проникнуть в скрытые недра естества заболевания, именуемого афазией: расстройства сообщаемости речи при полной сохранности ее органов. Оно может иметь разновидные проявления, равно на свой лад загадочные; в его случае вышло так, что вполне разумные мысли, преображаемые в слово, искажались на выходе до неузнаваемости, обращаясь в сущую тарабарщину, которая была совершенно невнятна всем — кроме самого говорящего.

Он был обречен безнадежно досадовать на отказывавшихся понимать его устно близких и дальних, сносившихся с ним лишь при посредстве грифельной дощечки, а они, в свой черед, напрочь лишены возможности восстановить эту связь.

Как выяснилось позднее, в шестидесятые уже годы, при этой форме болезни образованный человек порою незаметно для себя переходит на тот иностранный язык, который последним в жизни постиг. В довершение невзгод профессора-полиглота у него это оказался арабский, коего так никто из окружающих вплоть до его смерти и не разобрал; и лишь впоследствии случайный заброжий гость, произнеся несколько самых обиходных слов, сообщил им разгадку, которая уже не могла никому принести облегчения...

6

Покуда память услужно выуживала из прорвы забвения это путеводное происшествие, покорные новой прихоти воли стопы уже заводили Ваню-Володю в самое несомненное, не воображаемое вовсе подземелье. Опрометчиво указанный всеведущим рассказчиком вход в него находился совсем под рукою: стоило лишь проникнуть в одну из арок разлапистого серого здания, расположенную встык с бывшей монастырской оградой, и затем решительно опуститься в широченную темную нору для машин, освещаемую редкими лампочками, подвешенными в зените бетонных сводов.

Как только отважный пешеход достигал здесь дна, он оказывался в целой подземной деревне с улицами и проулками, сходящимися и вновь разбегающимися врозь от нескольких перекрестных площадей. По сторонам проездов рядами тянулись двери гаражей, складов и прочих хозяйственных угодий. Потолок, увитый жилами согласно виляющих труб, был по большей части черным-черно закопчен; с него по временам сыпалась кирпичная крошка или верзилась прямо на лоб шальному ходоку увесистая ледяная капля. Ворота все, как один, стояли заперты, а то и вовсе срослись со стенами так, что на них скапливалась могучая сосулька в человеческий рост, молча свидетельствующая о том, что сюда давно уже не наведывались ни хозяин, ни вор.

Открытые для передвижения пространства стеснялись там

и сям пузатыми колоннами с арками, а темные закуты дышали затхлостию и страхом, возбуждавшимся в душе залетного посетителя полной безлюдностью окружающего его утробного мира.

Проследовав сквозь немые строи помеченных одними номерами да изредка краткими непристойностями створок, Ваня-Володя наконец добрался до самой дальней площадки, где встречались три больших проезда, образуя здесь род кольца. По бокам его окружали железные двери, на которых он и прочел те нелепые и порядком-таки угрожающие немецкие обозначения —

ZELLE 9
ZELLE S
VORSICHTIG!

Четвертое дверное полотно осталось не подписано, и как раз из-за него-то, не успел еще Ваня-Володя освоиться толком с положением, отчетливо послышались громкие шаги, сопровождаемые тремя мужскими голосами. Дверь отпахнулась со ржавым криком петель, и оттуда вывалились наружу вполне отечественного извода дядьки, очевидно только что раздавивше в надежном убежище косушку; заприметив напуганного неравною встречей чужака, они сразу сообразили, чем вызвано его опасливое недоумение, и грубо загоготали.

— Милости просим в рейхсбункер! Жаль, не застал портвейнгеноссе Бормана — съемки на той неделе закончены. Ну не горюй, недолго подвалу пустовать: скоро опять киношники с фашистами пожалуют, так что оставь, браток, телефончик, можем и к самому фюреру сводить, он тут частенько по соседству посиживает!

7

Не переставая производить свежепромоченным горлом издевательский клекот, шустрецы завернули за ближайший же угол, превратившись в собственное эхо, а потом и вовсе сгинули в подвальных закоулках.

Ваня-Володя, стараясь не особенно обижаться на задира-

тельные возгласы, терпеливо выждал, пока нежелательные свидетели отойдут подале, и тоже, в свою очередь, проник за безымянную дверь.

За нею он обнаружил полого опускающийся книзу ход, крытый поверху полукруглым сводом, — но уже ближайшее его продолжение терялось в кромешной тьме. Под ногами мерзко хлюпала непонятная жижа; едва только втюрившись в нее, он мигом отпрянул в сторону и тут в кирпичной пазухе натолкнулся на щедро оставленный безвестным доброхотом широкий свечной огарок.

Ваня-Володя почти безнадежно размыслил, что можно будет, конечно, как-нибудь попытаться подпалить его от раскаленной лампочки, ежели только суметь забраться под потолок, что, впрочем, выглядело весьма неправдоподобно; но на всякий случай все же хлопнул слегка кистями по карманам в поисках спичек, каковые у него, как человека некурящего, обычно отсутствовали. Поэтому он и сам был полезно удивлен, услыхавши тугой ответный щелчок коробка́, который с утра еще подавал Рачихе, да и позабыл вернуть на законное место в комод.

Чиркнув несколько раз втуне серой о серу, он еле угораздился затеплить непокорный обмылок стеарина и, защищая его сомкнутою лодочкой ладони от низкого коварства сквозняков, двинулся крадучись под уклон.

8

Навряд ли он смог бы сейчас ответить толково: чего именно ищет в этой каменной щели, — действительно, не Веру же, но и не душу, — но одновременно какая-то запрятанная внутри стрелка, следящая направление судьбы, совершенно внятно указывала Ване-Володе, что в данный миг та лежит в точности в той же стороне, куда направляется и неведомый ход.

...Впрочем, как ни внимательно стерег он плотно убитую временем дорожку под ногами, стоило лишь разок отвлечься, заглядевшись на струи валящего изо рта сырого пара, как Ваня-Володя тотчас врюхался по щиколотку в черную лужу, заправскою камбалой подладившуюся под крепкий пол, и насквозь промочил левый ботинок. Выматюкавшись как сле-

дует, он попробовал было идти помедленней, но тогда почувствовал изрядный озноб: здесь оказалось не в пример холодней, нежели наверху.

Несколько раз по сторонам встречались наглухо зашпандоренные дверцы боковых ответвлений, дорога в которые поросла густопсовою плесенью и, видимо, давным-подавно не была торена. Сперва он еще искал глазами какой-либо разметки для служебного пользования, но при всей пристальности наблюдения так и не обнаружил ни единого знака. Постепенно, однако, Ване-Володе сделалось ясно, что ход рассчитанно содержится так, чтобы все в нем было противоположно сказочному складу: хотя здесь не однажды попадались развилки и перепутья, где по былинному обычаю положено бы гнездиться заповедному камню «налево пойдешь — направо пойдешь» или хотя бы, ёрническим пошибом, «иди домой», — чье-то настырное тщание управилось так, что у ходока не было вовсе выбора, и чистая дорожка всегда оставалась одна, а все прочие стояли надежно заключены или даже завалены.

9

Придерживаясь время от времени озябшей рукою за сочащие влагу стены, больной камень которых легко отслаивался пластами, Ваня-Володя сразу сообразил, что тому должен быть не один век возрасту. Ведь само вещество это было ему когда-то отнюдь не чужим, но на каком-то повороте молодости — или и в самой доле тоже отсутствует на деле прямая вольготность, а все единожды уже наперед предуказано? — он забросил его ради более соблазнительной забавы...

Как раз о ту пору, когда Ваня заканчивал десятилетку, к их прежде захолустной окраине, Грачевке, вплотную подступила безостановочно раздающаяся вширь, наползая на бывший тихий уездный мир, новая стройка. Недолго размышляя, пошел по соседству работать каменщиком и Ваня, причем настолько вскоре в первом же деле своем преуспел, что его с радостью послали на полугодичные курсы реставраторов на Мантулинской улице. И чуть ли не кремлевские стены предстояло Ване впоследствии крепить, не перевесь на свою чашку весов другое молодецкое увлечение — велоспорт.

С издетства еще навык он гонять дни напролет по просе-

лочным тропинкам и мягкотелому под солнцем асфальту Подмосковья; позже, парнишкою с ломким гласом, записался в секцию на стадионе «Юные пионеры», докуда ехать от них было по прямой Ленинградским трактом, и, будучи жилист и вместе с тем легок, да еще при невеликом своем росте, быстро стал делать приметные далеко за пределами прежнего узкого окоема успехи.

10

Трек, где он занимался, располагался на прежнем Питерском шоссе позади царского павильона, оставшегося здесь единственным напоминанием о художественно-промышленной выставке конца прошлого века. Еще за год до начала нашего столетия, как бодро гласила пояснительная доска при входе, на этом поле — знаменитой Ходынке — начались первые соревнования, правда, сперва конькобежные. В тридцать пятом основана была Василием Ипполитовым и велошкола, а уже сын его Игорь сделался пятнадцатикратным чемпионом страны.

Как это состоит в заводе у немалого множества наших соотечественников, все свои старания вкупе с самим сердцем отдал Ваня не главному занятию, а побочному; почему, едва закончивши реставраторские курсы и махнув рукою на слезные мольбы старого наставника, убеждавшего, будто толковый строитель сейчас чуть ли не самый нужный у нас человек, он отправился отнюдь не в сторону Кремля, а в направлении строго обратном — на юношеские соревнования в город Тбилиси. Там легко счастливый доселе Иван играючи занял второе по всему Союзу место — и участь каменных дел мастерства была решена.

11

После этого и еще других подобных ему пусть не перворазрядных, но отменных успехов Ване засветила впереди уже добытая прямо в седле поездка на зарубежные соревнования. Вскоре он на самом деле отправился в иные земли, но несколько иным макаром.

Как раз подкатило время призыва и, являясь в своем

роде образцовым юношей, вытянул Ваня за ремень из настоящей кожи жребий служить в Германии. Еще дома, в «учебке», он благоразумно не стал особенно распространяться про зодческие свои навыки, а вновь двинулся проторенной спортивной тропою — и в итоге столь дальнее перемещение изменило лишь название клуба на его майке, а гонки опять продолжились почти что в точности те же.

Так, бодро и не останавливаясь, проездил он положенные два года и еще более окрепший возвратился в природное свое отечество, где первым делом снова отправился в «Юные».

...Петляющий плавным изгибом, будто заповедная Мёбиусова лента, свихнувшая своей единозавитою плоскостью не одну прямолинейную голову, подземный ход извернулся теперь уже так, что Ваня-Володя потерял направление движенья, перестав понимать, в которую именно сторону нынче грядет. К тому же вместо понижения дорога пошла все явственней в гору — столь же вкрадчиво, но властно приглашая следовать за собою, как некогда и в большой жизни наверху пришлось ему подвигаться невдолге после армейского двоелетья.

Сколь ни свеж по возврате со службы был Ваня, но пионером его никто больше ни с лица, ни со спины не кликал; и так неприметно, однако вполне настырно подпер его срок уступать место еще более молодым, а самому подыскивать какое-то иное сочетание труда и бега. Выбор его лежал между помощником тренера и механиком по машинам. Будучи от рожденья чрезвычайно рукаст и к тому же наделен богатою толикой любви к самостоятельности, он предпочел — или снова она сама его предпочла — вторую дорожку.

Внутри стадионного чрева в его ведение отошли тогда обширнейшие, не везде даже толком освоенные цокольные помещения с целым царством всеразличных станков, рам, колес, деталей и резиновых трубок, королем которого был единолично он сам. Не давая рукам прохладительного покоя, Ваня вскоре оборудовал на славу это свое чрезвычайно необходимое для всякого, кто только желал ездить без неприятных приключений, хозяйство. Уважение, где подлинное, а где и поддельное с лебезятиной, было первым плодом этих добросовестных кипучих стараний; а постепенно возраставшее в душе деревце законной рабочей гордости обещало принести

еще новые, будучи щедро удобряемо посредством многих ухищрений и затей, коим он опять-таки служил самодержавным господином в своем скрытом под поверхностью государстве.

12

И все бы оно шло прямо-таки разлюбезно, кабы только не Вера. Познакомились они с нею как раз невдалеке от того же стадиона после одного из самых выигрышных его заездов, когда, будто хвост у кометы, за большою удачей протянулся вслед шлейф еще средних везений и мелких случаев. Причем до самого последнего года, до того поворотного в своем роде разговора, который удвоил его личное имя, скравши взамен фамильное прозвище, он почему-то уверенно считал, что пленил ее ничем иным, кроме мужской силы и вольного молодечества.

Вернувшись ненадолго из-под Берлина в отпуск, Ваня в форме навестил со вполне основательными намерениями дом Веры, единственной на тот день дорогой ему души в Москве, ибо отца-матери лишился еще в отрочестве, а близких родичей и вовсе не имел. Тогда же они по ее настоянию исполнили занятный, хотя, конечно, куда какой уже неходовой обряд обручения; а сразу по окончательном водворении Вани в гражданский мир сделались законными во всех смыслах мужем с женою.

Покуда Ваня месил армейские колеи, Вера успела осечься довольно-таки больно при попытке поступить в университет на историка и работала тогда — как и сегодня должна бы, коли б не скоропалительный отпуск по собственному желанию — в городском бюро путешествий в Петроверигском переулке, в левом верхнем углу той же Ивановской горы. Место это было чрезвычайно плотно обжито зимою и летом толкущимися там путевочниками, обсуждая сравнительные достоинства всяких мест для деятельного глазения и поучительного досуга, втихомолку ведущими мену и торг соответствующими бумагами.

Вера и сама не однажды поездила по стране, неизменно вытаскивая с собою супруга, но в конце концов отдала предпочтение пешеходным прогулкам по родному своему горо-

ду — был у них и такой вид услуг, нарочно для назидания и образца предоставляемых непосредственно сотрудникам путешествий.

13

Здесь бы, казалось, можно подумать о детях, да и вообще потоку их бытия самая пора втиснуться в спокойное равнинное русло, ан не тут-то было. Вскоре после того, как муж обосновался в своем вольном стадионном подполье, Вера вслед за несколькими разведочными стычками повела на него общий приступ. Оказывается, ее еще с первого дня знакомства тревожило его «мальчико́вое» и даже «пустопорожнее» занятие! Но она-де все ожидала, что он сам, откатавшись вволю, пристанет наконец к достойному «взрослого русского мужика» делу. И сколько Ваня ни убеждал ее, что, ставши теперь редким и необходимым сотрудником спорта, он и обрел свое истинное, до гробовой доски способное прокормить ремесло, — та только больше ярилась.

— Истинное? — побелев, переспросила она, прицепившись к наиболее звонкому слову. — А что же такое, по-твоему, истина?

«Вон оно куда заворачивает», — тоскливо подумал про себя Ваня, презиравший возвышенные беседы и всю вообще трескучую неотмирную болтовню, — и не ошибся в самых черных своих подозрениях.

— Подивись-ка, дружок, на себя! — горько ткнула она его в неказистое — ведь он и не готовился так вдруг предстать на осмотр — отражение в оконном стекле как раз той треклятой комнаты в Подколокольном, куда они перебрались незадолго по ее настоянию из новой Грачевки поближе к ее собственной работе, да вишь оно как обернулось, что еще теснее, прямо впритирку к разладу...

Он и воистину неприметно нажил в гонках согбенный колесовидный изгиб хребтины и вдобавок еще ноги выворотило, что называется, колесом. Обжигаемое то летним варом, то зимнею стужей темя не по возрасту залысело, а дыхание сделалось надсадным и хриплым.

— На вид тебе уж готовых полвека, — спокойно засвиде-

тельствовала правильность его наблюдений жена. — А по правде-то всего треть! Так куда ж эти недостающие годы девались, кто их побрал?!

14

— Иван Владимирович! — продолжала она добивать его, перейдя уже к обращению по паспорту, словно он вновь находился в строю. — Сын Владимира! А где же тот мир, которым вам на роду написано было владеть? Или, быть может, это он вас зацапал?

— Ну, ты ляпнешь, — совсем разобиделся Ваня, но и такое поругание не стало конечным, ибо на подходе ждало еще тягчайшее.

— Знаешь, был когда-то такой народный мудрец Сковорода; так вот, он завещал на своем кресте написать: «Мир ловил меня, но не поймал». А у тебя уже заживо можно на майке заместо «Труда» вывести «Мир ловил и поймал!». Да и вообще нету еще такого имени, которое способно тебе без стыда передать в отечество детям. Так что не Ваня ты даже просто, а Ваня-Володя, двусмысленное существо бесфамильного состояния...

Так и выскочило на свет в перепалке это его чудаковатое домашнее прозвище, прикипевшее с той поры накрепко, как тавро на боку у быка.

15

Раз открывши войну с его вольнолюбивой наклонностью, Вера уже не хотела отстать, и если не решительными приступами, то медленною осадой добилась-таки согласия попытаться переменить возмущавшую ее донельзя подвальную дыру на более подходящее место — для начала хотя бы оставленное в загоне строительное. Через знакомого инженера она договорилась, чтобы он сходил опять-таки неподалеку, в Серебрянический переулок под самою их горою, в областное бюро реставрации памятников, и посмотрел, нет ли там занятия поприличней.

Спустившись с холма долу, он легко разыскал двухэтажный домишко наискось от лазоревой Троицкой церкви, но

Верин приятель, пока суд да дело, как оказалось, уже поспел оттуда уволиться, и Ваня-Володя попал в руки его совместника — тощего очкового деятеля с несколько пасквильной фамилией Купоросов. Тому как раз нужен был доверенный ловкий человек, по возможности высокоразрядный каменщик, и хотя правом найма на работу обладало не бюро, а производственные мастерские, у него и там находились близкие люди, поэтому он запросто подхватил Ваню-Володю посмотреть «объект», чтобы после обо всем столковаться прямо на местности.

Отданный под Купоросово попечение подмосковный монастырек Екатеринина пустынь стоял на речке Пахре, по Павелецкому направлению, невдалеке от санатория архитекторов Суханово. Когда-то здешние угодья облюбовал царь Алексей Михайлович для своей соколиной охоты, и тут же, как гласило предание, ему явилась во сне мученица Екатерина, возвестившая о скором рождении дочери, что и сбылось. Основанная в память этого обитель, невеликая размахом, но очень верно поставленная на бугристом берегу, словно подкидывавшем ее над лесом, пережила за свои три века немалые превращения, сделавшись посреди нынешнего столетия наконец страшным застенком — знаменитой «Сухановкой». Теперь она была освобождена от постоя и отдана под культурные нужды соседней школе милиции. В прежних кельях, правда, еще вовсю гнездились местные жители, но внутри собора ни шатко ни валко копошились несколько маляров, а колокольня, словно напоказ, стояла уже полностью вычинена и свежеокрашена.

Против ожидания, помощи эта поездка не принесла никакой, ибо Ваня-Володя, при всей своей простоте сроду в дураках не хаживавший, вскоре сообразил, что Купоросову совсем не того разряда или, точней, разбора требовался умелый каменщик. Командуя важно лающим голоском, что был в точности как волос из скабрезной пословицы — тонок, да не чист, — он успевал одновременно помахивать сухими ручонками, указывая рубить из назначенного для соборной главы мячковского белого камня «левые» могильные памятники, менял стройматериалы на тугую наличность и в видах будущего поощрения поведал еще, что следующим «объектом» будет действующая церковь, где надо даже не работать, а

просто произвести опись, зато выторговать можно при том чуть ли не манну небесную.

Подобное пронырство вместо восторга породило в душе у Вани-Володи совершеннейшее омерзение, какое он откровенно и выложил вечером как на духу Вере, заключив, что такого рода занятие еще, пожалуй, его подземного ниже, потому как взамен восстановления служит разорением и сущим развратом, будучи насквозь проникнуто «подлянкой». В ответ жена, посоветовав по первому впечатлению всякого ближнего не хулить, однако круто задумалась.

16

Само по себе Ванино неспокойное признание гласило не только ведь о понятной боязни поворачивать кругом направление собственных судеб, но выдавало и не угасшее вконец желание если уж и отважиться на такое, то исключительно по чистой совести.

Приободренная последним, Вера предприняла еще деятельнейшие поиски и в итоге благодаря дальнему сородичу — архитектурному студенту Руказенкову, вышла на возможную работу поближе, да не в пример добротней: стоило только сесть на трамвай у Яузских ворот, возле самого основания горки, и ровнехонько через десять остановок добраться до Даниловой слободы по-над Москвой-рекою, как они попали вдвоем к споро возраставшим вновь из развалин белым крепостным стенам с башнями. Здесь уже издали заметно было, что трудились по чести, и действительно при ближайшем рассмотрении вышло, что многие работали даже добровольно и даром.

Ване-Володе тут опять-таки оказались рады, и сам он тоже сперва, глядя с вожделением вперед на приближающийся домашний и душевный мир, решительнейшим образом вознамерился перейти сюда — так любо-дорого представилось найти свою часть в согласном том деле.

Он ускорил тогда уволиться со стадиона, ибо предчувствовал — и не зря, — что уйти поздорову, без свары вряд ли удастся. Так оно и получилось: сначала отпускать не желали ни в какую, а потом вдруг, напротив, принялись подгонять, заказав еще наперед появляться в ближайшей округе даже

самоходом. Все эти неопрятные дрязги изрядно его расстроили и подточили поселившееся было внутри ретивое желание обновленья; да и что говорить — как-никак жаль было покидать навсегда место, отобравшее напрочь молодость.

А как только закончилось это вытягивание ног из засосавшей старой трясины, быстро выяснилось, что урок пошел впрок и в том смысле, что он стал чрезвычайно опасаться вообще где-либо ответственно выступать и крепко закис на дому.

Битых два месяца просидел Ваня-Володя настоящим безработным, ничем вроде не занятый, все обещая Вере пойти в Даниловский, но никак не мог понудить себя хотя бы сдвинуться с места. Словно что-то невидимое изнутри прямотаки отпихивало его прочь от дверей, и он продолжал деньденьской праздно валяться на мятых диванных подушках.

Жена, конечно, нудила не отступая, и вот когда после окончательного по своему упорству выяснения он уже отправился было, посвистывая, с утра вперед, то свернул ради пущей бодрости на полудороге в пивнушку, закоснел на час, потом застыдился собственного хмельного дыхания, а там и вовсе, впавши в окаянство, загулял напропалую.

Вот тут-то она в одиночестве собралась и ушла...

17

В первый миг от обиды и позабытого ощущения полнейшей воли прелесть свободы накрыла его с головой. Ваня-Володя пустился разом во все тяжкие и еще целые сутки напролет буянил как хотел. Но по мере насыщения разгулом вновь принялась подымать голову сокрушенная было душевная туга, с которой он тоже повздорил и, расплевавшись совсем, пригласил вместо нее для компании Рачиху. Сегодня же утром он оказался наконец уволен от докучного присутствия обеих и ощущал теперь себя некой вычерпанной дочиста от всякого содержимого пустотою, пригодной, с одной стороны, для вмещения чего угодно, но с другой — сама по себе представляющей весьма ничтожную ценность.

А тут еще Катасонов остатний источник существования истощил...

Велика лежала кругом Москва, жаль только, места для Вани-Володи в ней подходящего не сыскивалось: все смотрело на него осуждающе и вчуже. Неспроста, видимо, попались на дверях подземелья перевертыш-девятка да извивающийся, язвя жалом собственный хвост, латинский «эс» в сопровождении еще чего-то восклицательно угрожающего: куда ни кинь, все выходил клин, и любая, большая и малая его дорога сама вела то в гору, то под уклон, в едином, одной только ей ведомом направлении.

Потому-то, едва показался наверху впервые за все это подпочвенное петлянье лиющий жиденький свет водоструйный колодец, Ваня-Володя еще раз попытался увильнуть от упрямо навязываемой цели. Оставя свечу догорать в одиночестве посреди тянувшегося далее лаза, что становился с каждым шагом приплюснутее и ниже, заставляя пригибать голову ко груди, — он ринулся со всех лопаток по осклизлым железным ступеням на воздух.

18

Отталкиваясь ногами от влажно набухших под весенними потоками ворохов мусора и требухи, он упрямо карабкался кверху, поминутно цапая руками на помощь равновесию поросшие сочным отребьем стенки колодца. Выбравшись наполовину наружу, встал там сперва в люке по пояс, торча, будто червяк из потайной норки, и чуть было не раскаялся тут же в опрометчивой этой поспешности, ибо с одного взгляда сделалось ясно, что появился он нынче на свет не на чистом отнюдь пространстве улицы, а в некоем ведомственном дворе, заботливо окруженном чрезвычайно внушительным по своей основательности забором.

На Ванино счастье, как раз мимо следовала кучка галдящих голодным гулом рабочих в оранжевых метрошных жилетах поверх телогреек, снявши ради обеденного отдыха защитные пластиковые каски, — и он, замешавшись в их среду, благополучно вытек наружу в общеупотребительный переулок, провожаемый вдогон недреманным оком вахтера из будки с напаянным на ней стальным «М».

Дабы не дразнить далее лишним мельканием, Ваня-Володя ускорил распроститься с охваченной его бдящим взором околицей и круто свернул в первый же дом.

19

Ему опять-таки попалось не жилое здание, а нечто вроде Дворца культуры или клуба, охраняемого стоящими спереди попарно, будто послушный строй рекрутов, колоннами с рогатыми фитюльками наверху, что подпирали некогда лазурный, а теперь пошедший лушпайками с матовым исподом потолок. Поднявшись под их угрюмо-надежною сенью по дюжине сбитых ступеней, Ваня-Володя очутился прямо перед могутными дубовыми дверьми с отчищенной касаниями тысяч ладоней бронзовой ручкой.

Собственно говоря, все его намерения не простирались сейчас далее того, чтобы обождать здесь немного и потом с первою же оказией двинуться обратно на простор; однако попутчики попадались единственно в противоположную сторону и как-то так настойчиво сгрудились по-за его спиною, что он нехотя дернул двери и ступил внутрь.

Сразу вслед за первою парой створок оказалась еще вторая, а не поспел он миновать и ее, как под самый нос ему подкатился козлобородый старичишка в ермолке и беззубо залепетал что-то невнятное, среди чего Ваня-Володя разобрал лишь какую-то белиберду вроде «иден-инвалиден?», произнесенную в вопросительном удивлении.

Он рассудил было для начала, прежде чем открывать рот, снять ради приличия кепку долой с хохолка, но тут невидимый спутник сзади властно наказал ему оставить ее где есть и, не встревая более в пререкания с привратником, двигаться напрямки вперед.

20

От этого безликого уверенного напора Ваня-Володя порядком-таки струхнул, пусть и был отнюдь не из робкого десятка; но еще с младенчества наученный стесняться возможной неловкости под чужою крышей, предпочел вновь повиноваться, и даже с ревностью, надеясь добросовестным ис-

полнением наказа умилостивить или хотя бы обмануть бдительность.

Через внятно отдававшую пресным хлебным запахом прихожую с развешанными кругом стенгазетами, полными цветных и черно-белых фотокарточек, он проследовал под своды длинного торжественного зала, сплошь уставленного рядами деревянных скамей с гнутыми спинками, на сходе перспективы которого подымалась в окружении множества подсвечников цельномраморная трибуна, поверх коей тянулась еще по торцу помещения цветастая растительная мозаика.

Делая вид, что так запросто прогуливается тут сам собою и никого, прошу заметить, не замает, Ваня-Володя вместе с тем искал возможности, не оглядываясь грубо назад, чтобы не выдать растерянности, как-то увильнуть из-под все длящейся, как он чуял нутром, опеки заспинного водителя, и потому направил свои шаги прямо ко средоточию пространства — председательскому пеналу.

Подойдя ближе к тоскующему в немоте месту для речей, он не решился, однако, ступить столь же вольно на расшитый непонятными знаками черный ковер и принялся разглядывать в подробности мозаичное изображение на стене, представлявшее два облыселых дерева, вокруг которых обвился тугою лозой виноград, задушил материнские листья и опустил взамен книзу сочные гроздья своих сизых ягод.

Но затем его внимание привлекла первая, наконец толковая надпись, выведенная отчего-то белым по серому на доске, подвешенной у левой передней скамьи. Из-за противного света, падавшего встречь из окна на зеркальную поверхность фона, читать было крайне замысловато; но ему все-таки удалось в итоге нескольких неловких перемещений занять приемлемую позицию под углом, и он стал тогда изучать ее слово за словом —

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ДЖОН ТЕЙЛОР МОСКОВСКИЙ ЖИТЕЛЬ

1

«Тех, кто благословил наших предков Авраама, Исаака и Иакова, который создает путь в моря и в сильные воды дорогу, да пусть он благословит, охраняет, бережет, помогает, возвеличит и возвысит ввысь начальство! Да пусть даст всем начальникам жизни и бережет их от всяких бедствий и стеснений, печали и вреда. Он спасет их, и пусть он повергнет пред ними всех их врагов, и повсюду, куда они повернутся, пусть они успевают, и все мы скажем ОМЕЙН».

2

— Ну как, действительно скажем? — резко донеслось из-за левого плеча. Получив наконец весомый повод, Ваня-Володя теперь уже с полным правом обернулся вокруг оси, и перед ним предстал приземистый русочубый мужчина в серой фетровой шляпе и с такою картофельной бульбою носа, что будто сама просилась запечься в мундир.

— А что такое «омейн»? — осторожно избег сперва бывший гонщик ответственного высказыванья. На что получил широкогубую приветливую улыбку при следующем пояснении:

— То же, что по-грецки «аминь» — то есть «да будет!». Но как насчет остального?

— Что-то грамматика хромает... — опять учтиво уклонился от решительного утверждения Ваня-Володя. — И вообще...

— А не выйти ли нам на воздух? — в свой черед догадался, верно вникнув в двусмысленность его положения, собеседник, сообразивши неловкость рассуждать запросто про хозяина в его собственном доме. — Я вижу, вы здесь впервой, и толковать вам тут не с руки...

Ваня-Володя еще раз оглядел на прощание зал, озаряемый нынче, при зашедшем на улице за незримую тучу неверном апрельском солнце, одними лишь прыгучими огоньками

в электрических подсвечниках, напоминая пойманных бесенят, плясавших в прозрачных колбах на белых колышках, довольно топорно прикидывавшихся подлинными свечами, но даже прежде, нежели различил обыкшимися в полутьме очами ряд разбросанных там и сям звезд, составленных из двух сложенных валетом треугольников, догадался окончательно, куда заворотила его оглобли нелегкая.

3

— А вы что же, завсегдатай? — прямо отнесся он по главному пункту, вышед вовне, к добровольно-принудительному своему проводнику, откровенно славянская внешность которого еще сильней перла наружу при вольном свете.

— Я-то? Любопытствующий, так сказать, приглядывающийся пристально посторонний, состоявший, однако, вплоть до сего времени в числе ваших кровных единоплеменников. Но мы что-то позабыли про давешний главный аминь. Дадим, что ли?

— Да как же его вот так за здорово живешь дать-то? Начальство, я это признаю сполна, вещь в любом обществе необхожая; но уж что касается до того, чтобы... чтобы, простите, лизать... Тут я никак не потатчик. Что это за пожелания такие падать в ножки, успевай оно только поворачиваться, возвышаться ввысь, да еще все это без единой даже печали...

— Э-э, дорогой, да вы, похоже, страдаете умственной близорукостью. И к тому же сами, видать, никогда не командовали подобными себе существами. Иначе вам хотя бы то стало ведомо, что всякий руководитель, будь он прежде какой ни есть размужчина, по вселении в мало-мальски ответственное кресло тотчас приобретает изрядную толику женских качеств. Ибо начальствование как состояние, по-видимому, женственно изначально по самой природе, и носитель его жаждет быть любим беззаветно, не за заслуги или услуги, а за единую свою личность. Он попросту алчет поклонения и восторга с такою страстью, какую даже наиболее грубая лесть — а эта еще отнюдь не из числа последних в сей степени — не способна поколебать. Недаром же достоевский Свидригайлов называл именно лесть в качестве величайшего

и незыблемого средства к покорению женского сердца, средства, которое никогда не обманет и действует решительно на всех, без всякого исключения. — Так чего уж тут сетовать на некоторую подмазку, она как раз вполне естественна.

4

— Неужто воистину без исключения? — не смог сразу сдаться и писательскому разуму Ваня-Володя.

— А вы знаете байку про полковника и поручика? — зашел тогда сбоку лукавый спорщик, пока они подымались тихохонько улочкой, круто взбиравшейся кверху, мимо редакции газеты «Советский спорт». — Матерого гусарского волокиту спрашивает новоиспеченный офицерик: и как это, мол, вам так ловко удавалось одерживать в сердечных сшибках одну за другою виктории?

— А очень просто, — снимая остывший наусник, отвечает ему бывалый амурщик. — Подойдешь эдак поближе и сразу бряк: дескать, не позволите ли впендюрить?

— Как можно?! — поражен поручик. — Ведь за такое и по мордасам...

— Что ж, получали-с, не скрою, — задумчиво откликается ветеран, величаво поглаживая глубокий шрам поперек квадратного подбородка; а потом вдруг расцветает в улыбке. — Но гораздо чаще впендюривали!

Так и здесь. Разве одна уже из веку в век благополучно перебирающаяся живость подобного подхода не свидетельствует о верности избранного пути ко всякому почти временному земному хозяину? И до нашей эры, и во время нее, а то и после... Ну были, конечно, и срывы, гонения там разные. Но зато куда чаще — !

5

— Причем заметьте себе, заметь, — перешел он самовольством на «тык», — это ведь только с виду религия.

— То есть?

— А то-то и есть. Место, где мы с тобою сейчас побывали, вовсе не церковь на наш образец, ибо храм по закону может быть лишь один, но он уже второе тысячелетие лежит

в развалинах. Это просто дом для собраний, клуб, каковой он недаром по внешности и напоминает. Трибуна, стенгазеты, аудитории, книжный киоск... И то, что на этих собраниях обсуждается — тоже никакая не мистика. Ведь во всем Ветхом Завете ни разу даже не упомянуто про какое-либо загробное существование. Это припоминание и заучиванье уроков истории для того, чтобы не ошибаться впредь в настоящем и будущем. А в совокупности все вместе представляет собою обширный свод правил житейского поведения, чрезвычайно полезных для применения во всяком сообществе. И никакой заоблачной болтовни. Нам бы, чем морщиться сдуру, следовало лучше поучиться и кой-чего перенять...

— Это еще для чего? — привычно вскинулся Ваня-Володя.

— А того для, что ненароком и пригодится. Потому что, к примеру, ехать неуклонимо вперед там, где столбовая дорога ведет под откос, навряд ли есть правильный курс.

— Ну, это еще как сказать; только все равно нам-то такого пошиба уже не взять ни в какую, — спокойно возразил уверенный в свойствах своих сородичей Ваня-Володя, но тут ему в глаза прямо-таки втемяшилась доска с надписью о том, что сия улица переименована в честь жившего на ней «выдающегося русского художника Абрама Ефимовича Архипова», и он несколько поосекся, проследив вспять времени происхождение наиболее распространенных родных имен.

Вычислив его мысль, спутник довольно хмыкнул и пригласил с собою по соседству за угол для еще лучшего подтверждения своих выкладок:

— Пойдем-кось ненадолго, я тебе кое-чего позанятнее предложу!

6

Не успели они сделать сотни шагов вправо по Маросейке, как поводырь затянул Ваню-Володю в крохотную букинистическую лавку, помещавшуюся в обшарпанном низеньком здании, где торговали явно уже не первую сотню лет: об этом молча докладывали и обтертые боками покупателя узкие дверцы входа, и пологий сход по-за ними, ведший

книзу, в ушедшую основанием своим под землю тесную комнатку с двумя скучающими в праздноте продавщицами.

Ястребиным оком окинув книжную наличность, Ванин Сусанин попросил вежливенько «во-он тот томик седьмой-восьмой» и, затянувши поучаемого в укромный угол — насколько здесь вообще возможно было высторониться в ограниченном до предела пространстве, — листанул его умелой рукою, быстро обретя потребное место.

— Вот полюбуйся-ка, — сунул он было ему самому, но потом, не стерпев пережидать, покуда освоится с делом неспешная Ванина понятливость — страницы увесистого печатного кирпича, разогнутые в разворот, оказались покрыты целым потоком мелкого шрифта, струившимся в четыре столбца, — выхватил обратно книгу, про которую Ваня-Володя все же поспел сообразить, что она, как говорится, еще «досюльная», по старой избыточной орфографии; и, уже не борзясь, хорошо играющим голосом принялся вычитывать вслух:

7

«...Под вечер, в начале шестого часа, мы подъезжали к Ленкорани с северной стороны. Несколько вправо от дороги виднелось странное кладбище. Оно было окопано с четырех сторон рвом и низенькою насыпью, в которой с северного фаса проделаны высокие ворота на кирпичных столбах. Древесной растительности нет — лишь торчат стоймя намогильные плиты такой формы, какую не употребляют ни русские, ни мусульмане...

Въезжаем в подгородную слободу. Русские беленые избы тянутся «по порядку» в одну линию вдоль отлогого берега Каспийского моря, лицом к нему. Позади дворов — сады, позади садов — болота. На слободской улице гуляло множество русских парней в «спинжаках», сюртуках и ситцевых рубахах навыпуск, забавляясь гармониками. Вместе с парнями, луща подсолнухи и щелкая орешки, гуляли разряженные по-праздничному девушки и молодицы в платочках и шляпках, а в одном месте они завели даже хоровод, визгливо оглашая воздух русскими песнями. Босоногие мальчишки играли на бере-

гу в бабки, а другие, как истые дети природы, не стесняясь никем и ничем, купались в море.

«Что за праздник?» — думаю себе и начинаю вспоминать; но нет, как ни припоминаю, все-таки прихожу к безошибочному заключению, что нынче нет ни воскресенья, ни царского дня, ни иного какого... Да что же за день, однако, сегодня? Оказывается, суббота. По какому же поводу гуляет весь этот народ? Престол у них, что ли?

Ямщик только ухмыляется над моим недоразумением.

— Да вы знаете, что это такое, — говорит он мне наконец. — Ведь это все субботники. Они шабаш справляют.

8

Признаюсь, хотя и знал я, что в Ленкорани поселены субботствующие сектанты, но чтобы русский человек — как есть, совсем русский — справлял подобным образом шабаш, это казалось выше всякого моего ожидания; это было что-то нелепо невероятное! И тем не менее это так, это неопровержимая, очевидная действительность...

Субботники, впрочем, не могут быть названы сектантами в строгом смысле слова: это просто русские Моисеева закона. Они всецело держатся его учения, не признавая вовсе Нового Завета; имеют свои синагоги, устроенные совершенно по образцу; при утренней молитве ежедневно надевают себе на лоб «шел-рош», а на руку «шел-яд» и покрываются «талесом»; всегда носят «цицес», голову накрывают ермолкой или сидят дома в шапке, — словом, исполняют все то, что предписывается Второзаконием.

Хоронятся они на своих особых кладбищах без гробов, в сидячем положении, облаченные в смертную рубаху — «китель». Гроб-ящик у них один на всю общину, и в нем обыкновенно доставляют покойника только до кладбища».

9

— Врешь, поди! — не захотел внять ушам Ваня-Володя и потянул обратно к себе жирную книжищу, желая удостовериться в неправде услышанного. Но там все оказалось не только в точности так, а еще и распространено множайшими

подробностями, кои довольный произведенным воздействием чтец для пущей краткости пропустил.

Ваня-Володя перелистнул обратно до титула и прочел: «Собрание сочинений Всеволода Владимировича Крестовского, том VII, Санкт-Петербург, 1905»; а поверху еще помещался экслибрис с неясно-знакомою надписью: «Из книг Н. Подкопаева».

— Что, съел гриба? — не удержался от подначки злой указчик, сам ставя том назад, чтобы не обременять беспокойством сиделицу. — Однако гляди не перепутай сгоряча концы: это никакой не знак подлости нашей, а, напротив, семя грядущей зари! Сумей мы только правильно впендюрить этот свой дар легко усваивать все, что угодно, тогда нам уже действительно ничто на свете не сможет противостать!

— Опять Джон Тейлор песнь свою запел... — заунывно отозвалась от поперечной витрины томившаяся там в безделье, скрестив ножки под коротким халатом и помахивая тапком, стриженная мальчишкою продавщица, отнесшись к Ванину собеседнику запанибрата. Но сам Ваня-Володя на миг обмер в тиши: какой такой Тейлор и еще, к чорту, Джон, — не ровен час смутьян-иноземец?!

10

— Кинь грусть, — вычитал тот дословно все эти немудрящие опасения по его открытым глазам, как на светящейся подвижной рекламе последние новости. — Я покуда такой же москвитянин, что и ты, мой любезный. Тебя, кстати, как звать-то?

— Иваном с утра.

— Ну вот, так еще и тезка. И я тоже Ваня; фамилия моя Портнов — а Джон Тейлор получится, ежели это перепереть доточно на аглицкое наречие. Вот она для вящего образца на деле пресловущая наша широкость!

...Слушай, а ты не хочешь перекусить? — спустился он далее в басовый регистр. — Я угощаю; и заодно есть еще обоюдно полезный разговорчик.

— А где? — отважно полез на рожон Ваня-Володя, только сейчас вспомнивший про голод, как и тот, в свою очередь, про него.

— Да прямо насупротив, отведаем татарского блина у царских родственничков...

— ???

— Вон, видишь в окошко домец на той стороне, выползший чуть не на мостовую, подмяв пешеходную тропку? Строил дядя Петра Великого боярин Нарышкин, а позже жила в услужении у пленного шведского пастора Глюка — Мария Скавронская, что потом сделалась Екатериною Первой. Мы же с тобою, благословясь, запросто отхватим себе там по чебуреку!

11

...Расположась в сводчатом зальце с саженными стенами и кованым паникадилом под потолком, они составили на столике у окна-бойницы свои тарели с двойными порциями густо потеющих казенным маргарином полупирогов-полупельменей, и Тейлор — Портнов счел подходящим сперва угасить лишние подозрения в своем сотрапезнике.

— Ты только не вздумай трепетать попусту, — спокойно отвел он сразу всякие посторонние опасы, — будто я тебя сейчас попробую купить рублевой подачкою, а потом подведу под какую-ни-то уголовщину. На фиг нужно! Мне и совершенно ничего в руки не требуется, а желательно одно лишь внимание и, представь себе, поперечка. Я должен в остатний раз доказать — тебе, а через тебя и себе обратно — кое-что перед тем, как приму окончательно необжалуемое решенье. Знаешь ли, тезка, беда в том, что мне здесь тошно...

12

— Нет, так будет невнятно. Придется от печки опять выворачивать — ну уж ты помилосердствуй и потерпи на мне. Мы ж ведь не водяру тут глушим, а жуем, беспокоиться не про что: все чин чинарем.

Так вот, я хоть и преподаватель литературы по образованию, но вообще-то человек на все руки мастак, на чистое и нечистое не кошусь, сам много чего могу и на соседа не буду в обиде за то же за самое; причем оч-чень уважаю в особенности размах.

Перебравши тьму занятий, я остановился наконец на том, которое кормит меня поныне: на перехвате и перекидке. Первое ремесло самолетным петлям не сват и не брат: я попросту вылавливаю тех, кто нацелился сдать по дешевке книги к букинистам, доплачиваю им определенную толику и потом, естественно, стараюсь кое-чего на том наварить. Причем заметь, что здесь никто не остается внакладе, и все как будто должны быть довольны. Кроме бездельников, разумеется, которым тупой порядок милей даже жизни самой.

Это и зовется у нас, книжников, перехватом. Притом, состоя на непыльной сторожевской должности по графику «сутки сиди — трое гуди», здесь же рядом, на Малом Спасоглинищевском, я прибавляю в свободное время к нему еще и вторую ступень — перекидку. То есть когда книга все-таки уйдет мимо рук и будет сдана, но приемщик по скаредности или от общей серости — люди они обычно косные и, ежели не девицы, которым не так, так эдак можно кой-чего втолковать, то новое усваивают со чрезвычайным трудом, — так вот, ежели он оценит ее дешевле, нежели она идет сейчас на рынке, я ее на свои живые прибираю, скажем, на Чернышевке и тащу на Котел, где сдаю как лучше и опять-таки чего-то при этом себе навариваю. Ну а к тому же, помимо магазинов, есть еще и просто знакомый круг жаждущих: кто русской историей занят, кто хазарами, кто Ремизова, писателя, собирает круто, чтобы неотменно все до единого его издания, как серию марок, иметь, а кому «литпамятники» нужны исключительно целенькие, — и так далее. Кто же из них, людей занятых и в чинах, откажется от доставки потребного на дом за умеренный в стоимости довесок?..

— И прилично выходит?

— В смысле бабок? Ежели пошевеливать извилиною, то с голоду не замаешься. И лишняя денежка не переведется. А в отношении обиходных понятий о чести — иногда, конечно, приходится подвигаться. Но не за ту, однако, черту, где закон за тобою с палкой гоняется. Притом Москва у нас как бы благородно поделена: скажем, этот кусок с пригорком — моя кровная вотчина: два «бука» на Маросейке-Покровке, один в котельнической высотке, ну и еще за Чистым прудом около Сретенских ворот под «веселой вдовой» на паях. А сходняк

свой мы держим в «домушке» — «Книжном мире» на Новом Арбате.

Ты только не сомневайся опять даром: я тебе тюльку не гоню, это все свежая истина без костей — потому как мне пора наступила резко менять среду обитания, и коли теперь не разложить все резоны честно, то что смыслу тогда толковать-то?..

13

— Видишь, я вот уже, почитай двадцать лет брожу тут по кругу, и до того мне это постылое коловращение осточертело, просто больше моченьки нету. Ведь где-нибудь за бугром я бы уж точно давным-подавно здоровущими делами заправлял, а здесь как застрял между червонцами и четвертаками, и нет дальше никоторого ходу. Да еще каждый битый день толкись, мерзни, клянчи — мука-мученская! Мне наконец стало обидно за человеческое достоинство, правда. Причем я никого поименно не боюсь, в случае чего сумею отмазаться, но мне опостылело это... побаиваться!

Ведь я же рожден совершенно вольным, и я все, почитай что, умею. Скажи, а тебе никогда не взбредало на ум укатить на ту половину?

— Да я бывал. В Германии служил, в Группе войск.

— Ну это разве в счет. А вот так, самоходом?

— Один? Отчего же. Я бы поехал когда-нибудь, только не на недельку туристом, чего там попусту по сторонам глазопялить, а годика эдак на три, поработать. Я тоже не промах и поглядеть на второй мир изнутри не прочь. Но потом только чтобы обратно.

— А зачем? А совсем??

— Да ведь вон в чем загвоздка: я дома-то еще далеко не во всем разобрался как следует — и как же со всем этим беспорядком в хату чужую лезть?.. Ан и раньше тоже так не велось. Вон у бабы моей дед-старик, что недавно помер, тот был из руси́н — это русские на Карпатах, Червонная Русь, как завалились туда между гор еще со времен князя Владимира, так и сидят, и язык у них чуть не старославянский. Вплоть до второй войны что ни зима ходили артелью по всей Европе, нанимались куда хотят; и он еще до смерти на полу-

дюжине наречий включительно до итальянского обиходные разговоры мог весть. Но к весне непременно чтоб по домам, это у них было крепко!

14

— А я так и с концами не прочь. Я ж ведь везде запросто свой парень в доску. И потом — чего я тут потерял особенного, что посеял? Зато воздуху не хватает, хоть тресни. Хочу колесить не по Солянке-Якиманке, боюсь помереть на них без вести; мне надо кругом света по малой мере, но нету свободы. А почему, спрашивается? Разве так справедливо?!

Вот я и стал похаживать туда, где мы повстречались, чтоб подсмотреть, как бы так приспособиться, чтобы везде, не только во времени, но и в пространстве через любые препоны протекать без особых потерь.

И вот еще такой прими к сведению опыт: один мой старший приятель, который ко книгам в институте как раз приохотил, Пашка-поляк: он теперь гоголем по Парижу гуляет, в первый же год дом двухэтажный купил в пригороде, и аж семеро машин разом, от жадности долго несытой. А живет, кстати, тем, что подхватывает заказы у крупных библиотек или собирателей, да прямиком на «джете» со Старого Света в Новый и обратно, себе в удовольствие, клиентам на пользу и собственности не в покор. Правда, говорят, будто нонче поворовывать стал у знакомых, с кем-то не тем спутался, да и подпивать принялся. И круглый дурак! Гнусный, поганый крепостной пережиток! Ты лучше с каждого рубля спокойно снимай свой гривенник, а не тянись весь его дуриком слямзить, если плохо вдруг лег. Окоротись в малом — распухнешь в большом...

А с моим-то теперешним знанием книжного авангарда, футурни, символухи, всего, что там сейчас на ура подороже икон уходит. Э-эх!!!

15

— Уж я бы им шороху понавел! Я бы в тишине не загинул и в напасть дедовскую не вдался. Мне простору подай, я всемирный человек — кровь закипает, а ты тут стынь много

что за полтинник в день. «Дай десятку до второго, я уеду...» — гнусливо пропел он с живейшим отвращением и даже сплюнул. — Тьфу, пакость!

Ну, пойдем, еще чего рядом поучительного открою...

Расходившийся не путем урожденный Портнов настойчиво потянул за собою Ваню-Володю, который от голода пожрал чебуреки так жадно, что у него принялась внутри ритмично урчать обиженная кишка, перебирая снизу доверху контроктаву. Направо за входными дверьми тот предъявил ему на просмотр фасад дома, где они только что имели свое пребывание: видишь, каков впереди, а? — Ваня покорно глядел: строение воистину внушительное, крепкостенное, трехэтажное, времен этого, классицизма...

А теперь давай-ка на двор, — торопил неугомон-чичероне и повлек сквозь темный ход под самым брюхом здания к обратной его стороне. — Как тебе это понравится?

— Вот-те на, — расплылся в искреннем удивлении Ваня-Володя, разглядев назади восстановленный ради пробы реставраторами кусок стены лет на сто с лишком постарей — с резными наличниками из белого камня, чугунной решеткой и прочею записной красотой.

— А ведь и нас так же можно, а?! — двусмысленно проповедовал свое портной Тейлор, но тут неожиданно тоже издал густой утробный рык. — Но вишь, нелегкая его дери, здесь если и сделаешься Нарышкиным, дак только лишь в первобытном смысле. Знаешь, что такое раньше «нарышкой» звалось? Дух худой изо рта, вот чего.

16

— Насчет всемирного не уверен, — счел уместным всунуть теперь и свое короткое соображение Ваня-Володя, — а вот книжный человек у меня один на примете есть. Попросту состоит ближайшим застенным соседом; может, и вы знавали — Катасонов фамилия?..

— Кат? Так ты вместе с Катом живешь?! Ну и ну, тесна ж Москва-матушка, взаправду пора тикать. Кат, он... он... ну просто король, или, говоря языком Архиповой улицы, — это мейлах!

Тут бери на целый порядок выше, моему не чета, — толь-

ко, правда, и я туда ни ногою. Мне вот, к примеру, скажи только «нельзя» — так я обязательно сделаю наоборот, и своего добиться сумею, хоть душу на то положа. А он само это запрещение так ухитрится выворотить кверху мехом, что ему повсюду льзя будет, и притом безо всяких наружных подвигов. Это уже точно не голова, а копф!

17

Вот потому-то я здесь более не жилец: и тесно, и тошно. Да ты уж, наверное, догадался, к чему идет речь — топлю товар, деру когти. Хотя чудно́, ежели со стороны поглядеть, право слово: дед мой на этом самом месте раком ползал, портняжил еще при старой власти; отец от востока до заката с запада и на восход вкалывал, а я только что выбился на сносную жизнь — и сразу мало кажется, потому как воли всегда недостаточно и хочется еще больше.

А как ты думаешь, отпустят? Ведь я ж не Христос часом...

— При чем тут он-то?

— Да при том, что когда его собирались распять, сидел там, как известно, за компанию разбойник Варавва; и вот ради местного праздника одного из них полагалось выпустить на волю — по народному выбору. А люди, понятно, выпросили у Пилата отпустить им разбойника... Отчего же теперь не выпустить и меня? Ну не каторжник я, а книжник, так не фарисей же. Скорее уж саддукей: те фарисеи, с которыми Иисус все спорил о частностях, чаяли, как и он, воскресения мертвых; а саддукеи, противники их всех, зато начальники народа, его отрицали. Я тоже ни в чох не верю, но и распинаться за что бы то ни было, однако, увольте. Зачем же тогда насильно держать; лучше открыть дорожку на все четыре...

Так и эдак перекладывая свои доказательства, он составлял из них продольные и поперечные ряды, но не забывал одновременно тащить за собою Ваню-Володю, несколько наскучившего этой беседой в одни ворота, вдоль по Покровке.

«Вправду похоже, — соглашательски размышлял про себя безработный каменщик, — с подобным складом ума человек дома не уживется; и куда как полезней ему отъехать, коль подоспел уже им Юрьев день... А может, и иное что-то стоит

ему предложить, да только разве в моем это ведении или силах?»

Между тем Джон Тейлор пропер его чуть ли не до конца улицы и вдруг круто своротил в третий справа Колпачный переулок, столь же споро направившись по нему под уклон.

18

— Я ведь снаружи весь как граненый стакан, — выдвинул уже тише новое соображение торопливый Ванин поводырь, — на всякий потребный случай имею соответствующую грань и туда кручу, куда хочу. Вот подивись: сия бумага именуется в просторечии «вызов». И се, в разделе «фамилия» имеем счастие зреть уже не Тейлора или тем паче Портнова... — Хайта! Так что мы еще сошьем кое-чего такого, шолом вам всем с кисточкою!

«Тюр-люр-лю, тюр-люр-лю, тюр-люр-лю, — засвистал он не то соловьем, не то Соловьем-разбойником и притопнул по асфальту в преужасном восторге обеими ногами, — растаковскую тетю люблю!»

Эта заключающая часть разговора их происходила уже напротив безликого двухэтажного строения на изломе переулка. Здесь трименитый спутник Вани-Володи наконец остановился на другой стороне проезда, предупредив: «Ты дальше за мной, пожалуйста, не ходи. Погоди немного, я постараюсь обернуться невдолге; а ежели дело выгорит, то мы отвальную закатим на всю Ивановскую!..»

Он пересек улицу и твердой поступью взошел в подъезд, обок которого помещалась красная вывеска, где за мизерностью шрифта Ваня-Володя сумел прочесть лишь заглавные буквы сокращения: УВИР. Он было подумал придвинуться ближе, чтобы разобрать толком достальное, но тут из подворотни в середине здания выкатилась наружу давешняя рота знатоков и напрочь перекрыла проход.

19

— Дом Мазепы поставлен, как в ту пору обычно водилось, углом — или, что называется, «глаголем». И действительно, поведать он способен о многом, — все длил свою летопись

неисчерпаемый ведун, указывая на корпус, стоящий встык с тем, во чреве которого варился теперь Ваня Хайт. — Только имя за ним закрепилось не самое лучшее, и не по достоинству вовсе: гетман Иван Мазепа живал здесь коротко всего дважды, да и то в гостях. А принадлежали палаты тогда, в петровские времена, Абраму Лопухину, брату первой жены Петра и, следовательно, дяде царевича Алексея. В 1697 году он был послан в числе полусотни комнатных спальников и стольников изучать корабельное дело в Италию; к порядкам чужих земель пристрастия не возымел и, воротясь в отечество, оказался на челе старомосковской знати, поддерживавшей родного племянника. Вскоре после его падения Абраму отрубили голову и, воткнув ее на железный шест, поставили на каменном столбе у Съестного рынка «во граде Святаго Петра, за кронверком»; тело же, положенное на колеса, находилось на месте казни более трех месяцев, пока не было получено дозволение упокоить его в родовой усыпальнице — Спасо-Андрониковом монастыре.

20

— А теперь что тут внутри такое? — осведомились настырные странницы и приготовились записать еще одно показание в многоступенчатой череде прочих.

— Цех фабрики «Русский сувенир»... — потянул вожак не слишком уверенно и на самом деле тотчас же натолкнулся на новое недоуменье.

— Но это тогда что за таблица? Здесь как будто совсем иное сказание...

— Она относится лишь к более поздней северной пристройке. В ней нынче при подходящей растяжимости души можно проделать тот же Мазепин подвиг, так сказать, в установленном порядке... Но мы лучше вернемся к Лопухиным, ибо они гораздо более того заслужили. Только ради пущей наглядности спустимся пониже, чтобы стоять лицом к лицу перед теми камнями, о которых потечет далее повесть...

Увлекая вслед за собою, будто оползень или весенний ручей, не слишком сегодня самостоятельного Ваню-Володю, покорно шествовавшего вновь тем руслом, куда укладывал его путь заботливый случай, они деловито прошелестели вниз до

Ивановского крестца, где сходились воедино пятеро соседственных переулков, и, немного не доходя до монастыря, завернули на маленький дворик. Поднявшись из него на другой, внутренний двор по ступенькам с пропущенным побоку желобом, очутились на счастливой точке за храмом Владимира, откуда во все страны света открывался далекий, почти не застившийся высотными строениями обзор, и расположились полукольцом на низкорослых детских скамейках.

Главный мужчина извлек опять наружу из запазушного хранилища заветную белую карточку и, мерно покачиваясь на широких каблуках здоровенных мокасин, пустился читать —

ГЛАВА ВТОРАЯ

ИВАНОВЫ ЖЕНЫ

1

«Пожалуй, мой батько, где твой разум, тут и мой, где твое слово, тут и мое, где твое слово, тут и моя голова: вся всегда в воле твоей. Ей, не ложно говорю...

Ныне горесть моя! Забыл скоро меня! Не умилостивили тебя здесь мы ничем. Мало, знать, лице твое, и руки твоя, и все члены твои, и составы рук и ног твоих, мало слезами моими мы умыли, не умели угодное сотворить. Знать, прогневали тебя нечем, что по ся мест ты не хватишься!

Свет мой, батюшка мой, душа моя, радость моя! Знать, ужо злопроклятый час приходит, что мне с тобою роставаться! Лучше бы мне душа моя с телом разсталась! Ох свет мой! Как мне на свете без тебя, как живой быть? Уже мое проклятое сердце да много послышало нечто тошно, давно мне все искололо. Аж мне с тобою, знать, будет раставаться. Ей, ей, сокрушаюся! И так Бог весть, каков ты мне мил. Уже мне нет тебя миляе, ей-Богу! Ох! любезный друг мой! За что ты мне таков мил? Уже мне не жизнь моя на свете! За что ты на меня, душа моя, был гневен? Что ты ко мне не писал? Носи, сердце мое, мой перстень, меня любя; а я такой же себе сделала — то-то у тебя я его брала. Знать, ты, друг мой, сам этого пожелал, что тебе здесь не быть. И давно уже мне твоя любовь, знать, изменилася. Вот уже не на кого будет и сердитовать. Для чего, батько мой, не ходишь ко мне? Что тебе сделалось? Кто тебе на меня что намутил, что ты не ходишь? Не дал мне на свою персону насмотриться! То ли твоя любовь ко мне, что ты ко мне не ходишь? Уже, свет мой, не к кому тебе будет и придти; или тебе даром, друг мой, я? Знать, что даром — а я же тебя до смерти не покину; никогда ты из разума не выдешь. Ты, мой друг, меня не забудешь ли, а я тебя ни на час не забуду. Как мне будет с тобою разстаться? Ох, коли ты едешь, коли меня, батюшка мой, ты покинешь! Ох друг мой! ох свет мой! любонка моя! пожалуй, сударь мой, изволь ты ко мне приехать завтре к обедне переговорить, кое-какое дело нужное. Ох свет мой!

любезный мой друг, лапушка моя! Отпиши ко мне, порадуй, свет мой, хоть мало, что как тебе быть? Скажи, пожалуй; отпиши, не дай мне с печали умереть. Приедь ко мне: я тебе нечто скажу.

Послала к тебе галздук я, носи, душа моя! Ничего ты моего не носишь, что тебе ни дам я. Знать, я тебе не мила! То-то ты моего не носишь. То ли твоя любовь ко мне? Ох свет мой, ох душа моя, ох сердце мое надселося по тебе! Как мне будет любовь твою забыть, будет как, не знаю я; как жить мне, без тебя быть, душа моя! Ей тошно, свет мой. Не знаю, батюшка, свет мой, как нам тебя будет забывать. Ох свет мой, что ты не прикажешь ни про что, что тебе годно покушать? Скажи, сердце, будет досуг, приедь хоть к вечерне.

...Послала я, Степашенька, два мыла, что был бы бел ты. Братец! не потачь побелися, так белее будешь. Прислать ли белил к тебе? Лучше белил будешь. Белися, братец, больше, что ты был бы бел.

Ах друг мой! что ты меня покинул? за что ты на меня прогневался? что чем я тебе досадила? Ох друг мой! Ох душа моя! Лучше бы у меня душа моя с телом разлучилася, нежели мне было с тобою разлучиться! Кто мя бедную обиде? Кто мое сокровище украде? Кто свет от очию моею отыме? Кому ты меня покидаешь? Кому ты меня вручаешь? Как надо мною не умилился? Что, друг мой, назад не поворотишься? Кто меня бедную с тобою разлучил? Что я твоей жене сделала? Какое зло учинила? Чем я вас прогневала? Что ты, душа моя, мне не сказал, чем я жене твоей досадила, а ты жены своея слушал? Для чего, друг мой, меня оставил: ведь бы я тебя у жены твоея не отняла; а ты ея слушаешь. Ох свет мой! Как мне быть без тебя? Как на свете жить? Как ты меня сокрушил? Изтиха что я тебе сделала, чем сделала, чем тебе досадила? Что ты мне винность мою не сказал? Хоть бы ты меня за мою вину прибил, хоть бы ты меня, не вем как, наказал за мою вину. Что тебе это чечение, что тебе надобно стало жить со мною! Ради Господа Бога, не покинь ты меня: сюды добивайся. Ей, сокрушаюся по тебе!

Ох друг мой! Ох свет мой! Чем я тебя прогневала, чем я тебе досадила? Ох лучше бы умерла, лучше бы ты меня своими руками схоронил! Ох, то ли было у нас говорено? К доброй воли меня покинул. Что я тебе злобствовала, как

ты меня покинул? Ей, сокрушу сама себя. Не покинь же ты меня, ради Христа, ради Бога! Прости, прости, душа моя, прости, друг мой! Целую я тебя во все члены твоя. Добейся ты, сердце мое, опять сюды; не дай мне умереть. Ей, сокрушуся!

Пришли, сердце мое, Стешенька, друг мой, пришли мне свой камзол, кой ты любишь; для чего ты меня покинул? Пришли мне свой кусочик, закуся. Как ты меня покинул? Ради Господа Бога, не покинь же ты меня. Ей сокрушу сама себя! Чем я тебя так прогневала, что меня оставил такую сирую, бедную, несчастную?..»

2

— Вот как умела писать про любовь женщина старой Руси, да не простая, царица — последняя царица из русского дворянского дома. Однако получателем посланий ее был отнюдь не помазанный супруг...

Зачалась эта история за семь веков прежде своей развязки, когда удалой Мстислав Тмутараканский с Богородицыной помощью, как гласит «Повесть временных лет», зарезал на поединке посреди сошедшихся ратей Редедю, князя касогов — прародичей нынешних черкесов; после чего по уговору без бою взял «на себя» все его именье, жену и детей. Двух сыновей побежденного язычника он крестил Романом да Юрием; причем Роман женился на Мстиславовой дочери, а от этого брака пошли в числе прочих родов — Ушаковых, Колтовских, Лупандиных — также и Лопухины: с Василия Варфоломеевича Глебова по прозванью «лопуха».

В семнадцатом столетии служилый род Лопухиных утверждается на наших Кулишках. На Хохловке тогда располагался двор сына боровского воеводы Авраама Никитича Лопухина, многолетнего головы московских стрельцов. На свадьбе Алексея Михайловича с Натальей Кирилловною Нарышкиной он стоял за поставцом царицы и в дальнейшем пользовался расположением ее родичей. Третьим из думных дворян подписал при Феодоре Алексеевиче приговор об уничтожении местничества, а умер в монастыре, приняв постриг с именем Александра.

У него было шестеро сыновей, все они тоже служили в

стрельцах; притом старшие Петр Большой да Петр Малый погибли под пытками от третьего Петра, позже прозванного Великим; а средний — Илларион — был отцом первой жены их убийцы, Евдокии. Двор стрелецкого головы Лариона Лопухина числился здесь в конце века «от Трех Святителей изпод горья». Когда Ларион сделался царским тестем, его стали величать уже вместо прежнего Федором — что в подобных случаях велось о ту пору и в миру, как бы заочно приравнивая труд служения близ трона монашескому: тесть Петрова соправителя Ивана Пятого Александр Салтыков после своего приобщения к венчанному корени тоже произведен был в Федоры.

Двадцатилетняя дочь Иллариона-Федора Евдокия вышла за шестнадцатилетнего царя Петра в 1689 году и вскоре родила ему сына, нареченного в честь деда Алексеем...

Но вернемся еще раз к Редеде, ставшему предком не одних лишь черкесов. Правнук Романа Редедича Михайла Юрьевич Сорокоум имел сына Глеба, от которого и вышел славный российский род Глебовых, часть коего ответвилась впоследствии под именем Лопухиных. Глебовы тоже состоят в старожилах Ивановской горки: их многочисленные захоронения в обители Иоанна Предтечи занимали почетное место рядом с князьями Засекиными, Волхонскими, Шаховскими и боярами Волынскими, Ознобишиными, Хомутовыми, Ордын-Нащекиными, Лихаревыми, о чем гласила обычная концовка надгробной надписи: «погребен в сем месте близ гробов родителей своих».

Владения Глебовых под Иваном Постным числятся с 1630-х годов, когда здесь уже жили братья Даниил и Иван Моисеевичи. В середине того же столетия среди владельцев дворов на Хохловке встречаем стольника Михайла Ивановича Глебова и дворянина Николая Даниловича. Одно время Глебовым принадлежали даже так называемые «палаты Шуйских» в Подкопаевском переулке, где мы с вами не так давно останавливались. Родственно-соседственные фамилии Лопухиных и Глебовых находились еще и в дружбе по службе. Федор Богданович Глебов с двоюродными братьями Михаилом да Федором Никитичами числились вместе с Абрамом Лопухиным — что владел как раз «домом Мазепы» — в стольниках царицы Прасковьи Федоровны, рожденной Салты-

ковой, супруги брата Петра Ивана и матери будущей императрицы Анны; затем так же совокупно они перешли ко двору Евдокии Федоровны.

Потому-то, как гласит предание, именно здесь, около стен Ивановой обители, познакомился в детстве с будущей царицею Евдокией брат Федора Богдановича — Степан Богданович Глебов.

...Петр жил с молодою супругой согласно недолго, до смерти своей матери Натальи Кирилловны Нарышкиной; за это неполное десятилетье она родила ему и второго сына, Александра, скончавшегося во младенчестве. Но уже в 1697 году отец Евдокии Федор, прежний Илларион, вкупе с братьями попадает в опалу и отправляется в далекую ссылку; тогда же Петр шлет из Лондона письмо, где «Бога для» просит принудить жену уйти в монашество. Хотя она и отказывается наотрез, на следующий год ее насильно свозят в Суздаль, а еще спустя лето постригают в Покровской женской обители под именем Елены.

Лет десять после того в Суздаль для набора солдат попадает и майор Степан Богданович Глебов. Через духовника бывшей царицы Федора Пустынного он проникает к Евдокии-Елене, прежде прихода послав в подарок два меха песцовых, пару соболей, из которых она сделала себе шапку, и сорок собольих хвостов. Они обмениваются перстнями с лазуревым яхонтом — и вскоре завязывается «крайняя любовь».

Обоим было по тридцати восьми лет от роду, оба в семье преизрядно несчастливы: жена Глебова Татьяна Васильевна, как он признавался духовнику, была «больна, болит у нее пуп и весь прогнил, все из него течет, жить-де нельзя», — на что, впрочем, ему было отвечено строго по канонам: «Вы уже детей имеете, как тебе с нею не жить».

Майор с Евдокиею, переодевшейся вновь в светский наряд, как гласят с его собственных слов бумаги допроса, «сшелся в любовь и жил блудно года с два». Но затем он был отослан по службе из города прочь, что и вызвало ее отчаянные письма, кои получатель неосторожно сохранил. Потом, спустя лет около восьми, Глебов еще раз приезжал к ней и видел ее.

О близости той знал и пособничал ей ростовский владыка Досифей, который к тому же пророчествовал сведенной долу с трона царице о грядущем возвращении, ответив на вопрос

брата ее Абрама: «Будет ли прежняя царица по-прежнему царицею; а буде Государь ее не возьмет, то когда он умрет, будет ли царица?» — единым утвердительным: «Будет!»

А через два года по втором их свидании следствие по делу царевича Алексея протянуло одну из жил к матери в Покровский монастырь, где у пятидесятилетней почти изгнанницы внезапным обыском захватывают бумаги, собирают свидетельские показания и отправляют вместе с оговоренными в соучастии в страшное тогда подмосковное село Преображенское. Еще с дороги Евдокия сполна признается...

Берут с поличными письмами и его. В отличие от царицы, майора подвергают пыткам — кнутом, раскаленным железом, горящими угольями, привязывают на трое суток к столбу на доске с деревянными гвоздями, обвиняя не только в связи с Евдокиею, но и в умыслах на жизнь Государя. Однако он и «с розыску ни в чем не винился, кроме блудного дела». Особенно любопытствовали следователи во главе с императором о найденной у него «азбуке цифирной», которую сочли злокозненной тайнописью. Как выяснилось полтора века спустя, то были «богословские умствования», о которых Глебов честно признал, что взяты они «из книг».

Стойкость и неоговор не спасли его, но были, напротив, выставлены в конечном приговоре виною. В итоге 15 марта 1718 года в третьем часу пополудни он был всенародно водружен на кол. К страдальцу и тут приставили архимандрита Новоспасского монастыря с иеромонахом и священником, ожидая, что, быть может, из самой сени смертной — сидючи у смерти в сенях — он все-таки исповедуется в измене. Долго мучившийся на постепенно прораставшей в тело железной ости Глебов ни в чем не покаялся, попросив лишь ночью причастия Святых Тайн, и испустил дух только на другой день в восьмом часу утра. Епископ Досифей, расстриженный покорными Петру архиереями в Демида, за свои предсказания был жесточайшим образом колесован, то есть, попросту говоря, разорван в куски.

Побывавшие на площади перед Кремлем иноземцы рассказывали в своих донесениях, что на следующий день видали на ней помост из белого камня, кругом которого на железных прутах торчали оторванные головы; на вершине помоста стоял четвероугольный камень, посреди коего сидел

пронзенный насквозь труп Глебова, обложенный телами прочих казненных.

Еще через три дни монахиню Елену повезли в далекий северный Ново-Ладожский монастырь. Вступившая по кончине Петра на престол счастливая соперница ее Екатерина перевела свою предместницу в Шлиссельбургскую крепость; но уже в 1727 году родной внук, новый император Петр Второй выпустил на волю — как раз в день казни, впрочем достаточно мягкой по тому времени: кнута и ссылки, — остававшихся в живых участников неправого розыска над родным отцом. Петр и сестра его Наталья впервые увидались с многострадальной своею бабкою по приезде на коронацию в первопрестольную, в подмосковном селе Всехсвятском во дворце у грузинской царевны — от которого доныне осталась придворная церковь Всех Святых; после того ей было возвращено прежнее имя и отобранное царское звание: пророчество Досифея исполнилось.

Но дважды нареченная Евдокия предпочла уже не покидать монастырской ограды и тем более решительно отперлась в 1730 году от предложенного было всероссийского трона. Пережившн мужа, братьев, детей, внуков и любимого человека, она скончалась год спустя в Новодевичьем, сказав перед смертью: «Бог дал мне познать истинную цену величия и счастья земного».

Вот как развязался один мудрено заплетенный судьбою узел, свивавшийся некогда простой детской петелькой в ближайшей окрестности, в тени Ивановых глав. Теперь попробуем вступить мысленно между этих вот парных башен вовнутрь.

3

Совершить такое душевное усилие тем проще, что мы стоим нынче прямо над тем полулегендарным подземным ходом, что вел из бывшего Охотничьего дворца Грозного Ивана в Хоромном тупике через палаты дьяка Украинцева на Хохловке сюда под Владимирский храм и наконец в Иоанновский монастырь, — но на самой поверхности земной здесь не раз творились дела куда какие подспудные. Однако недаром считается, что там, где обычная жизнь становится невозможной, более всего созрели возможности для подвига и даже чуда.

Обитель Иоанна Постного постепенно сделалась прибежищем для, казалось бы — со стороны казалось, мерещилось — самых счастливых женщин на Руси. На деле же, ставши в ближайшую родственную связь с ее Государями, они неволей — как некогда Симона Киринеянина, шедшего случайно мимо, «задели» нести голгофский крест — должны были влачить тяжкое бремя верховной власти, когда царский венец нередко оборачивался терновым, и не одна из них окончила дни в черных одеждах затворницы. Потому-то вязь на гробах в Вознесенском кремлевском монастыре — обычном месте последнего упокоения русских цариц и царевен, основанном супругой Димитрия Донского Евдокией, — кроме владетельного достоинства, зачастую гласит и о достоинстве страдания: ведь и на Распятии поверху изображается лист с надписанием сразу на трех языках «царь...».

Первою из них суждено было очутиться здесь жене Ивана-царевича — но отнюдь не сказочного, а второй супруге сына Ивана Грозного Ивана Ивановича Пелагее Михайловне Соловых. Постриженная по указу звероватого свекра во Параскеву, она привезена была сюда из Гориц на Белоозере и доставлена потом в суздальскую Покровскую обитель, где и скончалась через 38 лет по смерти убиенного собственным отцом мужа — в один год с инокиней Александрой, бывшей первой его женою Евдокией Богдановной Сабуровой, с которою рядком и положили ее в 1620-е лето в соборе Вознесенского монастыря. Когда полвека тому назад все его здания поспешно сносились, останки их вместе с другими перекочевали в белокаменных саркофагах поближе к родным — в подклет Архангельского собора, поверх которого и доселе лежат кости царей и великих князей.

4

Десятью годами ранее под сень Ивана Предтечи попала юная инокиня Елена, в девичестве Екатерина Буйносова-Ростовская, под именем Марии Петровны известная как супруга последнего русского царя Рюрикова дома Василия Ивановича Шуйского.

Обрученная еще в недолгое правление «названного Димитрия» с именитым боярином, которому шел уж шестой десяток,

молодая была обвенчана с ним лишь на другой год по вступлении долгого жениха на престол. Радости материнской досталось ей скупо — две малолетних дочери не дожили и до первого греха. Славы вышнего звания на троне тоже хватило всего на два года, хотя современник-пскович и упрекает Василия, что-де тот «поят жену, и начат оттоле ясти и пити и веселитися, а о брани небреже».

Но скорей всего причина его падения — его, но не ее же! — была в ином: слишком уж тесно-наглядно короткий срок государенья царя Василия подперт с обеих сторон лихолетием ложных Димитриев, явившихся ему в язву и казнь за лживое свидетельство о самоубийстве доподлинного. В 1610 году «бояре и всякие люди приговорили бити челом царю Василью, чтоб он царство оставил, для того что кровь многая льетца, а в народе говорят, что он государь несчастлив», — и свезли долой из дворца обратно в старые палаты.

Вскоре бывшего царя насильно посхимили в Чудовом монастыре в Кремле, а поскольку давать иноческие обеты доброю волей по чину он погнушался, за него отрекся от мира тезка князь Василий Туренин — коего отказавшийся признать извращение обычая Патриарх Ермоген по справедливости и величал впоследствии монахом, продолжая поминать Василия в качестве законного правителя.

Одновременно с мужем, рядом через стену в Вознесенской обители принимала постриг и его невиновная супруга. Летописец говорит, что она при том «плакася плачем велиим, источники слез от очию проливающи, жалостно глаголаше: О свете мой прекрасный, о драгий мой животе! како оплачу тебе или что ныне сотворю тебе? Самодержец всей Русской земли был еси, ныне же от раб своих посрамлен еси и никем же владееши... Како ты от безумных москвич сего света отречен! А я тебя, светлейшаго живота и царя, лишена бых и сира вдова остаюся...»

Царь-инок затем был изменою схвачен гетманом Жолкевским в Иосифовом Волоколамском монастыре и отвезен в Варшаву, а жена его поселилась в Покровском суздальском, где оканчивала свой век не одна: в первые годы Михаила Феодоровича Романова в живых оставалось ни много ни мало целых шестеро бывших русских цариц и царевен, которые все

были пострижены силою... Земной круг трехимянной старицы закончился по обычаю под сводом собора Стародевичья Вознесенского монастыря в Кремле.

5

Конечно, кроме великих званием инокинь, у Ивана Постного не в недостатке было и прочих, чином попроще — так, после мира с Польшею сюда привезли шестерых окатоличенных в плену женщин и через год вновь крестили в прадедовскую веру. Жизнь здесь была далекой от праздной, но насельницами монастырь не скудел, как ни косили их многорукие бедствия: во время одного из них, моровой язвы 1654 года, перемерли все священники с причтом и полная сотня стариц, а в живых осталось лишь около тридцати.

Новый правящий дом приветил Ивановскую обитель настолько, что посещения царей в престол стали обязательными, и, напротив, отсутствие их на этот праздник отмечалось всегда в «Выходных книгах московских государей» особо. Причем несли они свой поклон не постриженным родичкам — сущей нищенке...

Еще при Михаиле Федоровиче прославилась тут тихими деяниями юродивая Дарья, в схиме великой Марфа. Спала она, подложивши под голову голый камень; летом по целым ночам уходила молиться на Воробьевы горы, неизменно поспевая к утру обратно для выполнения обычных послушаний, и, несмотря на отверженный, а кому и соблазнительный урок положенного на себя юродства, в обилии приносивший тычки да побои, умела своим предстательством помогать при родах. Потому-то ее особенно часто навещала супруга Михаила Евдокия Лукьяновна Стрешнева, за дюжину лет народившая девятеро детей. В день ангела царицы — на святую Евдокию — схимонахиня Марфа и скончалась 1 марта 1638 года.

На погребении ее присутствовала царская чета; два года спустя Государь приказал изготовить на гроб богатый покров: «сукно английское черное, крест камчат, вишнев, подложен зенденью темно-зеленою». Десять раз посещал храмовый праздник знававший Марфу в детстве Алексей Михайлович, по чьему указу писано было стенное письмо в церкви у северных дверей над юродивою. «Выходили» сыновья Алексея

цари Федор и Иоанн. В местности Ивановского сорока, а впоследствии и по всей Москве Марфа стала чтиться за городскую покровительницу, что приносит помощь роженицам и вдобавок еще исцеление от запойной напасти.

Когда в начальной половине девятнадцатого столетия монастырь стоял заброшен, последние его четыре старицы рассказывали, что не однажды видали в окно внутри обветшалого храма стоящую на коленях подле своего гроба юродивую со свечою; под именем «Марфы из Ивановского монастыря» явилась она как-то и возобновительнице его Марии Александровне Мазуриной. А когда та перестраивала обитель, подымая вновь былую ее славу, то — вывезя на Ваганьково восьмеро ящиков останков боярских с княжескими, — пролежавшие в соборе 222 года Марфины мощи постановили сохранить на месте, переложив лишь в новый мраморный саркофаг. При открытии старого захоронения в головах найден был тот самый камень, на котором всю свою жизнь почивала юродивая, а кости ее обретены медвяно-желты — что по древнему преданию означает: земля с радостью приняла в себя не посрамившую лице ее праведницу.

6

Но между успением Марфы и обретением ее мощей уложилась еще и такая повесть совсем уже обратного, переворотного свойства.

18 октября 1768 года по первому снегу, густо павшему наземь плотными хлопьями, привезли в Ивановский монастырь внуку известного дельца семнадцатого столетия Автонома Иванова и родичку Глебовых Дарью. Бабка ее жила здесь в начале 1760-х, но отнюдь не память о ней пригнала сюда бесфамильную отныне грешницу, лишенную навеки права носить родовые имена отца Николая Иванова и покойного мужа ротмистра Салтыкова...

В 1762 году крепостной ее человек Ермолай Ильин, у которого помещица последовательно забила до смерти трех жен, подал жалобу молодой императрице Екатерине Второй. По высочайшему настоянию Сенат выдал наказ Юстиц-коллегии «наикрепчайше исследовать» дело о показанных челобитчиком истязаниях и душегубстве, и вот что он открыл.

После кончины супруга двадцатипятилетняя вдовушка, прозванная на Москве Салтычихою, пустилась в собственном доме на Лубянке и в ближайшей своей вотчине селе Троицком Подольского уезда, что стоит нынче по ту сторону Кольцевой дороги от Теплого Стана, в тяжкие лютости. Доказанных на ней насчитали 38 убийств и погубление еще 26 душ оставлено в сильном подозрении. Среди всех семидесяти четырех убиенных было лишь трое мужчин, остальные же — бабы, девки да малолетние девчонки. Главной причиною для истязаний и смертного боя служило худое мытье полов для женщин, а у троих мужиков — плохой за тем же надзор. Сперва в наказание следовали побои, дранье волос, прижигание кожи раскаленными щипцами. Скалкою либо утюгом проламывалась голова, несчастные загонялись осенью по горло в холодный пруд или выставлялись зимой босиком на снег; потом требовали повторить плохо выполненную мойку, а когда обессиленные страдалицы опять не могли достичь вожделенной исчерпывающей чистоты, они при посредстве других крепостных последним колотьем вбивались уже и в гроб. Приходский поп Иван Иванов, сколь ни был зависим от воли помещицы, все же отказывался отпевать замученных, требуя наперед удостоверения от властей о ненасильственной их смерти, а потому Салтычиха обычно лишала погубленных ею как последнего напутствия причастием, так и вообще христианского погребения, наказывая дворне зарывать тела без памяти посереди леса.

Кроме несомненно болезненной ненависти к собственному полу, неистовство Салтычихино на своих товарок подстрекнула еще и ревность. Младшая сестра ее Агриппина была замужем за Иваном Никитичем Тютчевым; а сама вдова Дарья «сошлась беззаконно» с его родственником и прямым дедом будущего поэта Николаем Андреевичем. Когда же перед Великим Постом 1762 года тот разорвал с нею напрочь и принялся сватать за себя девицу Панютину, она закупила пять фунтов пороху и, изготовив мощный заряд, дважды посылывала с ним своих мужиков «подоткнуть под застреху» тютчевского дома да поджечь его так, «чтоб оный капитан Тютчев и с тою невестою в том доме сгорели». Оба раза подневольные огневщики проявили похвальную жалость — рожденную скорее страхом самосохранения — и возвратились, не испол-

нив злодейкина приказания, за что и были нещадно избиваемы батожьем.

Покинутая любовница, однако, этим сердца своего не утишила и перед проездом молодой четы мимо ее деревни Теплые Станы вооружила крепостных дубьем, дабы, внезапно напав на них за околицею, «разбить и убить до смерти». Кто-то загодя предварил Тютчева-деда — и тем втретье спас для России знаменитого его потомка.

...Следствие с розыском длилось целых шесть лет. Наконец, 2 октября 1768 года Екатерина дала Сенату указ: «Нашли Мы, что сей урод рода человеческого не мог воспричинствовать в столь разные времена и такого великого числа душегубства над своими собственными слугами обоего пола одним первым движением ярости, свойственным развращенным сердцам; но надлежит полагать, хотя к горшему оскорблению человечества, что она, особливо пред многими другими убийцами в свете, имеет душу совершенно богоотступную и крайне мучительскую». Чего ради, отобравши у нее право величаться фамилией, повелено впредь звать Дарьею Николаевой и «лишить злую ее душу в сей жизни всякого человеческого сообщества, а от крови человеческой смердящее ее тело предать собственному Промыслу Творца всех тварей».

По состоявшемуся приговору Сената 17 октября того же года Салтычиха была выставлена на Красной площади на эшафоте в окружении гренадер с обнаженными шпагами у столба с листом на груди, на коем большими буквами означено: «Мучительница и душегубица». Площадь была полна народу — помимо самохотно пришедших, прочие созваны были «особыми публикациями», а знатным развозились по домам для явки повестки.

Потом, посадя в сани-роспуски, по первой пороше свезли ее в Ивановский монастырь, где посадили в сделанный нарочно сруб глубиною три аршина — «покаянную, коя вся в земле и ниоткуда света нет». Согласно указу велено было «пищу ей обыкновенную старческую подавать туда со свечою, которую опять у ней гасить, как скоро она наестся, а из сего заключения выводить ее во время каждого церковного служения в такое место, откуда бы она могла оное слышать, не входя в церковь».

Там просидела она одиннадцать лет, а с 1779 года по

самую смерть в 1800-м переведена была в пристроенную к горней стене собора каменную палатку, выходившую окошком с зеленой занавесью к монастырской стене. Под ним часто толпились любопытствующие зеваки, а она, раздраженная, ругалась, плевала в них через железную решетку или совала в открытую по летней поре створку палкою, «обнаруживая тем», как считал очевидец, «закоренелое свое зверство».

Не многим лучше, впрочем, выказала себя дразнившая заключенную праздношаткая публика. Навряд ли выпередила она хотя полушагом ее и в чистоте помышлений: ежели правительство все-таки сумело переступить сословные перегородки для примерного наказания представительницы одного из древнейших родов империи, известного задолго до той поры, как предки Екатерины получили единое понятие о самом существовании русском, — людская молва горазда была лишь на сложение грязных баек, приписывая Дарье Салтыковой в прошлом людоедство и даже лакомство зажаренными девичьими грудями; в настоящем связь с караульным солдатом, от которого узница якобы сподобилась как-то по шестому десятку зачать и родить, — а с течением времени последыши той черни запросто почитали и всякого помещика осьмнадцатого столетия неким видоизменением Салтычихи.

Промысел же, чьему непосредственному попечению преданы были в приговоре тело с душою преступницы, рассудил на свой лад: после смерти в бездетстве одного настоящего сына и единственного внука от второго — все это приключилось еще на земном ее веку — ветвь рода, опороченная ею, совершенно пересеклась. На Донском кладбище до наших дней стоит как бы в назидание потомству Салтычихин памятник, а в языке московском бытует и само позорное прозвище, что поныне служит наиболее, пожалуй, достойным воздаянием.

7

Одновременно с приговоренной к безродности душегубихой в Иоанновой обители жила и другая питомица елизаветинского века и самая, наверное, известная из ее насельниц. Но навряд ли сама Елизавета Петровна, за год до кончины своей определившая этот монастырь для призрения вдов и си-

рот знатных и заслуженных людей, могла предузнать, что главною сиротою сделается собственная ее дочерь...

Еще в первой молодости цесарева Елисавета едва было не обвенчалась с гвардейским прапорщиком, красавцем и умницею Алексеем Шубиным. Она даже писала своему избраннику стихи — чуть ли не первые принадлежащие женщине рифмы в отечественной словесности; но в строгие годы Анны Иоанновны сердечное увлечение стоило бойкому офицеру долгой прогулки совсем на другой край страны — в Камчатку, где вместо Елисаветы его без спроса оженили на камчадалке. Даже по восшествии бывшей аматерши на всероссийский престол нарочный чиновник сумел отыскать тайного узника лишь на другой год; после возвращения в Петербург «за невинное претерпение» Шубин был сразу произведен в генерал-майоры и пожалован богатыми вотчинами. Однако путешествие кругом полусвета основательно переменило взгляды былого ветреника, сделавшегося взамен прилежным богомольцем, убегающим светских сует, и год спустя он выпросился в отставку, отправившись в пожалованное ему село Работки на Волге, где впоследствии и окончил дни свои в мире.

В законный же брак с императрицею (оставшийся, впрочем, не объявленным с подобающим торжеством) одновременно с отъездом Шубина в свою новую вотчину — вступил его счастливый преемник и тезка казак Алексей Розум, благозвучия ради переименованный в Разумовского. Плодом этого сокровенного союза и стала «княжна Тараканова», чье имя и слава незаконно обобраны «побродяжкой, всклепавшей на себя» звание дочери Елизаветы и заодно уж, чтоб мало не показалось, сводной сестры Пугачева. Тараканьи поползновения шустрой самозванки, бывшей семью годами моложе своего прообраза, закончились зато в Петропавловской крепости целым десятилетием ранее появления подлинной великой княжны в стенах московского Иоанна Постного. Кстати сказать, невместную фамилию Таракановой ни та, ни другая вообще никогда не употребляли, и возникновение ее в этой связи, несмотря на более или менее удачные потуги разъяснений, остается доселе загадочным, ибо лукавый сочинитель, будто заправский рыжий прусак, успел юркнуть подальше от света в одну из подпольных каверн истории.

Мельников-Печерский, в основном тоже посвятивший вни-

мание свое похождениям лжецесаревы, сообщает мимоходом о предании, что настоящая царская дочь, привезенная как будто бы из-за границы, где она прожила в безвестности до сорокалетия, имела свидание с глазу на глаз с Екатериной Второй, после чего «беспрекословно согласилась удалиться от света в таинственное уединение, чтобы не сделаться орудием в руках честолюбцев и не быть невинною виновницей государственных потрясений».

До пострижения она носила многозначащее имя Августы в честь первой христианской мученицы на троне римских кесарей — жены императора Максимина, обезглавленной собственным супругом-язычником. После же принятия монашества сделалась Досифеею, хотя такая святая в календаре и не значится — по стародавнему обычаю давать некоторым инокиням ангелов-хранителей противоположного пола.

Досифея поселилась в одноэтажной каменной келье из двух сводчатых комнаток, примыкавшей к восточной части монастырской ограды, с окнами, обращенными внутрь двора; в клировые ведомости имя ее внесено не было. Общались с ней лишь сама игуменья, духовник и особо назначенный причетник, совершавший с духовным отцом Досифеи отдельную службу в надвратной Казанской церкви под колокольнею, куда вел из ее палатки крытый переход.

Первые годы новая насельница была пуглива, постоянно чего-то опасалась — да и что говорить, не без причин. С летами она со своим положением свыклась, как оно и водится обычно у наших женщин; занялась рукоделием, а вырученные от продажи деньги, вкупе с поступавшими от не названных покровителей дарами, раздавала через келейницу бедным или на построение храмов.

В начале следующего века посещать ее стали чаще, причем теперь приходить не возбранялось не только знатным гостям или управляющему епархией митрополиту Платону, известному ученому и проповеднику, но и вовсе простому люду, полюбившему тихую заточенницу.

Так в 1800 году у нее и появились двое братьев, детей чиновника из Ярославской губернии Путилова — четырнадцатилетний Иона с восемнадцатилетним Тимофеем. Последний полвека спустя вспоминал, что не раз видел в ее келье акварельный портрет матери — императрицы Елизаветы Петров-

ны. Досифея сдружилась с ними и познакомила с известными ей старцами Новоспасского монастыря, которые в свой черед поддерживали связь с прославленным молдавским просветителем Паисием Величковским. В итоге Тимофей сделался под именем Моисея основателем знаменитого впоследствии Оптинского скита, куда за наукой целое столетие отправлялись затем русские писатели — Гоголь, Толстой, Достоевский, Леонтьев, Соловьев и другие; а Иона — игуменом Исайей Саровским. С полюбившимися ей юношами она продолжала вести переписку, благодаря чему нам оставлена единственная возможность услышать подлинный голос этой таинственной женщины. На их послание, в котором, по-видимому, сообщалось, что в своих поисках истины братья обрели наконец наставника, однако смущены его крайним немногословием, Досифея отвечает: «На путь правый указует идущим не скитающийся в мирской прелести, ищущий спокойствия телесного, переходя из града в другой; а старец, хотя в раздранном рубище и хладный телом, но теплый верою и, безмолвствуя языком в мире, отверст устами в обители внутренней, — затворивший уста, как бы дверь хижины теплой от охлаждения и дабы не вошел тать похитить сокровище», прибавляя ласково — «прошу читать письмо вместе, дабы цепь дружества вашего была тверже».

Досифея и сама, как рассказывали, в последние свои годы вступила на трудную стезю молчальничества. Одной из немногих, кому довелось нарушить его и общаться с нею незадолго до кончины, была вологодская помещица Курманалеева, которая впала в жесточайшее отчаяние после смерти любимого мужа и с горя, почти без надежды, ткнулась в двери ивановской затворницы. Против всякого ожидания, Досифея сама появилась ей встречу, сумела утешить и тоже отослала для дальнейшего наставления в Новоспасский ко сведомому ей старцу Филарету, наказав еще передать поклон. На прощание она заметила, что ему вскоре предстоит поклон этот отдать, и просила свою вестницу заехать к ней самой невдолге в строго назначенный срок, никак не запаздывая. Та, по заведенному российскому обыкновению, конечно, часа на три замедлила — и застала уже остывающее тело, которому спустя несколько дней действительно привелось поклониться и Филарету, ибо по завещанию Досифею погребли прямо против окон

его кельи. Тогда-то старец и сказал Курманалеевой: «Велия была подвижница! Много, много она перенесла в жизни, и ее терпение да послужит нам добрым примером...»

Терпения действительно стоило поднакопить впрок — всего через два года нагрянуло гостевать незваное Наполеоново скопище двунадесяти язык, — но пока на последнее прощание с родственницей, положенной против обычая не в указном месте упокоения прочих ивановских сестер, а в родовой обители Романовых, съехалась доживавшая на Москве век знать славного осьмнадцатого столетия во главе с главнокомандующим города графом Гудовичем, женатым на племяннице Алексея Разумовского и, следовательно, Досифеевой двоюродной сестре; а отпевало ее все старшее духовенство первопрестольной с викарным епископом на челе.

На диком валуне, легшем в землю над гробом, сделана была такая надпись: «Под сим камнем положено тело усопшей о Господе монахини Досифеи обители Ивановского монастыря, подвизавшейся о Христе Иисусе в монашестве двадцать пять лет, а скончавшейся февраля 4-го 1810 года. Всего ее жития было шестьдесят четыре года. Боже, всели ее в вечных своих обителях!» До начала нынешнего столетия в ризнице хранился и портрет, на котором изображена была среднего роста, худощавая и чрезвычайно стройная женщина с остатками редкой красоты на лице, весьма схожая обликом с императрицею Елизаветой.

Часовня ее в виде свечи — единственное сохранившееся надгробие из всего новоспасского некрополя — и по сей день стоит у восточной ограды, слева от высокой, тоже свече подобной колокольни, хотя обитель давно уже занята институтом реставрации. Правда, надпись и камень исчезли, как почти не востребованной покуда остается и вся правда о ее долгом подвижничестве. Но и в этом не судьба ли тоже Ивановых жен!

...По крайней мере, приключениям их тут совсем еще не конец. Разобравши дела подземные и земные, нам сейчас предстоит окунуться в совсем уже как будто бы потусторонний мир, неожиданный ход в который удалось проторить двуликому кату Ивану Каину, — завораживающе продолжил ведун-поводырь и поворотил кверху ногами свою заветную белую карточку —

ГЛАВА ПЯТАЯ

ДОНОСИТЕЛЬ КАИН

1

Не шуми, мати зеленая дубравушка,
Не мешай мне, доброму молодцу, думу думати,
Что заутра мне, доброму молодцу, в допрос итти,
Перед грозного судию, самого царя.
Еще станет государь-царь меня спрашивать:
Ты скажи, скажи, детинушка крестьянской сын,
Уж как с кем ты воровал, с кем разбой держал,
Еще много ли с тобой было товарищей?
Я скажу тебе, надежа православной царь,
Всю правду скажу тебе, всю истину —
Что товарищей у меня было четверо:
Еще первой мой товарищ темная ночь,
А второй мой товарищ булатной нож,
А как третий-то товарищ то мой доброй конь,
А четвертой мой товарищ то тугой лук,
Что рассыльщики мои то калены стрелы.
Что возговорит надежа православной царь:
Исполать тебе, детинушка крестьянской сын,
Что умел ты воровать, умел и ответ держать!
Я за то тебя, детинушка, пожалую
Середи поля хоромами высокими,
Что двумя ли столбами с перекладиной...

2

Припоминая теперь эту свою любимую и воистину им самим от начала в конец сложенную песню в полной тьме, холоде и одиночестве, Ванька имел на сей случай коренное основание отнести ее к собственной скорой судьбе. После семилетнего долгого розыска приговор вышел отменно короток: колесовав, отрубить голову. Юстиц-коллегия его подтвердила да послала на подпись в Сенат, и остатней надеждою было лишь неписаное предание, будто императрица Елизавета перед тем, как явилась в гренадерской казарме и кликнула за собою пре-

ображенцев отбивать отцов трон, дала перед иконою Спасителя клятву ни одной человечьей души не погубить своим изволом. Да поди только пойми, насколько та народная молва правдива, когда расстояние от лжи до истины длиною в родимую шею...

Покуда он вот уж не в сотый ли раз перекладывал в уме так и эдак приметы, по каким удалось бы хоть как-нибудь подгадать свою долю, сидючи в подвальной каморе, где прежде хранилось железо, а нынче водворен был под замок сокрушенный дозела смертник, — через окошко в железной же двери, прорубленное посреди нее наподобие бойницы (шириною в четверть аршина, длиною в два — и оттого не столько лившее жидкий свет, сколько скрадывавшее его), вдали показалось и стало расти белое пятнышко, напоминающее четвероугольный окусок бумаги. По мере приближения его он понял, однако, что то на самом деле была ярого воску свеча, которую влек в своей шуйце, вставя черенок глубоко в медный подсвечник, пробиравшийся сверху посланец.

— Здоров бывай, детина, — сказал он запросто, отвалив сперва прочь запор и потом плотно притворив вновь за собою двери, таким голосом, будто с прошлого их свидания прошло шестеро не годов, а часов. — Верная и твоя песень, но с одной только отменою: бора-дубравушки тут уже сто лет в обед нет, зато для плахи с колесом места вдосталь — хошь на Воронцовом поле городи, можно и на Болоте поставить, а коли угодно, так и под стеной Кремля-батюшки просторно...

Ванька дрогнул — не столько от поминания кстати грозных орудий казни, с именами которых уже давно свыкся, сколь от убийственной этой наповал догадки: ведь как будто он и не пел сейчас наслух, только припоминал слова втихомолку, держа их в уме перед внутренним оком все разом, как живое дитя и единственного своего наследника...

3

— Что ж, книжка-то тискана ли даром записанная? — с обидою выговорил он наконец, отправивши свой ответ по касательной, сумев упихнуть назад под сердце подкативший оттуда на рысях к горлу ужас.

— Не кори попусту, уговор наш остался в силе, — да и

как ее, готовую разве на треть, тискать прикажешь? Ан достучаться к тебе труд великий, похлеще, пожалуй, чем из лавиринфа ход на свободу сыскать. Занешто же угораздило буянить до дури — вот и угодил в этот спуд, поди-т-ко добейся сюда!

— Я ничего, это все бабы-сороки, хвилой народец да подлой. Вишь, до чего освирепили душу: мало им на колоднике кандал, надо чего поболе всклепать? Вместно ли сие по-христьянски?!

— Ну и ты-то не велик христианин...

— А пущай вовсе мал, да не бусурман же. Ну, играли в зернь, известное дело, облапошили Оську Соколова, а жена его и подучи донести. Честь тут в застенке, вишь, в грош — зато грош, тот-ст в честь. Сержанта Подыма с места сбили — да он отозвался простотою, наказу особого не вышло; зато нас троих высекли, как ту Сидорову козу, деньги все обрали, из коих выдали двенадцать серебреников доводчику, а все прочие сдали на руки караульному офицеру, чтоб отпускал на прокорм в день по копейке на брата, и покуда не выйдет все дочиста, казенного жалованья не полагать. А потом сержант новый доложил, что-де будто стена в прежней палате расселась, и опасно, кабы вовсе не пала. Так и упекли за здорово живешь, твоим словом молвящи, прямо в подпол присутствия, в бывшую железную ямину. А там все одно к одному недоля подобралась: еще и женка Арина изблудовалась, пожитки из дому перетащила незнамо к какому другому — пришлось самому просить ее защелкнуть. Ин ради праздника Христова Рождества через месяц уже спущена на поруки и поминай как звали... Иуды проклятые! — взвопил Ванька, оживив в памяти поусохшие несколько от времени обиды вновь во всей их тугой налившейся мигом плоти, и впал в сущий восторг негодования.

4

— Они, может быть, и Иуды, да не ты ли полку их Каин? — запросто осадил его пришлец, но, чтобы не сбить вовсе с охоты говорить, выудил из-за пазухи согретую там подле самой утробы, как драгоценный первенец, длинногорлую красоулю и подал прямо в руки. — Изволь, брат, прикушай,

да давай кончать нашу сказку, покуда я тебя на вечор откупил, и незадешево.

— Донес, стало, обещанное, что три года ждут — два срока выдержал. Ан уж и не впору: мне то вино сегодни хуже оцта с желчью смешанного, — по обычаю спервоначала отперся Ванька, но ломался теперь недолго, ибо сам был порядком-таки пообломан и вскоре приник напрямки к бутыли, презрительно минуя подсунутую Лёвшиным дворянскую чарку почернелого серебра — Ты про ход-то проведал?

— Ход идет ровнехонько через самую твою повесть.

— А без нее поскоряе нельзя ли?

— Мимо нее его не сыскать не то что тебе, а и мне. Она будто ключ-заклинание: сама врата укажет, сама отомкнет и на волю выведет...

Скоро порозовевший от хмельного колодник, однако, прицепился мыслью к сорвавшемуся мимолетом с собственного языка поминанью о содержимом чаши, поднесенной некогда на кресте самому знаменитому из казненных на свете, воволею сопоставив его судьбу перед кончиною со своею:

— Христос-от вон тоже к разбойникам сопричислен, сам он пропащему нашему племени брат...

— Эк тебя занесло, братец! Давай лучше соберись с толком да бай до конца, что помнишь, времени у нас не в достатке. Только помене теперь завирай, а то наплел невесть чего про разбитие Шубина генерала да про Работки его село — а оно ведь вона коли к нему отошло вместе с превосходительным званием, когда ты уж три года в сыщиках хаживал. Вместно ли почем зря эдакие турусы заворачивать?!

— Ну, не подмажешь, так никакая телега катить не станет. Где мы бишь полдюжины лет тому застряли-то в пень?

Лёвшин развернул прихваченный под мышкою бумажный ворох и, справясь там для прилики, ибо и так почти что все наизусть теперь ведал, подсказал:

— А на Святках сорок первого года, когда ты вернулся с Волги на Москву и ходил проведывать про разбойные станы по городу...

— А-а, — степенней прежнего протянул разомлевший Ванька, которого эти слова навели на приятную память счастливой поры его первых предательств. — Ну дак слушай —

5

— как о многих сведал, то вздумал о себе где надлежит объявить, а помянутых воров переловить.

Идучи по дороге из Рогожской ямской слободы в город, спросил идущих: кто в Москве на́больший командир? Коего искать мне велели в Сенате.

Почему я к Сенату пришол, в которой в то же время приехал князь Кропоткин, коему подал я приготовленную мною записку, а во оной было написано, что я имею до Сената некоторое дело. И хотя от меня та записка и взята была, однако резолюции по ней никакой не получил; токмо спросил, где оного князя двор, в которой по случаю пришол и, остановясь у крыльца, ожидал князя. Тогда вышел из покоев его адъютант, которого просил об объявлении о себе князю. Но адъютант столкал меня со двора; однако, не хотя я так оставить, пошол по близости того двора в кабак, в коем для смелости выпил вина и обратно в тот же князя Кропоткина дом пришол. Взошол в сени, где тот же адъютант попал мне встречу, которому я объявил за собою важность; почему приведен был перед того князя, которой спрашивал о причине моей важности. Коему я сказал: что я вор, и притом знаю других воров и разбойников, не токмо в Москве, но и в других городах. Тогда тот князь приказал дать мне чарку водки, и в тот же час надет на меня был солдатской плащ, в коем отвезли меня в Сыскной приказ, из которого, как настала ночь, при конвое для сыску тех людей отправлен я был.

6

— Погодь чуток, — вмешался непрошено в быстрый ток его речи Лёвшин, отметивший про себя с удивлением, что не поспел Ванька перейти к приказной материи, как в язык его сотней заноз впились бесчисленные «который», «коему», «тоты» да «каки»; и не утерпевши сдотошничал: — А в приказе ты разве самой Императрикс Елисавете челобитную не подавывал?

— Каку-таку челобитню? — привычно скинулся простяком и рассказчик, опустивший помянуть про нее в спехе сразу подобраться вплотную к повести об удачной ловле человеков, стяжавшей ему и самое прозвище Каина.

— Да вот эдаку, — неотступно давил свое Федор Фомич, выказывая преизлишное познание в Ванькином розыске, и подсунул ему под огонь свечи круглым писарским почерком с загогулинами на концах слов сделанную выпись:

«В начале как Всемогущему Богу, так и Вашему Императорскому Величеству повинную я сим о себе доношением приношу, что я забыл страх Божий и смертный час и впал в немалое прегрешение.

Будучи на Москве и в прочих городах,
во многих прошедших годах
мошенничествовал денно и ночно, будучи в церквах
и в разных местах
у господ и у приказных людей,
у купцов и всякого звания у людей из карманов деньги, платки всякие, кошельки, часы, ножи и прочее вынимал.

(И здесь не позабыл вдосталь погаерничать, — помыслил еще при списыванье этого места Лёвшин.)

А ныне я от оных непорядочных своих поступков, запамятовав страх Божий и смертный час, отстал и желаю запретить ныне и впредь как мне, так и товарищам моим, которые со мною в тех прегрешениях обще были. Товарищи же какого звания и чина люди, того я не знаю, а имена их объявляю при сем в реэстре.

По сему моему всемирному пред Богом и Вашим Императорским Величеством покаянию от того прегрешения престал, а товарищи мои, которых имена значат ниже сего в реэстре, не только что мошенничают
и из карманов деньги и прочее вынимают,
но уже я уведомлял, что и вяще воруют,
и ездя по улицам и по разным местам всяких чинов людей грабят, и платье и прочее снимают,
которых я желаю ныне искоренить, дабы в Москве оные мои товарищи вышеписаных продерзостей не чинили, а какого чина человек товарищи мои и где и за кем в подушном окладе писаны, о том всяк покажет о себе сам.

И дабы Высочайшим Вашего Императорского Величества указом повелено было сие мое доношение в Сыскном приказе принять, а для сыску и поимки означенных моих товарищей по реэстру дать конвой, сколько надлежит, дабы оные мои товарищи впредь, как господам офицерам и приказным и куп-

цам, так и всякого чина людям таких продерзостей не чинили; а паче всего опасен я, чтобы от оных моих товарищей не учинилось смертоубийства, и в том бы мне от того паче не пострадать».

Внизу под сим присовокуплена была еще особ-прибавка: «Я, доноситель Каин, самолично убийств не чинивал».

7

Ванька с первого взгляда распознал, конечно, собственное сочинение, дорогое его сердцу едва ли чем менее славной песни про матерь-дубравушку, — но ему просто потребно было время, чтобы собраться с понятием, насколько тот въедчивый, как вошь, дворянин проник в подноготную всех потайных обстоятельств и куда вообще он свои сани воротит. Он и обмозговывал все это про себя, покуда вертел для виду в руках верящую грамоту своего окаянства, а потом наконец вынужденно подтвердил ее подлинную принадлежность, сославшись в оправдание закосненья на каверзность отсыревшей в застенке памяти, и продолжил повесть о первой охоте.

— И в то время взял в нижеписаных местах:

во-первых, близ Москворецких ворот в Зарядье в доме протопопа воров Якова Зуева с товарищи, всего 20 человек;

во-вторых, в Зарядье ж в доме ружейного мастера воров Николая Пиву с товарищи 15 человек;

в-третьих, близ порохового цейхгауза в доме дьякона воров и мошенников всего до 45 человек;

в-четвертых, за Москвою-рекою в татарских банях беглых солдат 16 и при них ружья и порох, которые по приводе в Сыскной приказ винились в намерении для разбою в Сыромятниках надсмотрщика Абрама Худякова;

в-пятых, против устья Яузы на струге бурлаков 7 и при них воровские пашпорты.

При взятье же всех реченых воров взяты были и их хозяева, у коих они квартиры имели, женского и мужского полу всех до 20 человек, с коими привезен я был обратно в Сыскной приказ, о чем в Правительствующий Сенат из того Сыскного приказа представлено о мне было. Чего ради и я в то ж время в Сенат взят был, где во всех своих преступлениях из-

винение принес, в чем тогда был прощен, и при том приказано мне было, чтоб я старался таких воров впредь сыскивать, и для того сыску дан мне был от Сената указ и определена для вспоможения команда; и притом как в Военную коллегию, в полицеймейстерскую канцелярию и в Сыскной приказ, так и в подлежащие команды посланы были для ведома и вспоможения указы.

По вступлении для сыску нанял я в Зарядье близ Мытного двора для жительства себе дом, в котором сделал на том же дворе в особливом покое билиар, зернь и прочие разные игры...

8

В своем вольном сказе Ванька запросто сыпал точными цифирями, зато вновь кое-чего взамен упустил по разным основаниям помянуть, — но порядочно-таки подготовившийся ко второму разговору Лёвшин на сей раз был в том отношении надежен: среди его бумаг нашлось бы немало дополнений к излагаемым от первого лица Каиновым подвигам.

Сведом он был, для прикладу, что по возвращении с первого налета, у самых Москворецких ворот Ванька велел еще сопровождавшим его подьячему Петру Донскому с четырнадцатью солдатами идти к отверстию в берегу, именовавшемуся в просторечии печурой. Внутри печуры они набрели на человека в лохмотьях, худого и бледного, с наброшенным на плечи нагольным тулупом. Тот сидел на полу и писал что-то при свете лучины в разложенном перед собою на скамье бумажном листу. Это был один из старых сотоварищей Ваньки, по всему вероятию, метивший в то ж каинское достоинство, но опереженный более прытким соперником. Он вел журнал ежедневных своих воровских похождений, в котором значилось, скажем, что семеро гривен взято в понедельник ввечеру во Всехсвятской бане, да там же четвергом прихвачена полтина в придачу со «штанами васильковыми»; в другой, Кузнецкой бане о тот же четверг подтибрены тафтяная рубаха, китайчатый камзол, портки да серебряный крест, а на Каменном мосту, в месте для подобных изъятий прямо-таки природном, неволею поменяли владельца шестнадцать живых алтын...

Увидавши былого приятеля, Ванька тотчас же закричал солдатам: «Берите его!» Печурный житель успел лишь заметить: «Эх, Ванька, грех тебе!»; на поверку он вышел беглым солдатом Алешкою Соловьевым, а между его писаниями найден особый перечень мошенников, в среду коих занесены по порядку и Каин с Камчаткою.

Тут на полатях в печуре еще кто-то шорохнулся; Ванька указал служивым: «Берите уж и Степана кстати!» Этого мужика сорока лет стащили долой в одной только рубахе, присовокупив к прочим, связали веревкою да и отвезли всю толпу в тюрьму при Сыскном приказе. Полатный лежальщик оказался Степаном Болховитиновым, не одни краты пытанным по обвинению в скупке краденого товара. За ту же винность исписан был задний фасад и у одной из приведенных в предначинательный розыск Каином баб.

Словом, уже в ту ночь Ванька не пожалел множества бывших однокашников — в придачу к другим выдав головами еще и беглого солдата Жузлу, с которым гулял в понизовской земле у атамана Зари, Куваева, Криворотова, Семенникова по прозванию Голый... В число их попало и несколько недорослей, вроде купеческого сынка Ивана Буханова с прокличкою «хорь-хорек»; двумя годами младший его купецкий же четырнадцатилетний сирота Ванька Михайлов — пристроившийся на Красной площади к шильническому заводиле слепцу Андрею Одулову, и его сверстник матросский отпрыск Леонтий Юдин, питомец славной гарнизонной школы подле Варварских ворот, поставлявшей первопрестольной отборных воришек.

После такого архиудачного зачала Ванька принялся ежедневно прохаживаться по площадям и крестцам, рядам да церквам, ловя при посредстве приданной ему воинской команды всеразличных мошенников и сводя весь захваченный полон в Сыскной приказ...

Но нынче сам он опять-таки нарушил степенность жизнеописания и сразу перешел к итогам первых лет доносительства, излагая их уже не с природными прибаутками, а суконным подьяческим языком и даже по нумерам.

9

1. Потом взял в Мещанской денежных мастеров Якима Хомцевникова с товарищи 17 человек, при которых деньги воровские привезены в Сыскной приказ.

2. По разбитии от Москвы за сорок верст в дворцовом селе Кжели старосты, приказано мне от дворцовой канцелярии было оных сыскивать. И чрез малое время взял я у Яузских ворот пьяного человека, у которого нашел четыре фальшивых пашпорта и несколько денег. А как оной по приводе в мою квартиру проспался, то я спрашивал его о тех пашпортах, обнадеживая, что ежели он правду скажет, то я ему новые свои пашпорта напишу, и притом отпущен будет на волю. Почему оной сказал, что он с товарищами разбили объявленного села старосту, где те пашпорты взяли; а о товарищах объявил, что они жительство имеют близ Покровского монастыря, где в то же время взял я 49 человек, в том числе двух атаманов Казамаева и Медведя, и при них несколько денег и пожитков. Представил в Сыскной приказ, а того доказателя оставил в своей квартире; после оного на третий день отпустил его за караулом для проведывания других артелей. Тогда он бежал; а показанные воры по допросу в Сыскном приказе винились во многих воровствах и смертных убивствах, из коих Савелий Вьюшкин показал, что он бывал во многих партиях до семидесяти разбоев, а смертных убивств учинил сколько числом, того по множеству не упомнит.

3. После того сыскал разбойников 7 человек и при них атамана Михайлу Бухтея, которые винились в разбитии Колотского монастыря и в прочих многих воровствах и разбоях и в смертных убивствах.

4. Еще взял в Покровском селе в банях разбойников 35 человек, кои винились в разбитии кашинского помещика Мелистина и в прочих многих воровствах и разбоях.

5. После оного близ Васильевского сада взял фабришного Андрея Скоробогатого с товарищи, всех 17 человек, в делании воровских денег и с теми их деньгами.

6. Взял в Тверской ямской вора, при котором взял серебряной с образом оклад; а по допросу винился в краже в городе Старице церкви.

7. После оного взяты воры Алексей Журка с товарищи

14 человек, а по приводе винились в краже у секретаря Чубарова и в других многих воровствах.

8. Еще взяты воры 17 человек, которые по приводе винились в краже из Сибирского приказа казенной рухляди и в других многих воровствах, за что из них казнены пятеро человек смертию.

(— Вот тебе память сама с языка и слетела насчет сбыточности такого исхода, — помстилось Каину с левого боку излагаемых славных деяний, но он поспешил стряхнуть эту мысль прочь, чтобы не мешала споро двигаться дальше пространной стезей похвальбы.)

9. После взял воров 9 человек в краже близ Боровицкого мосту на Троицком подворье из церкви окладов и риз.

10. После оного взял воров 5 человек в краже по подвоху Девичьего монастыря старицы из того ж монастыря кладовой денег и других вещей, которая старица тогда ж с оными и бежала.

11. Взял в ямской Дорогомиловской разбойников 37 человек, и при них атамана Алексея Лукьянова, кои по приводе винились в воровствах, разбоях и в смертных убивствах.

12. Еще взял на Ордынке воров Лебедя с товарищи, всего 7 человек, которые по приводе винились в краже майора Оловянникова и в других многих воровствах.

13. После того взял воров Замчалку с товарищами четверо человек в краже у компанейщика Демидова денег 5000 рублев.

14. Взял вора с золотым позументом, которой по приводе в Сыскной приказ винился в побеге из санктпетербургской полиции из-под караула и в краже в Санктпетербурге у купца Милютина из лавки; по показанию его ж сысканы еще 6 человек, которые винились в воровствах, разбоях и из разных мест из-под караула в утечках.

15. Взял воров Пиву с товарищи всего 18 человек в краже компанейщика Бабушкина и в других многих воровствах.

16. Взял мошенников 40 человек, которые оговорили разных чинов людей всего 170.

10

Далее Ванька со счету все-таки сбился и продолжил перечисление своих побед безо всякого порядку:

— Взял беглого солдата с украденными из типографии печатными пашпортами, которой винился в раздаче их разного звания людям и в приеме оных от одного помещика, которой по указанию его взят был и винился в даче еще другим тремстам человек, — а ему даны от сенатского сторожа и тем сторожем из типографии покрадены.

— После того взял на Устретенке пьяного беглого матроса, при котором нашел трут, огниво и спицы. По приводе винился, что на праздник святого Николая в заутрени, как купец Горской, взяв с собою своего работника из дому, пришел в церковь, — тот взятой им работник обратно не мешкав вышел. Тогда ж подговоренные им люди у церкви его ожидали, которых взяв с собою, пришел реченного Горского в дом. Случившихся тогда в доме дворовых девок — одну бросили в погреб, а другую малолетнюю убили до смерти; потом взяли несколько денег и из платья и из того дому ушли. О чем я в Кабинет был призыван, где господин Черкасов мне объявил: ежели я оное отыщу, то без награждения оставлен не буду. По показанию того ж матроса сыскано мною сему виновных 20 человек.

— После того взял беглого рекрута, которой по приводе объявил о себе, что он в рекруты подложно был отдан бежецким помещиком Милюковым, которой мною сыскан и в Военную коллегию был представлен, где по производимому следствию оказался в отдаче других до 300 человек обвинен.

— Взял беглого суконщика в господской ливрее, которой показал, что жительство имел у гренадера Телеснина, — у коего по указанию онаго суконщика в то ж время взял в квартире, где они с оным Телесниным жительство имели у капрала Еналина, солдата Руднева и с ними несколько их товарищей, и при них немалое число экипажу. Токмо Телеснина в квартире не получили, ибо он тогда уехал в Ярославль; однако по объявлению оный сыскан был и приведен в Сыскной приказ. И при учиненных им допросах показали: оный Телеснин обще с показанными Еналиным и Рудневым и

с ними всякого звания люди, а более из суконщиков человек до 15, разбили компанейщика Насырева, у коего взяли денег и платья; в ту же ночь были у купца Купреянова, у которого пограбили платье и несколько напитков. После оного в другое время разбили компанейщика Бабушкина, у которого взяли деньги и несколько пожитков, а по приезде в оные домы объявляли себя посланными из Тайной канцелярии якобы для взятья оных купцов в ту канцелярию.

11

А когда в Сыскной приказ вышеписаные воры и разбойники и при них поличное представляемы были и то дело начато производиться следствием, — то по приеме от меня поличного большую часть поначале подьячие промеж себя делили, а достальное оставляли истцам для прилики. И равно как во оных взятых подьячими, так и в достальных пожитках, при производимых им пытках, чтобы истцы дознаться не могли, спрашиваны; и по кончании следствием чего в иске не доставало, правили с тех людей, где те воры приставали или кого оне оговаривали, — а ежели платить им было нечем, то ссылали оных по доле, то есть на каторгу.

А еще под Девичьим монастырем пополуночи в пятом часу попал встречу бегущий человек, которого я приказал поимать. И как оной поиман был, то усмотрел у него на грудях кровь, почему привел его в свою квартиру; которой, ночью разбив окно, бросился из покою и бежал, притом сказав: «Ну уж ли-де мне здесь вовсе жить?»

А близ Ивановского монастыря вынул медных мастеров в делании воровских денег, коих представил в Сыскной приказ, которых тогда ж в немшоной бане взвесили и кто из них более потянул, узнали...

12

— И довольно за те вынутые души плачено? — осведомился дворянин, желая поверить бумажные свои выкладки на слух.

— Дулю с маком. За первые три месяца поощрили пятер-

кою. Долго потом спустя нарочно уже напоминал, написавши в Сыскной приказ прошение, что-де поймал недавно разбойника Якова Иванова, а тот давал денег пятнадцать рублев, чтоб я его выпустил, но, не хотя корыстоваться, привел его в сыск и со взяткою отдал. Между тем сам забрал на пропитание по лавкам всякого харча и хлеба на двенадцать рублев с полтиною и потому просил себе жалованья на расплату долгов да вперед чего на пропитаньицо.

Они сосчитали улов: за два неполных года донес я им живьем всего на круг: мошенников 109 голов, воров 37, становщиков полста, покупщиков шестьдесят, разных беглых солдат 42 человека — итого без двух душ триста штук оптом. За что мне в выдаче денег и было отказано!

Гаркнув с досады, он опять приложился ко красоуле, о которой время от времени не позабывал во все течение повести.

— Ну и чего?

— Ну и того, что коли пить захочешь вкрутую, то похлебаешь и оцта: завсегда выход сыщется. Но, между прочим, как начал я, так и скончал по бабьей злой милости. Вот я тебе про свадьбу свою поведаю, тогда и поймешь. Да нет, погоди, напрежь того расскажу, как я им маленько должок тот свой отдал — хотя и попозже сталось, ин по сердцу-то наперед просится.

13

— Подобрал я лежащую на улице пьяную женщину, которая при взятье мною под караул сказала за собою важное дело; а как пришла в трезвое состояние, то заявила, что она купеческая жена, зовут ее Федосьей Яковлевой и знает несколько раскольников, которые собираются на богомерзкое сборище. О чем написала своеручную записку и, запечатав, отдала мне, которую я, взяв от нее, в тот же день к советнику Казаринову принес. И как оную записку ему подал, и он, распечатав, усмотрел, что в ней было написано, то приказал взять меня под караул. Токмо я взять себя не дал, отчего мои пошевелились в его покоях так, что и в окнах сте-

кол мало осталось. Напоследок стал он говорить со мной посмирняе и спрашивал: кто ту записку писал? Коему я сказал: что я писать не умею, а кто писал, тот в доме у меня остался. И более оной советник не медля, взяв меня с собой, поехал к генералу Левашеву; поговоря с ним, послали меня в дом. В то же время ночью прислали ко мне полковника Ушакова, Тайной канцелярии секретаря и двух офицеров со 120 человек команды, которые у ворот моих стали стучаться, а у меня —

на одной неделе
четверга четыре,
а деревенский месяц —
с неделей десять!

Отчего пришед в ужас, принужден был свою команду потревожить, которой при мне было 45 человек солдат и при них сержант, да черного народу хорошего сукна 30. И как ворота отпер, то полковник и секретарь взошли ко мне; секретарь, взяв ту женщину в особливую каморку, подул ей на ухо...

Посадя с собой в «берлин», поехали на Покровку, взяли купца Григорья Сапожникова и отослали в Стукалов монастырь; где, поговоря с ним против шерсти, в ту же ночь по показанию той бабы домах в двадцати поставлены были караулы. А на другой день взяли в Таганке купца Якова Фролова и сына его малолетнего, которого я забрал к себе в дом, а прочих отправили в тот же монастырь. И я спрашивал оного Фролова сына: где живет Андреюшка и с кем он говорит? Ибо он сказывался немым. Которой объявил, что-де он с теми говорит, кто тому сборищу согласен, а жительство-де имеет за Сухаревой башней в одном доме. Почему для взятья оного Андреюшки в показанной дом ездили, токмо его не получили, ибо он дни за два до того уехал в Санктпетербург. Для чего с прописанием всего их обстоятельства послан был из Москвы нарочный, которым оный Андреюшка привезен в немшоную баню, где его взвесили, а сколько весу в нем оказалось, того мне знать было не можно.

Но уж стариц да белиц и со девками тряханули как следует: всех раскольниц-хлыстовок, а особливо Варсонофьевского да Иванова монастырей, с их беспутными мужиками

выбрано ровно пол-антихристова числа: триста тридцать и три...

И тут вдруг покладистый и смирной прежде свидетель, незаметно в пору слушания последнего происшествия наливший-ся вполутьме густою рудой по всему лицу, хряcтнул что было мочи кулачищем в колено, расплюща лежавшие там горкою бумаги, и надтреснуто крикнул:

— А-аа, каб тебя самого бесы подрали! Чтоб сволокли к собачьим чертям!! —

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

У ЧОРТА НА КУЛИШКАХ

1

«При державе благоверного царя Алексея Михайловича, всея России самодержца, случилось в царствующем граде Москве вот какое дело в нищепитательнице патриаршей на Кулишках, что за Варварскими воротами, близ Ивановского монастыря. По действу некоторого чародея вселился там демон и живущим творил различные пакости, как поведал отец Марко, что вместе с архиепископом суздальским Илларионом всему тому был самовидец. Ни днем, ни ночью бес не давал уснуть, таская людей с постелей и лавок, всем в слух нелепости вопиял, и на печи, и на полатях, и в углах стуча и гремя и различными голосами крича, устрашал. Благочестивый же Государь Алексей Михайлович повелел духовного чина людям на отгнание сего беса молитвы творить, но успеха от того не было, а лукавый, напротив, еще свирепей, яко лев, укорял всех и грехи их явно рассказывал, обличая и стыдя, иных же даже бил и выгонял вон. Много раз принимались выкуривать нечистого, но никак не умели с ним сладить.

Тогда кто-то из приближенных возвестил самодержцу о преосвященном Илларионе, который сподобился принять власть над злыми духами. Благочестивый царь повелел немедля призвать пред себя владыку, ибо тот как раз находился на Москве. Посланные догнали его уже на пути домой и тотчас пригласили во дворец наверх — к великому Иллариона испугу, потому что он подумал было: не оклеветал ли его кто перед Государем. Однако смиренно повиновался высочайшему указу и пошел, куда зван был. На преосвященном в то время была простая овчинная шуба, лычным поясом подпоясана, а поверх нее одна ветхая суконная ряса.

Представши перед царевы очи, он спервоначала отказывался было от трудного подвига, но потом за послушание монашеское повиновался и в тот же день к вечеру отправился в богадельню с монахами Марком и Иосифом по прозванию

Рябик. Это все происходило, когда в Москву съехались вселенские Патриархи на всероссийский собор.

Пришед в назначенное место, иноки по своему пустынножительскому обычаю затеплили свечу и принялись петь вечернюю службу да читать молитвы. Дьявол же, не терпя их пения, начал на полатях крепко стучать и нелепыми голосами кричать, укоряя Иллариона бесстыдными речами: «Уж не ты ли, калугере, пришел сюда выгонять меня? Поди-ка ко мне, переведайся!» Но преосвященный продолжал свое дело, никуда не озираяся, между тем как бес все бесчинствовал: «Поди, калугере, ко мне! Переведаемся с тобою!» Когда же владыка приступил к акафисту Богородице, во умилении вознося руки к небу, ударяя себя в грудь, испуская потоки слез и припадая к земле, тогда бес, молитвами архиепископа будто пламенем опаляем, отлетел оттуда, яко стрела быстра, и умолк до тех пор, покуда не окончилось чтение. А затем опять принялся вопиять дикими гласами, приговаривая: «Эй ты, плакса! Еще расплакался! Иди же ко мне, переведаемся!»

По сотворении вечерни и келейного правила, ночью, уже когда погасили огни, преосвященный стал произносить молитвы на изгнание нечистых духов, неутешно проливая слезы, а дьявол продолжал орать нелепотно: «Э-эх, калугере! Еще ты и в потемках разнюнился!» И застучал на полатях крепко; а потом, промолвив грозно: «Я к тебе иду, к тебе иду!» — замолчал.

При этом отец Марко, побеждаемый страхом, хотел было и вовсе из кельи бежать, но владыка ободрил его стоять крепко и ничего не страшиться, присовокупив: «Даже и над свиньями дьявол без повеления Божия власти не имеет». Чорт же обернулся тогда черным котом и начал архиепископу под колени подкатываться всякий раз, как тот земно кланялся. Мешая так его поклонам, бес хотел навести на гнев и отвадить от молитвы, но Илларион был крайне незлобив: подскочит ему чорт под колени, а он рукою его отбросит в сторону и сотворит метание.

Отправив наконец все уставные служения, повелел он спутникам, охранив лице свое крестным знамением, ложиться почивать с миром. Отец же Марко спрятался глубоко под шубу от великой боязни.

На следующий день преосвященный, совершив утреннее пение, вышел из богадельни по делам. Тогда дьявол сказывал богаделенным бабам о нем, до чего владыка праведно живет: «Как стал-де во время акафиста плакать, то устрашил меня, будто огнем ожег, так что я выбежал вон. А когда молился в потемках, и я черною кошкой к нему подлетал, мешая ставить земные поклоны и думая любовь на гнев преложить, — ничего и тут успеть не возмог!» И все это говорил окаянный, будучи сам невидим.

В то время одна из баб положила ребенка в люльку и стала его качать. Бес же, выхватив дитя, взял неведомой силой самое бабу, запхнул в люльку да пустился трясти, приговаривая: «Люли, баба! Люли, дурная!» Вдруг возвращается в богадельню владыка Илларион — и дьявол давай только ноги от него наутек в велицем страхе, оставя бабу сидеть торчком во дитячей во зыбке.

Когда же Илларион принялся святить воду, бес начал страшно кричать и бросать белым каменьем, так что вся богадельня потряслась; однако по молитвам владыки никому от того вреда не учинилось. Он продолжал совершать служение, никуда не оглядываясь, между тем как нечистый дух все вызывал его переведываться на поединок. И вот, окропя образа и стены святою водою, Илларион вступил с дьяволом в решительное противоборство: обратился в ту сторону, где он вопил зверскими голосами, и воскликнул: «Где еси ты, враже всякия правды? Аз раб Господа Иисуса Христа, от Его имени гряду бороться с тобою — выходи же, окаянный!» После чего начал повсюду решительно кропить освященной водою: и на печи и на полатях, и на лавках и под лавками, и потолок и стены. Дьявол же умолк и скрылся, не являясь затем целых три дня.

Но потом опять очутился в богадельнях и принялся жалиться богаделенным бабам: «Хорошо сей монах перед Богом ходит. Нельзя мне приблизиться к нему!» А когда воротился сам Илларион, дьявол стал уже не так дерзновенно подавать голос — видимо ослабев, говорил как-то немо. Тут преосвященный и подступил к нему с допросом: «Все ли ты бесстудствуешь, окаянне? Заклинаю тебя именем Божиим, поведай мне, где ты был в эти три дни и где скрывался». — «Когда ты кропил, — ответствовал бес, — в то время я под платьем

на шесте сидел, а как и там не смог усидеть, перескочил на шесток, потому что там ты брызнуть-то позабыл. Так и сидел по сию пору на нем, отдыхая». Илларион вопрошал далее: «А каменье белое где берешь?» — «С Белого города», — доложил дьявол. «Как твое имя?» — продолжал испытывать его владыка. «Имя мне Игнатий, — сообщил бес-собеседник, — я княжого рода. Телесен, живу по плоти. Мамка в детстве послала меня к лукавому — и тотчас черти меня подобрали».

Потом Илларион продолжил изгнание его из богаделен, но он все не хотел уходить, сетуя, что не своею волею тут поселился, будучи послан свыше, а потому и не способен самохотно убраться в о с в о я с и. *Однако мало-помалу вновь принужден был говорить немо и, ослабевая, исчезал.*

Однажды в отсутствие Иллариона мимо той богадельни шествовали чужие попы и, ставши под окном, тоже начали было вольною волей без владычного благословения читать заклинательные молитвы. Чорт же, застучав и как бы устремившись на них, стал обычными своими нелепыми голосами кощунствовать: «Ох вы, пожиратели! Сами пьяны, как свиньи — меня ли вам выгонять?!»

Другой раз пустились богаделенные бабы между собою браниться из-за того, что многие пропажи между ними бывают. Бес же им на подмогу вступил в перепалку, невидимо подливая масла в огонь, подобно как чужими устами. Одна скажет: «Отдай мыльцо!» — а он ей в ответ: «Свиное рыльцо!» И так сначала вражий дух научил их воровству, а потом сам и обличал.

Еще как-то монах Иосиф Рябик спал в той богадельне на полатях, но, ложась, забыл себе лице оградить победным над смертью знамением. Дьявол же дерзнул тотчас за то облобызать его и громко воскликнул, обращаясь к самому Иллариону: «Я поцеловал дьякона вашего, что на полатях лежит. Долгие у него власы, да студеные губы!» — «Как смел ты, окаянне, на сие гонзнути?!» — недоумевал Илларион. — «А я узнал, что он не перекрестясь заснул», — отозвался тот.

И боролся с ним владыка пятеро недель, покуда вконец не отогнал прочь. А потом, поживши в богадельнях месяца с два, взворотился в свою обитель в духовной силе, яко царев

храбрый воин и во бранях победитель крепкий, от супостата же отнюдь не преодоленный, нечистым духам страшный и всему миру преславный».

2

— Ученейший профессор Федор Буслаев напечатал эту повесть в собственном переложении, извлекши ее из жития Иллариона, который, однако, не был причислен к лику всероссийски чтимых святых: с осьмнадцатого столетия канонизация была резко сокращена вплоть до начала века двадцатого, — возбужденно вещал, скоро крутя, будто кофейную мельницу, волшебную белую карту, знатоцкий воевода своему преданному полку, в который вновь записался Ваня-Володя. — В эдаком происшествии сам его первый истолкователь увидал всего лишь «комизм грешного дела, для общей пользы взваленного на безответные плечи услужливого беса». Плечи, конечно, всегда остаются немыми — за них глаголют уста; но не в этой пустой оговорке тут суть. К бесовской истории Буслаев, один из начальных исследователей русского средневековья, пристегнул еще целый очерк о чорте в стародавней отечественной словесности — и выпустил своего «Беса» на волю особой книжицею; итоги всего его труда неутешительны: «Кажется, без всякого пристрастия можно сказать, что пороки и грехи древней Руси были до такой степени грубы и пошлы, что не могли дать занимательного содержания идеальному типу беса».

Прошло всего около столетия; теперь мы можем уверенно заключить, что и сам почтеннейший издатель сказания наверняка угодил в лапы к собственному герою, ибо научное суеверие есть тот же род навязчивого одержанья, что и прочие, с той лишь отменою, что благодаря почтенному велемудрому обличию сей род нечистого еще поопасней иных. А подлинный составитель повести о чорте на наших Кулишках оказывается при ближайшем рассмотрении гораздо правей опытного литературного ведуна.

Прежде всего скажем о наглядных ее заметах. Патриаршие богадельни при Владимирском храме у стен Ивановского монастыря существовали до 1711 года; призреваемых в них было от 40 до 88 душ мужеского и женского пола.

Обширнейшее кладбище богаделенное сохранялось до прихода французов; но в конце девятнадцатого столетья следов его почти уже не было видать.

Илларион, возведенный впоследствии в сан митрополита и останавливавшийся обычно на Москве в доме своего родственника, славного иконописца Симона Ушакова невдалеке отсюда, был, по сказанию о его житии, сыном одного из трех кандидатов на патриаршее кресло после смерти шестого русского Патриарха Иосифа; мало того, брошенный жребий указал-де именно на его отца, но тот будто бы доброю волей, как гласит жизнеописание Иллариона, уступил место Никону.

Одним из злейших Никоновых врагов был брат умершей к тому времени жены Иллариона — епископ Павел Коломенский; перед своею ссылкой в новогородские пределы тот поручил как раз Иллариону решение своих имущественных дел и затем пригласил за собою. Но покорный воле изгнанника по части нажитого добра родич, как скоро устроил земное, отказался последовать семейственнику по духу и от греха подалее возвратился в свою епархию. Когда же и туда присланы были печатные московские книги с внесенными для соответствия богослужебного чина общепринятому восточному обиходу справами, Илларион все-таки усомнился было в истинности изменений устава. Тогда вразумления ради, говорит повесть о нем, случилось следующее символическое происшествие. По совершении обедни и потреблении Святых Даров в пустой чаше вдруг вновь явилось вино, преображенное в кровь Христову, причем как внутри потира, так и снаружи его. И голос без плоти произнес в Илларионовом сердце: «Сколько крови внутри чаши, столько и вне. Совершается ли служба по прежним книгам или по новоисправленным служебникам — сила таинства остается та же».

После того Илларион стяжал два редких дара: предвидения и бесогонства. Его навещала вдова Ивана Пятого Параскева с дочерьми, и одной из них, Анне, он предрек всероссийский престол. По исполнении предсказанного она вспомнила о покойном уже митрополите и в удостоверение признательности прислала дары в кафедральный город его епархии и Флорищеву пустынь, которую он долгое время хранил один после того, как погинули моровой язвою все прочие ее

насельники. У боярина же Абрама Лопухина, о котором не раз уж ходила речь, жена трижды подряд рождала мертвых младенцев. Молитвенное обращение за помощью к Иллариону принесло долгожданного живого ребенка, названного Анастасией, что в перекладе с греческого значит «воскресение». В старости Илларион, будучи совершенно слеп, все равно неопустительно продолжал служить алтарю; по смерти же все его видимое достояние оказалось равно трем полушкам.

Случившийся в пору истории с богаделенным бесом собор, на который явились вселенские Патриархи и в деяниях коего сохранилась собственноручная Илларионова подпись, созывался для осуждения разом двух взаимных противников: старообрядцев-раскольников и Никона. Расправясь с духовными противоборцами, царь Алексей Михайлович порешил сам собою взяться за построение единолично им управляемого Третьего Рима — итоги чего общеизвестны...

Но возвратимся к Ивановскому монастырю и соседственной ему патриаршей нищепитательнице — ибо чертовщина в них имела вполне заметные для внешнего разума корни, что, впрочем, отнюдь не исключает каких-то иных. Сюда нарочно не раз присыланы были на исправление завзятые староверы, которых соборное деяние 1666 года — изрядно напоминавшее датою антихристово число, — нисколько не разубедило. Вторым же составным загнездившегося тут изуверия были веяния из иных земель.

3

Ивановская горка сыздавна и по сравнительно недавний срок заселена была целым сонмом чужеродных выходцев. Например, в одном только Колпачном переулке при Михаиле Федоровиче числились дворы немчинов — обозначение указывало не столько на определенный народ, сколько на их немоту в отечественном наречии, — селитренного мастера Ивана Адамова, мирского попа Индрика, немки Овдотьи Христофоровой дочери, у которой еще проживал немчин Мартын с пищалью, немчинов с пищальми же Петра и Томаса да немчинов просто Ариста Игнатьева, Еремея Мерсова, Ивана Ортемьева, Петра Марселия; иноземца Ивана Марыча...

При Алексее Михайловиче для иноверцев выстроена была

за Яузою особая Немецкая слобода — на соблазн и пагубу нравов сына его царевича Петра; но и после общего вывода туда чужестранцы удержались на Ивановой горке в немалом числе. Через Покровку, как раз против храма Успения, прославился впоследствии «цесарец» аптекарь Соульс, прозванный в просторечии «Соусом»; а в конце девятнадцатого столетия архитектор Трейман для немца барона Андрея Кнопа, чей отец сделался богатейшим дельцом именно в наших пределах, поставил особняк с башнею в Колпачном опять-таки переулке, над которым теперь реет флаг.

Вскоре по московском пожаре в 1818 году обширная усадьба масона Ивана Лопухина в Космодемьянском переулке продается лютеранской общине, что выстроила здесь кирку Петра и Павла. Вокруг кирки вырос небольшой городок благотворительных учреждений и учебных заведений «Петер-Пауль-шуле», дворами выходящий прямиком к дому Мазепы. Новое здание кирки возведено со значительным увеличением объема в самом начале нынешнего века архитектором Коссовым: ныне его занимает студия «Диафильм», один из сотрудников коей многие годы добивался снести издалека прежде видимый шпиль с часами — и, что отнюдь к сожалению не странно, желаемого-таки достиг всего лет с два десятка тому.

В Малом Вузовском возникла другая инославная церковь — реформатская; она передана нынче напополам приходам баптистов с адвентистами и деятельнейшим образом существует по сей наш день.

В подобном вот располагающем соседстве самородных раскольниц с заезжими чужеверами — да при настоятельнице Марии Циммермановой — и закралась в Ивановы стены тайная секта, члены которой выбирали вольным разумом из собственных согласников не священников и не царей даже, а прямых богов — «христов».

Первое беспрекословное свидетельство о явлении этого жуткого порожденья человеческой гордости находится в «Розыске» Димитрия Ростовского, и произошло оно в самом исходе семнадцатого бунташного века в лице человека «родом Турченина»:

«Бе же тогда той христос на реке Волге в селе Работки глаголемом, за нижним Новгородом верст 40, по Волге на

низ. Есть же в том селе на брезе реки церковь ветха и пуста, и собрашася тогда к нему людие верующии в онь на мольбу в церкви оной. Изыде же христос оный из олтаря к людем в церковь и в трапезу, и зряшеся на главе его нечто велико обверчено по подобию венца, на иконах пишемого, и некия малыя лица красныя по подобию птиц летаху около главы его, ихже глаголют быти херувимы (нам же мнится, яко или беси в подобиях таковых мечтательно людям зряхуся, или красками писаны бяху херувимы на писчей бумаге и окрест венца прилеплены). Седшу же ему, вси людие тамо собравшиеся падше поклонишася тому до земли, аки истинному Христу, и кланяхуся, непрестанно моляшеся на мног час, дондеже изнемощи им от молитвы. Он же к ним пророческая некая словеса глаголаше, сказующи что будет, каковое воздуха пременение, и утверждаше их верити в онь несумненно...»

4

Двуликие секты вроде восточных манихеев или болгарских богомил немедля обратили внимание на нашу землю, как скоро она достигла грамоты и просвещения: известие о приходе в Киев еретика-скопца Адриана всего шестнадцатью годами моложе крещения Руси. Сокровенною сутью подобных учений было признание видимого мира творением дьявола, почему всякая плоть отвергалась начисто — они хулили ее, говоря словом старого книжника, «лающи аки пси на конника». Отречение от белого света обычно вело их сквозь отчаянный аскетизм прямиком ко крайней степени гордости, которая от века справедливо почитается родоначальницею всех прочих пороков, превратившей даже третью часть ангелов в сущих бесов.

У самих же сектаторов бытовали смутные предания и о других своих предтечах в прошедшем: например, некоем Аверьяне, что был распят «на поле Куликовском, во наездии Ростовском». Затем существовало еще сказание об Иване Емельяновиче, «жителе Московском, Кадашевской слободы», который, будучи призван Иваном Грозным и спрошен: «Правда ли про тебя, Ванька, идет людская молва, что ты пророчишь?» — ответствовал так: «Ванька-то — это ты, беспутный царишка, а я сын Божий Иоанн: ты царь земной, а я небес-

ный». Но все то скорей уже поздней поры побаски, ибо сподвижником Грозного в гонениях на секту называется в них не кто иной, как Никон-Патриарх.

Однако, ежели всмотреться во внутренний их смысл, это последняя ошибка является своего рода единственной иносказательной здесь правдой, ибо образ Никона воистину вырастает на пути всего на Руси кривого да колотого.

Кроме того, раскольники и правой и левой руки действительно ведут свой род из одинакого корени — от некоего пустынника Капитона. Имя его можно перевести с латыни как «человек с большой головою, голован», и он по праву стоит в голове всех позднейших ересей, — да и звались они сперва обще «капитонами», а позже еще глумливо переиначены в «купидонов».

Не менее того показательно, что семя раскола было посажено им задолго до исправления книг и чинов служения, проведенного Никоном. Сей самый Капитон удалился в волжские леса близ Костромы еще при Михаиле Феодоровиче, наложил на себя сначала тяжкие труды с постом и постепенно возрос в самообольщении от нижайшего смирения до всей полноты сатанинской. Своих согласников он давно уже убеждал отколоться от прочего народа и следовать лишь за собственной святостью; так что когда пришла весть о затеваемых переменах обряда, он уже тут как тут стоял наготове во всеоружии проклятий и смут. Причем в отличие от всех последователей по крайностям — как исключительно приверженных мертвящей букве староверов, так и совершенно освободившихся от верности преданиям духоборцев, по преимуществу обоюдно скрепивших свои заблуждения кровью, — Капитон с началом преследований скрылся в дебри столь ловко, что конец его и по сю пору остается безвестен.

Но оставим раскол и так хорошо ведомой участи и обратимся к зеркальной его противоположности. Уже среди первых поклонников Капитона зародился обычай употреблять для причащения вместо вина и хлеба новое, дурманящее разум вещество, скатываемое в виде шариков наподобие клюквы, которое выносила в собрания капитонов из подпола девка, изображающая Мать-сыру землю, и от коего они впадали затем в обуреваемое духами состояние.

Одним из таких учеников Капитоновых был крестьянин

Данила Филиппович, что вскорости сделался ни много ни мало... Богом-отцом. Все это случилось с ним в Муромском уезде на горе Городине, где у Данилы была уничтожена своя живая душа и взамен нее вселилась другая, которую он опознал в качестве божественной. Зваться он стал тогда «богатым гостем» и прямо Господом Саваофом, а сторонники его — «людьми божьими»; в народе они доселе слывут за хлыстов — происхождение этого имени так удовлетворительно и не выяснено, но в нем явственно слышится чудовищная помесь Христа с Хлестаковым.

Первым деянием его было как бы крещение и просвещение Руси наизворот: собравши купно книги старой и новой печати, бог Данила поклал их в куль да и забросил в Волгу, потопив таким образом всю писаную словесность под водою.

Затем он поселился близ Костромы, переназвав ее «город Кострома — верховная сторона» и еще «Горний Иерусалим». Это и на деле было предприятие обширнее суеверий прежних и будущих, по сравнению с которым, скажем, даже секта наполеоновцев, признававшая вторым воплощением Спасителя пришедшего к нам с мечом императора французов, выглядит ребяческою забавой. Тут маловаты росточком и заплутавшие среди трех перстов, как в трех Римах, раскольники, — ибо покушение целит сразу в самое сердце всей веры: образ неиссякаемой духовной силы и справедливости грядущего, Новый Иерусалим. Сведя его книзу и опростив чем только придется, хлысты достигали исчерпывающей степени кощунства.

В Костроме Данила Филиппович дал и свои собственные 12 заповедей, первая из коих гласила: «Аз есмь бог. Несть иного бога, кроме меня», а вторая — «Нет другого учения. Не ищите его». — И уже начальная из них была ложью, ибо смысл проповедовавшегося Саваофом Данилою с присными в том как раз и состоял, что «изобретенным», самосвятским богом может сделаться всякий желающий, стоит лишь сменить свою старую душу на пришлую. Ложь также сделалась и главным оружием сохранения секты.

Еще за пятнадцать лет до явления на горе Городине «отца» народился ему и «сын божий», хлыстовский христосик Иван Суслов, от столетней богоматери Арины Нестеровны —

но родился опять-таки не по плоти, а иносказательно, от нашедшего извне духа. Посетив «Господа Данилу» и «получив от него божество», он завел себе двенадцать апостолов, богородицу помоложе и сделался «кормщиком» первой общины — «золотого корабля», за которым должны были следовать уже прочие «полки полками». Отменивши напрочь стеснявшее вольную волюшку крестное знамение, они тотчас же двинулись разносить новообретенный толк в люди. Этот-то человек и явился в селе Работках.

5

Путь странствий привел его затем в первопрестольный город Москву. Здесь он согласно хлыстовским повериям был в 1672 году схвачен — по навету, конечно же, Никона (тот был уже в ссылке, но тут, как и далее, желаемое выдается за подлинное). Указом царя Алексея его распяли прямо на кремлевской стене справа от Спасских ворот, где впоследствии поставлена была часовня Спасителя «Великого Совета Ангел». В четверг Суслов испустил дух, в пятницу похоронен на Лобном месте, а в ночь после субботы воскрес, явившись ученикам в подмосковном селе Пахре.

Вскоре он был схвачен в другой раз, ибо хлыстам однократного восстания из мертвых казалось уже недостаточно, и та же история повторилась в точности снова. Наконец, когда Суслова приговорили уже к третьему по счету распятию, исполнение казни было остановлено из-за видения царице Наталье Кирилловне, никак не могшей разрешиться от бремени: у нее произошло якобы откровение, что ребенок родится счастливо, только ежели дадут свободу христу Ивану. Его отпустили — и именно так появился на свет будущий император Петр Великий.

С той поры Иван Суслов построил себе за Сухаревою башней на земле княгини Черкасской — что ныне сад за Институтом скорой помощи Склифосовского — дом, названный, конечно же, Новым Иерусалимом. Туда прибрел и папа его Данила-Саваоф, а 1 января 1700 года вознесся прямиком на небеса; после чего вроде бы и стали справлять новолетие в первое число этого месяца.

В доме исправнейшим образом учреждены были радения

на «кругу», завертелась хлыстовская общинная пляска, во время которой они приходят в изумленное состояние, вещая на разные ведомые и неведомые голоса.

Одним из главных их правил — в отличие от прочих, обычно стремящихся резко обособиться ересей, — было показное личное благочестие: хлыстам прямо-таки вменяется в обязанность неопустительно и гораздо исправней обыкновенных прихожан исполнять все обряды господствующей церкви, чтобы отвести от себя подозрения властей предержащих, а главное и основное — легче вести проповедь в само́м стане противника, пользуясь его же кровом и средствами.

Потому-то Иван Суслов не раз наведывался и в настоящий монастырь Воскресения в Новом Иерусалиме под Москвою, где успел соблазнить наиболее ревностных молодых монахов, а также познакомился с помещиком соседственного села Козьмодемьянского князем Ефимом Мещерским, родственником и сподвижником заточенной в Суздале бывшей царицы Евдокии. Когда же в 1715 году была раскрыта заведенная в вотчине новоиерусалимского монастыря близ Углича хлыстовская община, обвиненные в богохульстве ее участники были неожиданно выпущены на свободу по приказанью ростовского епископа Досифея — того самого, что тоже «ходил в духе», пересказывая Евдокии разные чудеса и предрекая возвращение престола, а впоследствии был за эти свои видения казнен Петром вместе со Степаном Глебовым.

На Москве Иван-божий сын также обратил всяческое прилежание к тому, чтобы пробраться внутрь монастырских стен, и главную свою общину завел здесь в женском Ивановском. Когда же он улетел душою выспрь вслед за Данилою в собственном доме за Сухаревкой, то в отличие от папаши оставил на память поклонникам бренные мощи, ненадолго положенные по соседству на погосте Николы в Драчах, но вскоре торжественно перенесенные в Ивановскую обитель, где над ними водрузили памятник с надписью, гласившей о погребении тут святого угодника.

После Ивана Суслова его христово, а точней, антихристово (ибо «анти» означает не только «против», но также и «вместо») достоинство подхватил родной сын Данилы Филипповича нижегородский стрелец Прокоп Лупкин, жена коего постриглась с именем Анны опять-таки в Ивановском и стала

там вместе с сестрой проповедовать на правах «мироносицы». Сын их Спиридон Прокофьич поступил в Симонов монастырь, сделался его экономом и долгое время ведал всею обителью в отсутствие архимандрита. Ивановским же золотым кораблем правила богородица Москвы и всей России Настасья Карпова дочь; а в 1732 году здесь подле сусловских упокоились ненадолго и останки самого Лупкина.

6

В год смерти второго лжехриста раскаявшийся разбойник Семен Караулов — своего рода предтеча Ваньки Каина по переметному ремеслу: проживая в Замоскворечье в приходе Николы Заяицкого, он со своими подручными разъезжал по городам для сыска бывших сообщников, — вошел ко главнокомандующему Москвы графу Салтыкову с доносом, что ему ведомы четверо домов, где собираются старцы и старицы вкупе с мирскими людьми для чинения всеразличных непотребств в новоизобретенной богомерзкой ереси.

По указанию карауловского наводчика Ивана Андреева, скинувшегося ретивым согласником хороняк, 6 января 1733 года в доме под Новодевичьим было захвачено разом сорок человек, пришедших на тайное сборище. За этой первичной облавой последовали еще новые ловли, и в итоге одних только осужденных по первому большому хлыстовскому делу оказалось триста три души, в том числе некто «шведской нации» Игнатий Андреев.

Главою согласия состояла вышереченная Настасья Карпова, инокиня Ивановской обители и хлыстовская богоматерь. Радения корабля происходили прямо в ее келье, поверх которой под кровлею обнаружили к тому же множество кроватей, где «они окаянные весьма дивным развратом в неискусный ум пришли, законный брак отвергая, а беззаконнаго смешения не отстая».

Кроме богородицы с двумя мироносицами и тремя пророчицами, пребывавших в Ивановском, чин живых небожителей состоял из двоих пророков, иноков Высокопетровского монастыря, и множества простецов. Особоучрежденная следственная о раскольниках комиссия открыла также следующее:

«Собирались мужский и женский пол с прилежным укры-

вательством в одно некое место и, обедав в обществе, садились по лавкам, по одну сторону мужский, а по другую женский пол, а в начальном месте заседал оной прелести предводитель, муж или жена, яко бы по чину пастырскому. Потом, взяв благословение у оной предводительной особы с низким наклонением и целованием руки, по две и по три пары, или и большим числом, иный муж с мужем, а иный муж с женой, плясали кругом по избе как кто мог, высоко подскакивая, и сказывали, что на такое плясание или паче шатание поднимал их Дух Святой... Между тем некия из них палками и цепами бивали себя. А по таковом бешеном беганим, некии же из них иногда мужеска, а иногда и женска пола персоны нечто и прорицали, или паче буесловные и смеха достойные враки и рассказы произносили, шкаредную свою новость древним спасения путем нарицая».

Следствие совершенно справедливо уподобило вновь явившихся духовидцев известным в веках манихеям еще и за то, что «для вящего ереси своей укрывательства» они ревностнейшим образом прилежали внешне обрядам правоверия.

По приговору «высокоучрежденной комиссии», подписанному лишь светскими ее членами, пятеро зачинщиков во главе с Настасьей Карповой казнены смертью — ей эту самую голову и отрубили в Петербурге на Сытном рынке. Остальные были наказаны кто кнутом, кто плетьми, кто урезанием языка, с последующей рассылкою в отдаленнейшие местности на исправление. Высылка оказалась, впрочем, отнюдь не бессрочной — например, расстриженный симоновский эконом Лупкин-младший, в котором так и не открыли третьего по счету антихриста, возвратился несколько лет погодя на Москву и возобновил здесь тайную проповедь хлыстовского учения. То же самое удалось совершить и единственной дворянке из осужденных: странной единоимяннице недавно скончавшейся первой супруги Петра Авдотье Лопухиной.

Уже после исполнения казни в Ивановский монастырь явился судья по раскольничьим делам Иван Топильский для осмотра гробниц Ивана Суслова и Прокопия Лупкина. Над последним он обнаружил свежевыстроенное «честное гробовое здание»; надпись же с могильного камня первого была уже вделана в стену церковной трапезы.

Синод с Сенатом при рассмотрении вопроса о них оперлись на первую статью знаменитого «Уложения» Алексея Михайловича, гласящую: «Будет кто иноверцы, какия ни будь веры, или и русской человек, возложит хулу на Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа... да будет сыщется про то допряма, и того богохульника, обличив, казнити, зжечь». Решение было соответственное: «закопанные в московском Ивановском монастыре трупы богопротивных ересеучителей и еретиков... выкопав чрез палачей и вывезши в поле», предать костру. Но от вынесения его до исполненья прошло целых три года, в которых хлысты весьма постарались о подмене останков, подлежащих огненному уничтожению. Впрочем, доказательства в пользу достижения ими в том удачи имеют столько же вероятия, сколько доводы совершенно противные, но единственно достоверным является то, что возбудители ереси остались на воле, и потому-то уже вскорости она пережила свое подлинное Возрождение.

7

3 февраля 1745 года к новому московскому главнокомандующему генерал-аншефу Левашеву явился доноситель Иван Каин и заявил, что по сказке купеческой жены Федосьи Яковлевой на Москве открыты «богопротивных тайных сборищ согласники». Левашев незамедлительно распорядился об их поимке как в городе, так и в провинции. Второе дело вышло еще пообширней первого: хотя некоторая часть оговоренных успела бежать, осуждено по нему было всего 416 человек. И вновь рассадником чужебесия оказались монашеские обители с Ивановскою на челе...

Причем хлысты нашли теперь туда новый ход попроще, минуя трудноисполнимые уставные обеты. В них заявлялись со стороны — как, скажем, некая двоица в Екатерининскую подмосковную пустынь — мирские люди, собственным произволом надевшие чернечьи одежды, ложно называя себя постриженниками дальних мест, и потом, закравшись в доверившееся их слову стадо, тем верней распространяли свой толк внутри его и вовне.

Чередным христом Ивановского корабля сделался сын Настасьи Карповой «по духу», крестьянин села Золоторучья

Углицкого уезда с двуликим именем Андреян — представляющим помесь христианских Андрея с Адрианом. Был он, по его словам, в год допроса «лет например с 28» и, стало быть, Каину почти что ровесник. Взваливши на себя без спросу разом два подвига — юродства и безмолвия, сей пустосвят пришел на Москву, где его без труда вскоре и обратил в хлыстовскую веру «просвиряк» Чудова кремлевского монастыря Варлаам Шешков. Затем юрод Андреян Петров уже на свой кошт приобрел келью в женской Варсонофьевской обители, где успел подклонить в ересь и самое игумению. Впоследствии он еще признавался во блудном грехопадении со многими инокинями, которое имело отнюдь не просто житейский смысл...

Посланные для поимки пришли в принадлежавший теперь ему по наследству от Суслова «Новый Иерусалим» за Сухаревой башнею, но захватить юрода на Черкасском огороде не удалось; зато произведен был тщательный осмотр владения, где обнаружили здание о шести светлицах в полтора десятка окон с крепкими ставнями и железными запорами. Оно просто-таки кипело добром — немало водилось в убогих руках фарфора, хрусталя, серебряных образов в вызолоченных окладах, ковров, пуховиков, ружей с пистолетами, перемен платья и белья. В саду, подале от постороннего взора, спряталась совершенно новая деревянная церковь, никем не освященная, о трех престолах с полною утварью — за покровами на «мощи» в нее и уехал накануне обыска Андреян в Питер-град с приятелем капитаном Смурыгиным. У ворот стояла просторная людская десятиоконная изба; кроме того, на дворе оказались конюшня с исправною сбруей и прочие службы. В доме жила добрая дюжина жильцов с прислугою, а в приворотной избе еще крепостные княгини Черкасской.

Комиссия сама поместилась удобства ради в этих палатах, причем работы ей достало надолго: разбирательство превзошло в обе стороны сроки даже невиданно длинного Каинова дела — начавшись за четыре лета до него и окончившись год спустя.

Следуя хлыстовскому обыкновению хорошенько скрывать подлинные убеждения, все подсудимые поголовно вскорости же покаялись в «заблуждении», воротясь для видимости в

лоно матери-церкви и предавши ересь дружной анафеме. Андреян, правда, сперва заартачился, корча немого, разума и гласа не имущего; но кнут да дыба, как коротко сообщает известие о деле, «отверзли притворныя немыя уста его».

Осенью того ж 1745 года в Андреяновом доме прохудилась было труба. Стали искать глины для ее починки, копая из-за холодного времени прямо в приворотном строении, и тут наткнулись на полуразвалившееся тело с остатками черных волос. Все члены его распались уже по частям, мясо отстало от костей — и даже нельзя было угадать, какого оно полу. Все находившиеся под следствием совокупно отозвались совершеннейшим про то незнанием, и хотя работа явно указывала на их руки — быть может, это сохранялись до переноса в укромную церковь выкраденные с Ивановского погоста «мощи», — так до правды доведаться и не удалось, а труп безымянный спустя четыре года свезен был в Убогий дом подле храма Ивана Воина.

Но самыми страшными известиями из сохранившихся в бумагах следствия оказываются признания о жертвоприношениях живых младенцев. Заклание детей засвидетельствовано на широких просторах от купеческого наемного дома неподалеку от нас, в приходе Кира-Иоанна на Солянке, — вплоть до Переяславля Залесского; и при некоторых незначительных отменах происходило оно следующим образом.

Хлыстовский антихрист и его подопечные после радений «чинили плотское соитие, и называлось оное любовь» (причем обыкновенные браки как раз почитались скверною и всячески порицались): для исправной жертвы одержавшему их духу требовался невинный первенец мужеского полу, принесенный растленной инокиней. Его закалывали ножом «ниже горла и, разрезав брюхо, подымали грудь. Выточив кровь в кашничек, сердце клали на тарелку и потом, как со источенной из гортани крови отсякала вода, сушили кровь с сердцем порознь в печи на сквороде. Изсуша, толкли наподобие как в чесноковатике чеснок малым пестиком и то толченое сердце клали, смешав с мукою, да пекли колобки». Их раздавали на своих собраниях для хлыстовского причащения, которое запивалось водой «красной вместо укропу, куда клали тое сушеную младенческую кровь».

Глубочайше посвященным согласникам состав причастия

был известен в доточности; новоначальным же его сперва предпочитали не сообщать. Вкушение это вызывало двоякое действие. По свидетельству сознавшихся в потреблении человечины, во-первых, на них благодаря тому «приходила жалость». В сем позволительно, впрочем, сомневаться, — зато уж куда как точно второе: повязанный кровью сообщник после того «отстать от тех сборищ не может».

Одним из погубленных так было дитя Андреяна от старицы Серафимы: при убийстве сам отец держал его крепко за голову, а приведший юрода в секту Шешков колол «копейцом троегранным», кощунственно подражая принесению бескровной жертвы в православной обедне, и пел песни в честь помогающего ему духа.

Но про младенцев, как и про ископанный труп, до истинной правды не дорылись, ибо впоследствии показания участниц были либо взяты ими обратно, либо подвергнуты ученому сомнению.

Содержавшиеся в затворе колодники, кроме того, как-то странно таяли в числе, перемерев за время следствия чуть ли не наполовину. Зато Андреяна лично пользовал в тюрьме от некой хворобы нарочно присланный на то лекарь. Сам экстракт о лукавом юроде да и прочие бумаги его дела сохранились на удивление крайне скупо; лишь косвенно известна и конечная его участь — в год заключения под стражу Каина Андреян Петров был выдран кнутом и сослан в работы на строившийся в балтийском заливе Рогервик морской порт.

Первоначально общий приговор предусматривал, правда, для пятерых возглавителей сожжение в срубе; еще двадцати шести выходила просто смертная казнь, но Сенат по воле не склонной снимать долой головы с плеч Елизаветы смягчил почти всем наказание, ограничившись поркой со ссылкою.

Причем на сей раз осужденные поименованы были обще «квакерами», то есть соблазнившимися в завезенную из Британии ересь, точное имя последователей которой по-русски звучит как «трясуны» или «дрыгуны». Об участи двадцати двух высланных в Томский девичий монастырь «девок-квакерей» писал впоследствии Николай Лесков, коему достались документы, гласившие, что две из них, пробыв на поселении до полувека, пережили и самое приютившую их обитель, во все то время отличаясь выдающимся благоверием и отмен-

ным вниманием к службе. Близко знакомый с великосветским сектантством писатель на сие последнее известие и попался, ибо оно вызвало у него крайнее возмущение за погубленную даром невинность. Между тем сохранившиеся документы изуверского дела были преданы гласности почти в то же время, когда он выражал умиление прилежными «квакереями»...

Впрочем, кое-кому выпало наказание послабее — вроде того, чтобы «лежать в храме крестообразно» в течение года. А отсылке Андреяна в Рогервик многие знатоки хлыстовства и вовсе не доверяли. Но известие о встрече с ним там находится под 1755 годом в «Записках» Андрея Болотова: «Видел я тут также и славного Андреюшку, который некогда под именем «Христа» играл в Москве странную ролю и вскружил у многих господ совершенно их голову; мужичонка пакостной и ни к чему не годный, и ему вместе с «апостолами» его доставались всего чаще от солдат толчки и побои». Однако, пишет он рядом же о колодниках, сосланных на сооружение Балтийского порта, «выдумки, хитрости и пронырства их так велики, что на все строгости несмотря, находят они средства уходить как из острога, так и во время работы, и редкий месяц проходит без проказы...».

В отношении юрода Андреяна подобный исход почитается вероятным наивеличайше, — но прежде сего лжехриста ожидала непременная встреча со своим настоящим Иудою —

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ОБОРОТЕНЬ

1

СВАДЬБА КАИНОВА

«Близ моей квартиры, когда я еще не был сыщиком, жил отставной сержант, который имел у себя дочь Арину Ивановну; по тому соседству тот сержант знаком мне был, почему я с дочерью его захотел жить еще ближе. Между тем подарил ей несколько подарков, за что попросил у ней нечего, — токмо оного от нее получить не мог, кроме как обходились на одних разговорах. Она спрашивала у меня: какой я человек?

— Купец, — сказал я ей, —
где что ни увижу, то куплю,
а ежели увижу дешевое, то и ночь не сплю.

По прошествии же несколько времени, как я сделался сыщиком, то не оставил прежнего своего намерения: сведав, что она охоту имеет идти замуж, пришед к ней, говорил, чтоб, кроме меня, ни за кого не ходила.

Чего она не токмо получить, но и слышать не хотела
и мне о том думать не велела.

Не умея сыскать более к тому способу, научил в Сыскном приказе содержавшегося воровских денег мастера Андрея Скоробогатого при допросе его в знании того их воровства оговорить ее, —
почему она взята в тот приказ была,
где по приводе под жестоким битьем плетьми спрашивана,
однако по правости своей ничего на себя показать не могла.

После чего я к ней прислал женщину сказать: ежели пойдет за меня замуж, то в то ж время освобождена на волю будет. Сказала она той женщине, чтоб я на то вовсе надежды не имел... А дело ее нечем было разобрать, кроме одной пытки; чему она уведомясь, прислала по меня, — а я и был рад, тот же час пришел к ней и тогда услышал, что уже за меня замуж идти желает. Почему я просил присутствующих, чтоб

до дальнего дела ее не доводить, а наказать кнутом и выпустить на волю, потому что

сколоченая посуда два века живет.

Что в скором времени ей и учинено. После чего я взял ее на свою расписку, отдал для излечения одной просвирне; а как пришла в прежнее здоровье, то назначил день жениться.

Когда пришло уже время, то с ней для венчания пошел я в церковь Варвары-мученицы и по приходе ожидал того приходу попа; которой не мешкав пришел и по признании венечной моей памяти фальшивою — которую я написал сам в своей квартире, — из церкви обратно в дом свой тот поп пошел. А мне по множеству тогда случившегося в церкви народу без того выйти было стыдно. Послал для сыску идущего по улице какого-нибудь попа, которой в то ж время командою моей идущий пьяный по улице взят и приведен в церковь был. Говорил я ему: для чего он идучи по улице и в пьяном образе песни пел, за что отослан будет в духовную консисторию; а ежели хочет быть отпущен, то б за небытием того прихода попа обвенчал нас.

Он без сумнения на то и согласился, причем, венчая, начал кричать что есть силы и не так, как прочие попы — обводят вокруг венчального стола только три раза, — оный обвел восемь раз. Я ему говорил: что так с прибавкою против других вокруг нас водить?

На что он сказал, что-де доле станешь жить.

По окончании пошли из церкви в дом; тогда и поп тот в дом ко мне взят был с одною только свахою, и, за неимением в тогдашнее время гостей, они за стол посажены были. Поп сделался чрезвычайно пьян, выведен был из покоев вон, где заплатил ему за труды один рубль и потом завязал руки назад; повесив на шею две бутылки с простым вином, за пазуху положил живую курицу и при том подписал у него на спине:

ежели он из оных бутылок вино выпьет,
то и развязан будет, —
и с тем столкал его с двора,
чтобы знал впредь меня.

По прошествии после оного несколько времени оный поп попал мне встречу, который, увидя и признав меня, поднял

свою рясу выше головы и, бросясь в сторону, бежал, думая, что я всякой день венчаться буду...

На другой день приказано от меня было идущих мимо моей квартиры купцов брать и вести в мой дом, которых было тогда собрано до сорока человек, и все они стояли на дворе моем. Велел я жене моей посыпать мешок гороху и, взяв ее, к тем купцам вышел. Каждому насыпавши гороху на тарелку, подчивал их вместо овощей, за что со всякого несколько денег в подарок получил».

2

— Хват! — обронил по выслушании свадебной сказки Лёвшин, трудясь смазать дурное воздействие выкликнутого в сердцах чертыханья. — Но погляди, ведь и тут бабий народ успел отдать тебе месть, неколико погодя. Ин не краше ли б было с ним вовсе не цацкаться?

— Ваша правда, ваше и благородие, — тоже и Ванька сделал вид, будто не придал значенья невместной дворянской горячности и погрузился вместо того в воспоминания о своем свивавшемся долгим тщанием гнезде, разметанном теперь дочиста: дом его в Китае-городе вскоре по забраньи хозяина в кутузку отошел Канцелярии конфискации, которая продала его с публичного торгу в пользу казны. Да и у самого «благородия» середи бумаг хранился отдельный список с описи, произведенной при отобрании Каинова жилища.

Дом стоял на церковной земле дьякона того самого Варваринского на Варварском крестце храма, где венчан был Ванька, и состоял он из двух светлиц на улицу с каморкою. В одной светлице о четырех окнах печь с уступами украшена зелеными изразцами, потолок штукатурный, пол выстлан каменною лещадью. В другой печь кирпичная, потолок с полом уже дощатые. Между светлицами бревенчатые с двумя же чуланами сени. Все строение крыто тесом. На дворе сверх того блинная изба и конюшня, да еще особая изба с чуланами.

В доме содержались благолепно иконы в вызолоченных ризах; в спальне в киоте стоял чтимый образ Иоанна Милостивого с серебряными гривенками и убрусом, низанным жемчугом с дорогими каменьями. На обитых травчатою

клеенкой стенах висели в рамах зеркала, печатные картины и портрет Петра I; вдоль них стояли обитые черным трипом стулья. Пара дубовых столов покрыта была персидскими коврами. Вдосталь хранилось посуды оловянной и фарфоровой — одних тарелок восемьнадесять дюжин! В кладовой среди прочего запасы «сахару канарского и чаю жулярского».

Жена имела в заводе юбки и балахоны тафтяные, объяренные, душегрейки гарнитуровые с городками серебряными и золотным позументом. Сам же Ванька щеголял у себя в суконном сюртуке то макового цвета, а то зеленого, в туфлях гризетовых, шитых серебряной нитью. Сундуки полнились золотыми и серебряными изделиями — стопами, подносами, чайниками, часами карманными, серьгами и прочим добром...

— Что ни нажил, все прожил, — совершив мысленный обход утраченного, заключил по справедливости Каин. — Но и погулял же вдосталь!

И пустился вспоминать далее вслух тот самый счастливый свой век, когда, скинувшись двуликим оборотнем, он превратил в площадь для собственных скоморошин всю Москву-матушку...

3

— В том же году на Масленице сделал близ Мытного двора для катания гору, которая была украшена елками, болванами и красным сукном, и всю неделю происходили от множества народу всякие забавы. На последний день собрал я до тридцати человек комедиантов, велел им представить на той горе о царе Соломоне игру, при чем были два шута; между прочим у того царя нарочно украдены деньги, с коими пойман суконщик, которой мною для этого нанят был. По приводе его к царю осужден он был за ту кражу к наказанию, для чего собрано до двух сот человек и поставлены в строй, каждому дано по метле. Раздев того суконщика, надели на него деревенскую шапку, на шею галстуг, на руки большие рукавицы, к спине привязали маленького медведя, пустили тем строем с конца до конца горы, при том били в барабан. За майора правил суконщик Волк, которой ездил на лошади и тех стоящих в строю принуждал. Реченный су-

концщик ходил взад и вперед шесть раз, избит весь был до крови, за что взял с меня один рубль денег за шубу новую...

4

В ту же масленичную забаву с переодеванием, даровым балагурством и беспотребною удалью он обратил и свое ремесло доносителя, которое по обычной человеческой удобопреклонности из средства борьбы с преступностью слилось с нею самой, о чем Ванька, разогретый вином, повествовал теперь с живейшей веселостию истории одна за другою:

— Торгующий в Епанечном ряду приписной к Петровскому монастырю посадской человек, пришед ко мне, просил об избавлении своего сына, которой пойман был оного монастыря управителем для отдачи в рекруты, — чтобы не допускать до отдачи и отнять у того управителя. Почему в тот же день ко оному в дом приехал и стал требовать того рекрута, которой добровольно отдать мне не захотел, отчего тогда в покоях у него пошевелились. Между тем приказал я подать усмотренную мною на дворе его с дегтем бочку; посадя управителя на коленки, тем дегтем окатил и сказал ему:
я и других в такие ж старцы постригал,
кто так же с нами нечестно поступал;
простак твой архимандрит,
давно надлежало тебе старцом быть, —
а теперь оного рекрута мне отдай,
и ежели таковых же ловить будешь, то и впредь меня к себе ожидай!

Взяв того человека, отправил к отцу его, с которого и получил за то несколько рублей денег.

5

— Из Санктпетербурга компанейщика Замятина служители два человека, покрав, бежали в Москву. Один пойман был и содержан в Корчемной конторе под караулом, а другой, пришед ко мне, просил, чтоб я к свободе оного сделал способ, за что обещал дать мне триста рублев. Я, взяв с собой несколько своей команды, в реченную контору приехал, где застал подъячего сонного, — за что его, что будучи в конто-

ре он спит, попугал, сек плетьми. А того содержащегося и с находящимся в конторе на карауле часовым взял с собой, привез на Царицынский луг на конную площадь, где в кузнице имеющуюся на нем цепь и кандалы велел сбить и надеть на того караульного солдата, и с тем его обратно послал в Корчемную контору. А реченного Замятина служителя взял с собой, за что обещанные мне деньги с них получил.

6

— Пришел я в питейный дом, где усмотрел Санктпетербургского полку с писарем Советовым старицу, которые пили напитки. Оной Советов напред сего жительство имел близ моей квартиры и по тому знакомству поднес мне из своих напитков рюмку, и при том сговаривался со мной, чтоб я в том их не осудил, на что я им сказал, чтоб жили посмирняе:
ты, госпожа монахиня,
пошла по матери, —
из чего видно, что в тебе будет путь!

И так оставя их, пошел из погреба вон. После того чрез несколько времени попалась та старица встречу в Преображенском селе Страшного монастыря конюхам, которые, взяв ее, привели в консисторию; где при допросе показала, что она Страшного монастыря старица, из коего Советов ее сманил и из Москвы за семь верст в селе Черкизове обвенчался. После допросу отослана была к содержанию под начал в Вознесенский монастырь. А он, Советов, потребован в консисторию для ответа; почему, пришед ко мне, просил, чтоб я в том ему сделал способ, за что обещал дать сто рублев. Я, не хотя просьбы его оставить, на другой день надел на себя офицерское платье, взял с собой несколько своей команды солдат и случившегося в доме моем для игры знакомого сержанта Ногавицына, подъехали к Вознесенскому монастырю. Где от приезжих господских колясок нельзя было при взятье старицы проехать, и я научил сержанта те коляски отогнать, которые он якобы для приезду графа Шувалова от ворот монастырских и отогнал. Взошли в монастырь, поставя для осторожности в потаенном месте команды своей солдат, а с прочими пришел к игуменье в кельи. Говорил ей: госпожа игуменья, что ты долго спишь?

а у тебя в головах холст,
токмо не очень толст, —
сиречь на подушках лежит.

При том объявил, что я прислан для взятья в Тайную содержащуюся в вашем монастыре старицу Ксенофонтию, кою игуменья взять мне и приказала.

Тогда я не мешкав оную взял; посадя в сани, говорил при том:
полетел коршун за море —
то есть увезли!

Привез к мужу ее в квартиру, за что обещанные мне деньги с него я получил и потом ему сказал: ежели и впредь в другой старице будет тебе нужда, то я служить буду.

7

— Привезена была на Гостиной двор в возах рыба, из коих в одном возу найдена таможенными сторожами бочка с вином и взята под караул. Хозяин той рыбы, пришед ко мне, просил: как оное вино и с ним его работник в Корчемную контору посланы будут, то б к отбитию их на дороге постарался. В то ж время послал знакомого солдата и с ним суконщиков, называемых Волк, Баран, Монах, Тулья, коим приказал в силе просьбы означенного рыбака сделать. Которые, предупредя то везенное вино, дождались, как с ним ехали по Москве-реке и, забежав, остановили лошадь. Реченный солдат ухватил работника, которой взят был с вином, за ворот и говорил ему:
ты в солдаты меня отдал,
а теперь сам мне попал!

А суконщики вклепались в его лошадь, назвав ее своею, якобы она у них украдена. Чего для́ бывших при том вине караульных перевязали; посадя в сани, где вино стояло, выпрягли лошадь и, оставя их одних, уехали, — за что от реченного хозяина получил плату...

8

Вдавшись целиком в воспоминательную радость о былых похождениях, Каин нечаянно или с намерением упустил показать об источнике своей безнаказанности; но Федор Фомич

знал о ней доточно, и потому его-то сия бесшабашность, для другого кого чрезвычайно странная, нисколько не дивила. Дело в том, что оборотистый пролаз-доноситель загодя еще докумекал, как оборонить себя от всяких посягательств со стороны обидимых им лиц. Сентября 25-го числа 1744 года явился Ванька в Сенате и заявил: «Он, Каин, в поимке воров и разбойников крайнейшее всегда старание прилагает и впредь иметь будет, и о таковых злодеях, где они жительство и пристань в Москве и в других местах имеют, проведывает он чрез таковых же воров и с ними знакомство имеет, и для того он, Каин, с ними принужден знаться, под видом, дабы они в том от него потаены не были, — а не имея с ними такого обхождения, злодеев таковых сыскивать не возможно. При том он, Каин, опасение имеет, что когда те злодеи по поимке где будут на него о чем показывать, не приведен бы был по оговорам их к каковому истязанию».

Сенат на удочку эту клюнул и объявил Ваньке в ответ, чтоб тот продолжал свои чрезвычайно полезные поиски безо всякого опаса, а ежели кто и пожалуется на него, «то оное показание за истинное принято не будет», о чем и послана была в Сыскной приказ нарочная бумага. Спустя несколько месяцев в подкрепление ей выдана еще и «инструкция» с прописанием обязанности любого чина и достоинства людям Каину всячески помогать и содействовать, а коли кто доносителю по его требованию вспоможения не учинит, тут уже таковые, «яко преступники, жестоко истязаны будут».

9

Вот так защищенный самим Сенатом от покушений на собственную личность Каин и стал править на Москве свой макар, обладая для подтверждения слова послушной воинскою командой. Кроме нее, полк его составляли и вольнонаемные людишки, по большей части боевитые суконщики, — так что подступиться к сыщику стало вовсе не просто. Например, когда начальство существовавшей тогда у Матросской Тишины парусной фабрики Адмиралтейства спознало, что он кроет у себя беглых работников, то послало было сперва ему вызов к допросу. Ванька на таковой пустяк даже

не почел справедливым откликнуться, и разгневанное начальство отрядило солдат в Зарядье, чтобы захватить Каина на дому — да привести силком. Но посланные во главе воинства подканцелярист с капралом воротились с пустыми руками изрядно помятые, причем донесли следующее: застав хозяина, они прочли ему указ и уже повели было в свою контору, — однако, как скоро отошли от двора всего сажень с пять, Каин, сброся с себя сюртук да шляпу, вырвался и ушел, а бежав, кричал незнаемо каким людям: «Дай дубья!» По этому зову налетело человек с двадцать в серых кафтанах и ну тузить пришлецов смертным боем: двум служивым даже нешуточно проломили дубинами головы, — а Ваньку отбили и с ним исчезли.

Поданная возмущенным ведомством жалоба на самочиние Каиново навсегда затерялась в подспудном лабиринте приказных ходов...

10

Потому-то он и продолжал шутовски козводействовать где с блеском, а где и с треском. Так, в 1747 году перед самым Рождеством Каин пришел в гости к знакомому приказчику на струг, стоявший в Москва-реке, а тот при прощанье возьми и укажи на проходившего в соседнюю барку купца Клепикова: вот-де овощ каков — в худом платье ходит, а богат; денег более пяти тысяч, да, кроме пива, ничего не пьет!

Тут Ванька и замыслил опоить его пивом с дурманом, чтобы верней и красивее обобрать. Но сперва он с двумя приятелями решил испробовать зелье на себе: закупили кувшин, полведра пива в погребке и на дому у Каина, засыпав в пиво дурману с фунт, замазали горлышко кувшина тестом и поставили в печь бродить. Когда снадобье, по их соображению, уже доспело, раскупорили его и выпили каждый по стакану. Действия оно не оказало никакого — все остались при своей памяти. Купили еще четверть пивную и вылили в нее оставшейся закваски. Приятели Ванькины приняли по три стакана и разошлись, а вечером того же дня один привел другого обратно в Каинов дом «в безумии», да и сам едва

что доплелся. Утром же они, проспавшись, встали совершенно здоровые.

Между тем следовало поторапливаться, ибо купчина собирался уже отчаливать восвояси, а случай угостить его кудесным питьем все не выпадал. Тогда Каин избрал решение куда проще. Когда в воскресенье хозяин струга отправился с женою к обедне на ту сторону реки, в церковь Георгия в Ендове, товарищи Каиновы середи бела дня подлетели к его судну на санях с ломом и топорами, а сам Ванька наблюдал за ними издали в Dранишном ряду. Постучали в двери, откликнувшемуся работнику сказали, что-де письмо привезли из Орла, — да как только он приотворил, бросили в глаза золы с солью, повалили под лавку и гойда разламывать сундуки...

Но сейчас переметчивый доноситель удобства ради изрядно сократил эту повесть, и Лёвшин внес в свою запись только общую сумму награбленного: 1700 рублев, — остальное решив пополнить опять-таки позже из доступных бумаг следствия. Между тем Каин все множил цепь своих похождений, нанизывая одну небывалую бывальщину на другую без остановки —

11

— Кружевного ряду купец, пришед ко мне, сказал, что он отправил из Москвы в Калугу неявленные товары, которые, будучи в дороге на заставе, что близ Донского монастыря, взяты под караул, — и просил, чтоб я как возможно приложил свое старание те товары ему по-прежнему возвратить. В тот же день собрав я несколько своей команды, на ту заставу приехал, где по приезде имеющихся на карауле солдат перевязали; и те взятые ими товары, отобрав, привезли к хозяину, за что получил себе несколько денег.

12

— Некоторое время спустя, Кружевного ж ряду купец, пришед ко мне, объявил, что близ Немецкой слободы тянут заповедное серебро и золото. Я, взяв его, в дом, где те мастера жительство имели, ночью приехал, — токмо в покой

взойтить было не можно, ибо двери были заперты. Я приказал команды своей называемому Волку влезть на чердак в слуховое окно; и как он полез, то живущий немец, услыша, схватил его за волосы и в той драке откусил Волку ухо. А мы, взяв бревно, двери вышибли вон и, вбежав в покой, забрали тот инструмент, коим они делали серебро, без остатку и со двора пошли.

Близ же дому жительствовавший некоторый зажиточный господин в то время случился быть на галерее и, услыша происходящий от нас шум, кричал своим служителям. Однако в скором времени они того слышать не могли, — а мы, схватя его и положа в сани, из слободы поехали; будучи на Гороховом поле, одну его ногу разули, и по случившемуся тогда великому морозу он на дороге, подогнув под себя разутую ногу, сел, — а мы, оставя его в том месте, уехали. Тот же инструмент отдал я показанному купцу, за которой с него взял 300 рублев.

13

— В Троицын день с березкой на живом мосту Москвы-реки для гуляния было множественное число народу, при чем случился быть компанейщик Григорий Колобов, у которого из партии моей в то время пошевелили в кармане на двадцать тысяч рублев протестованных векселей. Тогда оной Колобов, пришед ко мне, просил меня, чтоб я как можно оные векселя постарался отыскать, за что обещал дать мне плату. Кои чрез три дня я сыскал и, взяв их, пришед ночью на его, Колобова, двор, взошел тайно на чердак, положил векселя за прибитую на стене картину
и возвратился обратно в свою квартиру.

На другой день реченный Колобов на дороге попал мне встречу и спрашивал об векселях. Коему я сказал, что уж векселя те в его доме, почему просил он меня к себе. И как пришли, то в то ж время случился в тех же покоях малолетний его сын; я его отозвав, шепнул на ухо, чтоб сходил на чердак и взял за картиною запечатанные письма, — который, взяв векселя, вшед к нам, положил на стол.
Что видя, купец весьма тому рад был
и, благодаря меня, спросил:
сколько мне за то денег надобно?

Я сказал, что в попах не был, токмо обыкновение их знаю:
что им дадут,
то они и берут.

Компанейщица внесла мешок с деньгами, в котором было двести рублев, и сказала, чтоб я из оных за свое старание сколько надлежит взял. Я спросил: много ли в их доме людей? Сказала она — человек шестнадцать; почему я из тех денег на каждого по рублю отложил, а достальное взяв к себе, пошел в свою квартиру.

14

— Купец Бабкин, пришед ко мне, объявил, что покрадено у него из кладовой денег 4700 рублев, и просил меня, чтоб я об отыскании оных постарался. О коих я сведал, что покрадены плотником, которой в доме у него в кладовой делал дверь. За то давал мне тот купец Бабкин пятьдесят рублев, токмо я не взял, — а объявил про то в Сыскном приказе, в которой он Бабкин был послан, где поговорил с присутствующими и секретарями посмирняе, и со мною против прежнего получше.

15

— Команды моей солдат ходил по знакомству одного купца к жене его, и оной купец, будучи пьяной, солдата у себя в доме зарезал. Тогда ж, прибежав в мою квартиру, жена объявила о том мне. Потому я пришел к ним, токмо купца в доме не застал, потому что он, зарезав солдата, бежал, а реченный зарезанный солдат, коего я застал еще жива, просил меня на убийце того не искать. Однако по сыску моему чрез неделю приведен в Сыскной приказ, где в немшоной бане его взвесили, а после по просьбе моей обратно выпущен он на волю.

16

...Поправляя выгоревшую уже на целых две трети свечу, Лёвшин опять-таки нисколько не дивовался могутной силе Каинова прошения. Как гласил еще первый «экстракт» о

Ванькиных винах, поданный самой императрице генералом Алексеем Татищевым, подкуп приказных душ был одной из обычных трудовых затрат доносителя. Секретари и протоколист Сыскного приказа «почасту говаривали ему, Каину, чтоб он позвал их в питейный погреб и поил ренским, которых-де он и паивал и издерживал на то по рублю и больше; за то, когда на него, Каина, произойдет в том приказе какая в чем жалоба, чтоб они ему в том помогали и с теми людьми, не допуская в дальное следствие, мирили, что́-де и самым делом бывало неоднократно, и сверх того даривал их шапками, платками, перчатками и шляпами и к Вербному воскресенью раскрашенными вербами, а протоколисту и сукна на камзол, да жене его бархату черного аршин, до объяри на балахон и на юпку, да 3 или 4 платка италиянских». Судья Афанасий Сытин, который наперекор своему фамильному прозвищу обладал самою ненасытной алчностью, постоянно выговаривал Каину, что тот недостаточно доводит к нему воров и оттого на судейском столе маловато сахару с чаем. Каину пришлось удовольствовать его из собственных средств, но, когда он, желая уклониться от дальнейших поборов, перестал посещать судью-скареда, тот взял да и свел с постоя Ванькину партию солдат, и лишившийся воинства сыщик вынужден был явиться в гостиной Сытина с повинной и новою мздою.

17

Расход такого сорта Каин возмещал столь же постоянным доходом от недоносительства. Когда весною по вскрытии рек на Москву из низовых поволжских городов являлись струги с хлебом и прочим товаром, то Ванька, отъехавши за несколько верст, останавливал их и пересматривал виды на жительство у бурлаков, в числе которых нахаживал множество беглых с воровскими паспортами. За свое о том одно лишь молчание он собирал с хозяев и беспаспортных бродяг налог подарками, и источник этот никогда не иссякал, как не переводились на Святой Руси переброжие люди.

Тем же путем спасались «от чиненья турбации» и приезжие из Малороссии маркитанты, коих Каин устращивал обычно на червонец и после уж не «турбанивал».

18

Однако все-таки некоторые проделки доводили его до тычков; как-то он был даже дран хорошенько плетьми, но, выдав с головою сообщников, которые отправились прямиком «с вырезанием ноздрей» в Сибирь, опять-таки сам уцелел на прежнем основании. А в 1748 году он продал даже первого своего наставника в шильничестве беглого матроса Петра Камчатку. Тот подвизался теперь как мелкий коробейник и, будучи ненадолго в Москве, пошел было к престольному празднику в Новоспасский монастырь. На Балчуге у моста попался Камчатке навстречу бывший ученик, взял запросто да и отвел в Сыскной приказ. А там, после обычных допросов при пытке, его приговорили к порке кнутом и последующей ссылке в Оренбург «в вечную работу».

19

Каинское распутство наконец возмутило как будто саму судьбу: как воплощение царящего безобразия весной 1748 года по городу засквозили слухи о грядущих мятежах, явились подметные письма с угрозами поджога и вскоре действительно начались повальные пожары. Сперва занялось у церкви Всех Святых на Кулишках и добрело аж до Андроньева монастыря — погибло четвертьста храмов, дюжина сотен домов, сто душ сгорели заживо, и вся улица Покровка по правую сторону была сметена пламенем подчистую. Но это был только зачин. Через две недели полыхнуло в Немецкой слободе и соседственном с нею селе Покровском: спалены были рынки, харчевни, мельницы, торговые лавки с шалашами, три кабака, одиннадцать пивоварен... На следующий день новый пожар пожрал дома от Зачатейского монастыря до самой Москва-реки. А назавтра снова, от Красных ворот в Земляном городе двинулось ко Кремлю и уничтожило Покровскую улицу теперь уже всю. В этих гарях пропало общим числом пять тысяч человек и почти две тысячи зданий. Толпы бездомных и обнищавших выкатились на площади; оставшиеся в живых в панике выбирались из города со всем имуществом и ночевали в поле. В самом Петербурге из

опасения расставили гвардейские караулы; в Москву ввели войско и прислали генерал-майора Федора Ушакова с особой комиссией по пожарам. Действовала она три месяца и цели своей в усмирении смятенья достигла; но другим, незаметным снаружи итогом ее работы оказалось созревшее потихоньку падение Ваньки Каина.

20

Однако впрямую погубили его воистину женки, к которым вор-сыщик имел сугубую страсть. В доме солдатки Федосьи Савельевой он спознакомился с пятнадцатилетнею Аграфеной, дочкой солдата Коломенского полка Федора Тарасова прозваньем Зевакина, подносил лакомства с вином, хотя до срока и не сумел добиться взаимности. Но в конце концов в январе 1749 года он свел девицу с другою своей бывшей полюбовницею Авдотьей Степановой, которая лакомую Грушу все-таки сманила, и она с Каином бежала.

Только солдат Зевакин отнюдь не собирался зевать: он подослал двух знакомых кумушек к Ванькиной жене, которая и проговорилась им, что-де как будто муж куда-то увез солдатскую дочерь от Никитских ворот. Куда именно, подсказала работница: местом тем было село Павилино. И тогда Тарасов объявил в полиции о бегстве дочки, назвав похитителем Каина.

На беду его, о ту пору как раз прибыл на Москву из Петербурга сам генерал-полицийместер Татищев. Он без дальних слов велел посадить Ваньку в погреб, кормить мало и никого к нему не допускать. Тут уже оказались бессильными все старые связи...

Каин с отчаянья попробовал самое первое еще свое средство: крикнул СЛОВО И ДЕЛО! Будучи доставлен тотчас в контору Тайной канцелярии, он на допросе сознался, что «по первому пункту» нет за ним ничегошеньки, а закричал он со страха помереть в сыром погребу от изнурения. Согласно принятому в Тайной порядку определено тогда было «за ложное сказывание СЛОВА И ДЕЛА Каина бить нещадно плетьми и, по учинении наказанья, для следования и решения в показанных на него из Полицийместерской канцелярии воровствах отослать опять туда же».

21

По возвращении в полицию он попал вновь под строжайший караул. Но теперь Ванька нашел-таки выход гораздо хитрей, заявив нежданно, что «о всем покажет самую истину». К допросу приступили в тот же день, — а окончания его ждать привелось долгие годы. Каин стал рассказывать бывшее и небывшее, даже такое, чему, кроме него самого, заведомо не было более свидетелей, очернив поголовно всех чиновников Сыскного приказа, да еще множество из полиции, Сенатской конторы и Раскольничьей комиссии. Ежедневно Каин каялся — недаром глагол сей, по преданию, ведет свой корень именно от Каинова имени, но только того, первого Адамова сына, — и ежеден по его сказкам брали под замок и влекли в тюрьму новых и новых оговоренных и заподозренных. Татищеву пришлось в итоге подать императрице донесение, что по множеству поименованных Каином вин «в настоящих полицейских делах учинилась остановка» и, чтобы полиция могла заниматься еще чем-то помимо Ванькиной персоны, решено было учредить по ней нарочитую комиссию.

Но и когда следствие отошло целиком к ней, служащие приказов принуждены были ходить к лукавому колоднику на поклон да просить у него свидетельства, что он за ними лично «никаких подозрениев не имеет — дабы им, не будучи при делах, не помереть с домашними гладом». Состав самой комиссии неоднократно менялся, к началу 1752 года шел уже третичный розыск, и посаженных за решетку приходилось за недостатком узилищ отпускать на поруки. А в добавление к невероятному числу дел одновременно столь же сложную сеть принуждена была расплетать и другая особ-комиссия — об Андреюшке и хлыстах.

И вот, только теперь, в январе 1756-го, Юстиц-коллегия подтвердила приговор о колесовании, а в феврале вышел и окончательный указ Сената, о котором Лёвшин уже знал, а Каин по всей вероятности — нет...

22

Впрочем, Лёвшин существенно недооценил Ванькину сметливость. Погрузясь теперь в довольные размышления о собственных глубоких познаньях в его деяниях, он позабыл слу-

шать самого их героя, а тот и затих, приканчивая молча красоулю. Когда же она булькнула напоследок отменно гулко, Федор Фомич очнулся: Ванька глядел на него в упор совсем тверезыми глазами, откровенно изучая.

Лёвшин тогда решил было запросто сбить его с толку.

— Скажи-ка, молодец, а что это ты позабыл про спущенную Ивановскую старицу помянуть? Вон ведь тут в «экстракте» генеральском черным по белому: «При взятии из Ивановского монастыря в раскольническую комиссию стариц, кои явились в расколе, одну старуху, а имя не показано, он, Каин, отпустил, а как-де в отпуске той старухи взят был и держан под караулом, тогда, по свободе пришед той комиссии к секретарю Ивану Шаврову, подарил платком италиянским и просил, чтоб он его к сыску той старухи не принуждал, а после того в разные времена переслал к нему ренского рубли на три, и оной старухи от него не требовано». Что ты про сие молвишь?

23

И тут Лёвшину суждено было пережить одно мгновение жути. Вместо униженного смертника перед ним предстал Иван Каин во всей своей прежней бесовской силе и неожиданно сам потребовал ответа, заявив:

— Про нее, благодетель, лучше уж ты мне скажи!

Федор Фомич, только заглянув в каинские глаза, тотчас же убедился без слов, что Ванька взаправду валял перед ним Ваньку, а покуда дворянин распускался, он усиленно соображал об истинной цели его посещений и сейчас, несомненно, ее угадал, раздевши закутанное столь тщательно намерение донага. Лёвшин и на деле как будто почувствовал себя голым, по крайней мере, мурашки холода явственно пошевелились по его телу снизу доверху, — но он все же сумел найтись и снова взять разговор под свой начал.

— Ишь, разбойник благоразумный! — ухмыльнулся дворянин, на что Ванька сразу откликнулся продолжением того же великочетвергового светильна:

— А ты просвети. И спаси...

— Ладно, твоя правда, — сдался Лёвшин, не переча

больше быстроте взаимного объяснения. — Тогда давай начистоту. Матушка пророчица, которую ты недаром выпустил, присылает меня сказать: на кругу к ней был Голос, и она выкрикнула... что теперь это ты...

— Кто я?

— Бог.

— ???

— Андреюшка на поверку оказался невегласен и слаб. У прочих нет твоего размаху. И славы. Всю сию повесть мы претворим житием — и при живом, как у Аввакума-распопа. Бог нам потребен именно таков, какой ты, — но только с одной отменой. Неотменною...

— А что так мешает?

— Естество мужеское. Сам видал, что через него одна пагуба. Так что... скопись — и ты свободен.

— Чтооооо!!!

— Коли нет — поминай как звали. Времена сокращаются...

— А-а! Я Каин, я окаянный, — так вы меня своими ж руками вон на что пхаете... Ну нет, я и покаяться тоже могу. Сторонись, благородие: СЛОВО И ДЕЛО! СЛОВО И ДЕЛО!!!

24

— Теперь слова и дела твои кончены, — бросил ему, пятясь быстро, Лёвшин и споро выюркнул вон, плотно заключив за собою дверь каморы. Далее он пошел уже медленней, а позади все не замирали бессильные вопли бывшего доносителя, к которым после всего им содеянного и наговоренного никто более не желал прислушиваться. Кроме тех, от лица кого Федор Фомич делал Каину предложение, — а тот поспешил опрометчиво откреститься.

Взворотясь к себе в палату, Лёвшин не стал долго горевать о Ванькином отказе, ибо в отличие от пророчицы все же побаивался громоздить Каина на Спасителево место. Но из бумаг следствия и Ванькиных прибауток он действительно сочинил завлекательнейшую «Историю», которой суждено было сделаться в различных изводах самой читаемой русской книгою восемнадцатого столетия. Завершил он ее

сперва дословной выписью из окончательного приговора, смягченного императрицей — свое слово не казнить до смерти облекавшей делами: «Наконец в совершенном исследовании, вычесана спина его кнутом, поставлены на лбу и на обеих щеках обыкновенные сим людям литеры и, вырвавши ноздри, сослан он в каторжную работу в Рогервик, что ныне зовется Балтийский порт». А затем, представив, как бы сам Каин сказал об этом своим скоморошечьим слогом, дописал:

«то есть на холодные воды,
от Москвы за семь верст с походом».

И, тыкнувши точку, фамилью свою казать под ней уклонился, а попросту умыл руки —

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

УМОВЕНИЕ НОГ

1

Бес проклятый дело нам затеял,
Мысль картежну в сердца наши всеял;
Ту распространяйте,
Руки простирайте,
С радостным плеском кричите: рест!

Двери в трактирах Бахус отворяет,
Полны чаши пуншем наливает,
Тем дается радость,
Льется в уста сладость,
Дайте нам карты — здесь олухи есть!

Стенька Разин и Сенной Гаврюшка,
Ванька Каин и лжехрист Андрюшка, —
Хоть дела их славны
И сколько ни срамны, —
Прах против наших картежных дел...

2

— Это начало песни завзятых картежников, которую, по преданию, исполняли впервые в осьмнадцатом веке на нравоучительном масленичном шествии «Торжество Минервы». Шло оно из Немецкой слободы сюда на Покровку и состоялось ровно двадцать лет спустя после масленичной же игры, затеянной Ванькою Каином в 1743 году. Создателями действа были Херасков, Сумароков и «первый российский актер» Федор Волков, которому машкерад сей стоил самой жизни: простудившись во время его руководительства, он слег и вскоре умер от «гнилой горячки», приведшей за собою об руку еще и «антонов огонь».

Со Стенькой же Разиным Каин надолго связался в устной народной словесности, превратившей его в верного есаула волжского атамана; как недаром и вся песень сия, попавшая

затем в печатный сборник Чулкова-Новикова, сопровождена там пометкою, что исполнять ее следует не на собственную мелодию — каковая вообще отсутствует, — а на голос франкмасонской песни «Образ Диев, стены Вавилонски...». Тут взаправду имеются весьма красноречивые связи, о которых стоит поговорить особо, но теперь уж в другой раз: пусть нынешнему дню довлеет злоба его. Одно лишь здесь неверно — что Каиновы деяния поставлены ростом ниже шулерских. А ведь и он мастерски играл крапленой колодой, подтасовывая и передергивая, только с самою судьбой, да и куда более рисковую партию, на кону которой стояла не одна человеческая душа; и как знать, быть может, вся его шильническая затея несет вполне прообразовательное значение даже до сего дня...

Так заключил исторический поводырь свою живую летопись и перевернул кверху ногами заповедную карточку, запись на коей все-таки подошла, по всей видимости, к полному завершению.

Ваня-Володя, подобравшись тесней, взглянул пытливо под нее — оборотная сторона, которая до сей поры служила как будто лицевой, была совершенно чиста. Тогда он, не утерпев и пропуская мимо ушей ответы ведуна на вялые вопросы его утомленных спутниц, подкрался бочком и, исхитрясь, зыркнул уже из-за спины через плечо: бывший реверс, а нынче перёд также праздновал полную девственную пустоту.

3

Его наконец взорвало. Вылезши в первый ряд и оставя всякую стеснительность, он с лету перебил кропотливо выбиравшую слова для некой законнической поправки тетку и брякнул напрямик:

— Скажите на милость — я вот слушал это как человек сторонний, но ведь вы же и сами чужих приглашали, верно? — так вот, а зачем весь этот труд вообще затевается? Чего ради день-деньской — и, наверное, не впервой же, — эдакие дела расписывать?!

— Чтобы их знать, — преспокойно отразил его отчаянное нападенье умственный Иван Сусанин, видимо давно готовый к подобного разбора придиркам.

— А чтобы жить — у вас не находится сведений? — в сердцах выложил главную свою боль Ваня-Володя.

— Чтобы так-таки жить? — отрешенно переспросил вселенский знаток, давая себе отсрочку, дабы перелистнуть в голове на потребную букву алфавит внутренней энциклопедии. — «Чтобы жить: у вас, молодой человек, имеется голова, которая вопреки распространенному предрассудку есть нечто весьма отличное от чудовищно разросшегося верхнего позвонка».

4

Далее обсуждать с ним стало уже нечего, и Ваня-Володя, не прощаясь, окончательно и вчистую покинул среду образовательного кружка, мысленный путь внутри которого, словно измываясь, подвел после муторных странствий долиной чужих ветхих забот назад нос к носу к собственной своей беде.

...Час между тем неприметно подкрался уже вплотную к назначенной злостным Катом на полседьмого встрече в том самом Малом Вузовском, на коем Ваня-Володя в ходе экскурсии поставил зарубку в памяти, следуя пока мимо. Выбредя теперь назад ко скверу у Ивановского крестца, он миновал Большой тезоименитый крестцу переулок и проследовал к младшему его брату, где, пропустив по правую руку свежевычиненную церковь, занятую какой-то лабораторией, скоро отыскал ошую дом под цифрою три.

О его содержимом он также не проморгал беглого намека в одной из выслушанных историй и начерно уже допетрил, каковского роду то будет штука, — но все равно невидаль эта, даже и ожидаемого свойства, изрядно его поразила. — Над самым парадным двухэтажного желтого здания располагалась цветная картинка, где из лежавшей на спине, распахнувшись на стороны, книги вставало в черное небо бодро лучащееся полусолнце. Но не в этом незамысловатом плакатике, мало чем разнящемся от всей их горластой братии, гнездилась, конечно, закавыка, — а в опрятных латунных вывесках по бокам. Сколько подобных им дощечек ни перевидал он за всю свою треть века, но с таким содержанием еще не попадалось: «Московская церковь евангельских христиан-бапти-

стов», да еще и «Московский совет» тех же самых. Торцом, сбоку, помещалась табличка помене, сообщавшая вдобавок, что здесь находится также по совместительству и «Московская община христиан адвентистов седьмого дня».

Впрочем, как ни тщилась старательная недоля подогнать его сюда точно к сроку, он все же четвертью часа таки запозднился, и никто его в условленном месте не встретил с раздвинутыми объятиями, поцелуями и кликами «радуйся!». Скромный Ваня-Володя по сему случаю, однако, вполне здраво рассудил, что, должно быть, Кат, не дождавшись необязательного соседа, прошел уже в дом; и потому, на всякий случай незнамо от какого соблазна перекрестясь в душе, тоже дернул дверную створку.

Она оказалась накрепко заперта. Но мучиться сомнениями чужаку довелось недолго: он сообразительно вычислил, что редкие прохожие проникают вовнутрь через боковой вход; за одним из таких завсегдатаев повальяжней двинулся в хвосте и Ваня-Володя.

Осилив лестничку в шесть ступеней, заведшую в небольшой предбанник, они взяли резко вправо и почти тотчас вступили в нарядный продолговатый зал, окруженный с трех сторон хорами, стены и потолок которого подпирали открытые дубовые стропила, а сверху прямо на головы вошедшим струилась простая протяжная песнь в сопровождении органа, громко подхватываемая всеми, кто стоял вокруг.

5

Застыв поневоле стоймя на всеобщий образец, покуда длились неспешною вереницей куплеты незнакомо-знакомого гимна, Ваня-Володя все вертел по сторонам задранной головою, отыскивая обидчика-должника. С затылка усмотреть его было достаточно затруднительно; зато попутно он ознакомился с любопытной внутренностью помещения, куда попал в первый — да уж, наверное, вместе последний, — раз и про которое заочно ведал лишь какие-то обрывки газетных ужасов. В ближайшей своей окрестности он обнаружил два настенных ящичка с выставленными на попа стопками почтовых конвертов и поясняющей надписью: «для пожертвований». Маленькую хитрость, проявленную их смекалистыми

создателями, Ваня-Володя, хмыкнув, одобрил: в свои редкие, в основном по печальным отпевательным случаям, посещения русских храмов он всегда неприятно дивился невместному звону мелочи на латунной тарели, с коей, пересекая службу и разрывая настрой, шмыгала обычно согбенная глаголем старушонка, не забыв ни единого прихожанина и еще норовя настырно подсунуть вместилище прямо под руку. А тут на́ тебе, все свободно: хошь сам клади, хошь мимо иди, — и в то же время медяшки или даже серебро уже не годятся; бумажный чехольчик сам предполагает и «бумажку» внутри себя.

Далее в створе рядов деревянных скамей, покинутых нынче не совсем согласно, зато усерднейшим образом распевающими стоя людьми, виднелся длинный стол с цветами, посреди которых Ваня-Володя различил старых знакомцев — искусственные подсвечники с сияющими вовсю электрофитилями стеклянных свеч. Над ними возвышалась деревянная трибуна, куда вели два боковых всхода с перильцами и где стоял, держа руку на отлете и тоже усердно разевая рот, человек в черной цивильной тройке при галстуке. Как скоро пение завершилось мажорным трезвучием органных труб и Ваня-Володя надеялся уже присесть отдохнуть, тот переворотил страницу и произнес в микрофон с рокочущим фрикативным «г», от обрыдлого до жути звука коего Ваню-Володю даже подрал по коже мороз:

— А теперь, дорогие братья и сестры, споем еще номер семьдесят третий: «День мира и веселья...»

6

«Ну, тут каши не сваришь», — решил единственный немой слушатель этого дружного концерта и двинулся на выход, изверившись в возможности обнаружить искомое и вместе стыдясь попусту нарушать порядок чужой вечери.

Снаружи он прошелся вдоль по переулку взад-вперед под освещенным фасадом, тщетно раздумывая, что же теперь следует предпринять, — но непомерно грустные внутренние охи наконец были как будто услышаны, ибо из подворотни по соседству с домом вдруг послышался призывный шепот:

— Милостивый государь! Вы ошиблись, вам вовсе не туда было надо!

Смущенный грошовою правдой угадки, Ваня-Володя на мгновение остановил теченье пешего хода, и этого сполна хватило невидимому соблазнителю, чтобы сманить его к себе на сумрачный внутренний двор, где он распространился уже более подробно.

— Там ведь напрочь нет ничего «божеского»: всего лишь вековые человеческие ошибки, скаредство недобросовестных попов и корысть властителей, — с пол-оборота завелся разубеждать его, стоя в теньке под навесом крылечка, опрятный средних лет мужчина, с высоты собственной стройности и худобы несколько покровительственно глядевший на Ванино порядком поветшавшее обличье и в довершение взаимных различий отчетливо правильно выговаривая точнейшие русские предложения с изящным петербуржским произношением, где «ч» есть действительно «ч» безо всякого крестьянского шипа.

Он, несомненно, обознался в смысле Ваниной возбужденной прогулки подле баптистского дома, и тот уже собрался было одним махом рассеять недоразумение да идти дальше — но вот только куда? Кроме того, некоторая скрытая сродность, дразня, обворожительно промелькнула и в речи этого поперечного встречного с почтенной в рыжих прогалинах сединой, пусть опосредованно, но все-таки, несомненно, связанного чем-то не только с потерянным Катасоновым, но и с самим обретенным взамен душевным расстройством. И Ваня-Володя, несмотря на то, что уж досыта наслушался разнобойчатых мнений, решил немного погодить с готовым опровержением.

— Они всё, эти церковники, перемешали и напутали, — сощурился ободренный первым успехом увещатель и улыбнулся с той принудительной лаской, которая силком заставляет слушателя молча кивать бессильной главою. — Причем заметьте, день-то какой нынче вроде особенный. «Великий Четверток» — а через трое суток западная и восточная церковь в третий раз всего за восемь лет, при всех своих разногласиях, повсеместно отметят так называемую Пасху в один и тот же срок... Какая, кажется, трогательная картина, — если б только сама эта Пасха не была на поверку обновлен-

ным и подкрашенным, словно белое яйцо луковой шелухою, празднеством древней богини Астарты, она же Афродита, Венера и так далее. А затем, радуясь как несмысленые дети, приступят к пасхальной свинье, языческой жертве солнцу, полагая, что это чем-то почетнее прежних идоложертвенных мяс. Вот как соблазнил их нечистый — всех, признающих за правду не только это, но и всякое вообще воскресение, Троицу и другие невежественные обычаи!

7

Выбор тропы, куда неприметно своротила с привычного ученого большака повозка его рассуждений, заставил встрепенуться Ваню-Володю, приготовившегося уже было поразмыслить о своих ненастьях, не вникая в заранее понятные доводы, — и он принялся следить за словами своего отповедника гораздо придирчивей.

— А где ж истина? — задал он ему тогда круто тот же вопрос, каким его больно попотчевала недавно беглянка-жена.

— Истина, конечно, у нас! — твердо заверил его безымянный советчик; но Ваня-Володя отнюдь не торопился вступать с ним в согласие.

— Эдак-то всякий скажет. А изъяснитесь-ка попросторней...

— В секте адвентистов седьмого дня. Выслушайте меня внимательно — я вам все изложу буквально за три минуты, ни к чему не принуждая: только в качестве предмета для домашнего обсуждения.

— Вышли мы все из баптистов, но особенного покроя — тоже семидневных, ожидающих скорого преставления света и окончательного Суда. Сперва даже назначили и точную его дату, 1843 год. Потом, когда она миновала даром, догадались, что в вычисления вкралась ошибка, да и вообще так уж дословно привязывать завершение мира не след: оно стоит при дверях, это верно, да о том как раз сегодня и распинаться особенно нечего, — но указывать число в отрывном календарике все же несколько опрометчиво. А лучше покуда, согласно писаниям нашей главной пророчицы Елены Вайт — или, русским наречьем, Беловой, — основательно и не косня подготовиться к отчетному докладу, последнему в этой жизни

и первому в той. Между тем церковь спасти уже никого не может, она заплесневела и сгнила в душном подполе земных предрассудков. Помощь и свет идут только от секты! Суть же ее упований в двух словах вот какова.

Во-первых, следует возвратиться к подлинным ветхозаветным заповедям, из которых наиболее насущна четвертая: почитать день субботний. Празднование воскресенья есть навет Сатаны, — так же как и поклонение позорному орудию креста, о чем, кстати, хорошо написал великий Толстой.

Во-вторых, никакого «бессмертия душ» в природе не существует!

(Ване-Володе показалось, что кто-то совсем недавно ему подобное этому уже втолковывал, но он отложил конечное припоминание его лица до завершения сей необычной проповеди за углом.)

— В Библии 853, — наизусть указал говорун и затем повторил для верности снова, как на бланке счета, — восемьсот пятьдесят три раза употребляется слово «душа», и притом ничего не сказано о ее воображаемой неуничтожимости.

Душа человека в действительности сразу же по кончине засыпает, а затем восстает лишь однажды — в годину Страшного судилища, никак не заметив мелькнувшего промежутка. Причем глупое учение об аде и вечных муках грешников есть прямая клевета средневековых мракобесов на мудрость Творца! Зачем же ему-то все эти бессмысленные и бесконечные страдания?! На самом деле по окончании разбирательства души верных в заранее определенном числе ста сорока четырех тысяч будут оставлены для вечного всеблаженства, а остальные поголовно и навсегда уничтожатся.

8

— День этот крайне близок: теперь завершается Лаодикийский, седьмой и последний период истории, и настает полнота времен. Секира положена при корени дерева мироздания; суд будет короток, и приговор обжаловать некуда. Дорогóй, дорожите остатком срока!

Ведь если у вас и есть еще эти сущие минуты, то лишь для того, чтобы одуматься и прийти к нам. Торжественней всего можно сделать это в день совершения прекрасного об-

ряда умовения ног. Он происходит по субботам раз в три месяца, ближайше в июне. Это, между прочим, то самое, что ложно отмечают сегодня все церкви-блудницы — то событие, когда во время прощальной беседы Христос сам омыл ноги ученикам, заповедав и им творить то же друг другу. Таков главный завет. Все семеро так называемых таинств суть ничтожное создание людей, — но зато коль трогателен и наглядец, безо всякого суесловия, наш единственно верный чин: когда не мысленно, а своими руками вы омоете случайному соседу усталые ноги и, отерев их полотнищем, превратите в прекрасные ноги благовествующих второе пришествие. Действо это столь же разительно, как и грядущая вскоре общая всем кончина.

Смотрите в оба! — вдруг в противность прежнему спокойному течению речи громко взвопил он, указывая куда-то в глубь заполнившей ближайшую к ним подворотню вечерней тьмы. — Тень ее уже наступает! Бросайте же все и идите скорее —

— Он и пришел ко мне, — уверенно откликнулся мрак несомненно катасоновским голосом.

9

. ...Почтеннопегий господин довольно легко согласился на передачу ему своих едва заявленных прав на Ванину душу, да тот и сам сразу предпочел хитрого Ката, который, как оказывается, попросту изучал из своего укрытия его встревоженное поведение.

— Принес? — стараясь резкостью проломного вопроса показать великую степень собственного возмущения Ваня-Володя, одновременно чуя нутром, что каким-то загадочным образом имеет сейчас нужду скорее в самом Катасонове, нежели в его деньгах.

— А чего бы ты хотел на них сделать? — уклонился от прямого ответа лукавый кредитор, как бы подразумевая несомненное наличие тридцатки уже в полном Ванином распоряжении.

— Сперва непременно напиться в стельку, — честно откликнулся недокаменщик-перегонщик.

— Эка невидаль! Пойдем-ка со мною, я тебе и долг

верну, и еще даром налью, а на закуску предложу кое-чего такого, что, может быть, отобьет охоту глушить рассудок подобным варварским способом. Что ж это, милый мой, за кайф от вина — точно дубиной по голове!..

10

Ваня-Володя покорно поплелся за ним, несмотря даже на то, что против ожидания Кат не пошел к их общему дому. Обойдя квартал по бульвару, они пропустили слева горловину Большого Вузовского и через пробой в стене проникли в дитячий садик с укорененной посереди нравоучительной статуей «женщины-матери», светившейся в сумерках шаровой белизною приземистой задницы; затем, перерезавши его наискось, забрались в самую глубь дворового участка. Следуя мимо старого трехэтажного дома, мерцавшего в последних отраженных лучах невидимого уже солнца, Катасонов, не удержавшись, мимоходом бросил: «Теперь вот заштатная конторишка, а когда-то — средоточие жизни и смерти землевладельца: шутка ли, сама Межевая канцелярия!»

Но путь их нынче правился не в нее. Завернувши за новую высокую коробку, задуманную, видно, как наследница местных ночлежек — скорей для глухого спанья, нежели для полновесной жизни, — они очутились перед прихотливым зданьицем времен модерна с серым коньком на крыше. В самый угол его была вмурована несуразно могучая по сравнению с общей невеликостью всего строения памятная доска, где из левого верхнего угла курчавая ветка клонилась к уместившемуся справа внизу носатому залысому человеку, томно протянувшему в ее сень долгопалые руки. Надпись гласила: «В этом доме с 1892 по 1900 год жил и работал выдающийся русский художник Исаак Ильич Левитан».

— Отсюда его и унесли, — добавил Кат, вынув ключи, и отворил боковую дверцу с прописанной на ней мелом во множестве обиходной похабщиной, скорей по привычке, чем из особой нужды нанесенной вездесущими срамословцами.

Кат быстро скрылся во внутреннем мраке, а Ваня-Володя, застряв неожиданно позади него в узеньком ходу, вдруг спотыкнулся в потемках об те же как будто самые отрублен-

ные бронзовые ручищи; охнул, нагнулся и мигом налетел лбом на каменного безрукого исполина в седле, потом отпрянул вбок и, схватясь там в ужасе за холодную гладкую лошадиную морду, совершенно закостенел, — но тут наконец Кат зажег в дальней клетушке свет, и Ваня-Володя понял, что очутился в скульптурной мастерской.

— Ты что ж это, тоже художеством балуешься? — попытал он хозяина, когда сумел благополучно миновать ненароком ожившие кумиры.

— Не совсем. Просто домик сдается внаем разом нескольким ваятелям, а я уже поднанимаю у одного из них себе светелку для скромных ночных досугов. В этом вот смысле я тоже, пожалуй, художник, — замысловато обмолвился тот, добавивши повелительно: — Только завали на всякий пожарный случай ход этим жалким подобием камня...

11

Ваня-Володя понял его верно и плотно притворил за собою двери. Отсек, занимавшийся Катом, совершенно разнился видом с тою его книгоношеской комнатою, в какой был прописан Ванин квартирный сосед. Здесь все было подчеркнуто, нарочито выпустошено, содержание скудного жилища составляли лишь пара стульев, круглая ореховая столешница верхом на табурете да единственная книжная полка с томами, не стоявшими, как положено, строем, а положенными внакат и, следовательно, постоянно находящимися в пользовании. Кроме них, на стене помещалась увеличенная цветная олеография с изображением бородатого мужика, сильно смахивающего на Христа, за той главной, впрочем, отменою, что вместо выражения скорби лицо его чрезвычайно хитро ухмылялось. Помянув же про Катову собственную всегдашнюю приподнятую улыбчивость, Ваня-Володя заметил, что и все вещи тут как-то своеобычно скалятся, создавая целое смеховое поле вокруг хозяина.

— Кто таков? — не обретя под картинкою никакой подписи, тыкнул он в этого антихриста указательным пальцем.

— Прародитель...

— ?!

— Долгая песня. Чтобы понять, нужно перелопатить все

эти нелегкие пособия сзаду и наперед, — указал он на заветную библиотечку. Подойдя вплотную, Ваня-Володя с возрастающим недоумением обнаружил среди глухих без надписи корешков и не ведомых ему вовсе наименований грубо переплетенную папку под единственно знаемым, да и то с утрешних всего пор, именем «И. КАИН».

Прочтя его, он слегка вздрогнул, что, конечно, не укрылось от пронзительно следившего за ним Ката.

— Что, не нравится? — заметил он.

— Слушай, вот странно: я про этого самого... чего только сегодня не наслушался!

— Это откуда же, прошу прощеньица?

— Да экскурсия возле дома бродила, — отмахнулся Ваня-Володя, замурыженный всей этой свистоплясской, которая как будто обложила его со всех концов: куда ни ткни, везде лезет все тот же Каин и уж непременно еще Иван, чтобы назло досадительно укорить его неладным тем тезкою.

Кат несколько поднасупился, но быстро восстановил довольство на пухлых вишневых губах и полюбопытствовал:

— Ну-с, и к чему же они пришли в итоге?

— Известное дело: сослали молодца на Балтику каторжником — и вся недолга!

— Тю-ю, — удовлетворенно протянул Катасонов, — это ж ведь вовсе не тот конец. Вернее, — добавил он торопливо, приметив, что Ване-Володе опостылели уже вусмерть чужие невзгоды, — вообще не конец, а скорей концы в воду. Причем выяснить правду сполна тут отнюдь не бесполезно лично тебе, поверь. Оцени только сперва сию штуку...

Он вылущил из папки сложенный вчетверо лист, любовно раздвинул его на четыре стороны и возгласил —

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

РАДЕТЕЛЬ

1

— О страшный суд!
надо брать дело в рассуд;
а я принес гостинчик всем поровну:
чтобы лепостию не занимались,
а истинному отцу с чистотою поклонялись.
Ибо хочет истинный ваш отец на сырой земли раскатиться
и до всех своих детушек умилиться;
хочет благовестить
и всех своих детушек навестить;
в Успенский колокол зазвонить
и всех своих детушек к себе заманить.
И этому делу не миновать,
чтоб отцу-искупителю стали честь отдавать;
хотя и начали все пировать,
но придет время, будут головушки свои преклонять;
так и станем грех из себя выгонять,
к отцу припадать,
а лепости не потакать.
Пора, любезные детушки, мне, спасителю, работáть,
души свои спасать,
пустые дела бросать
и на грех не поступать,
а одну Сионскую гору полюбить.
Я свидетельствую не сам собою и пишу не для славы:
слава моя на кресте, и дом мой темница —
я в ней жил,
не тужил,
отца своего слушал
и малинку его кушал.
А ныне я пришел на старых пророков:
у них благодать была по пояс,
а я принес новую и облек
с головы до ног.
И вся земля мне поклонится,

а вы, любезные детушки, извольте на белых коней садиться
и со мною Господом вашим водиться,
духом моим сладиться,
душою же с телом соединиться,
тем и будете со мною на небе веселиться.
О любезные мои детушки, помните всегда Вышнего
и не кушайте хлеба лишнего:
вы — люде Израильтяне,
а потому и должны быть душам своим хранители.
А про меня пророки вам вестили,
да вы во внутренность свою не вместили:
приидет кормщик и будет кораблями управлять
и мачты крепко утверждать,
посадит всех по своим домам
и не даст воли вашим плотям...
Так, любезные детушки, живите не вредитесь,
всякой слабости берегитесь
и на суету мира всего не льститесь,
а истинному отцу своему искупителю с чистою совестию явитесь.
Я, ваш отец искупитель, много лет за вас страдал
и всех от мира своею кровию откупал,
по сырой земле, странствуя, ходил
и чистоту свою всем явил;
на колокольню всходил
и одной рукой во все колокола звонил,
а другой избранных своих детушек манил,
в трубушку трубил
и им говорил:
поидите, мои верные-избранные, со всех четырех сторонушек,
идите на звон и на жалостный глас мой трубный,
выходите из темного лесу, от лютых зверей
и от ядовитых змей,
бегите от своих отцов и матерей,
от жен и от детей,
возьмите с собой только одни души, плачущиеся в теле вашем.
Отложите на земле весь прохлад
и обложите души ваши в оклад,
поживите без лести
и не желайте явной себе чести!

О, любезные мои детушки, как бы вам камень от сердца отвалить,
так бы бог стал во всех членах ваших жить и говорить!
— На сей мой жалостный глас и на колокольный звон
некоторые стали от вечного сна пробуждаться с четырех сторон,
и головы из гробов поднимать,
и со дна моря наверх всплывать,
и из лесу ко мне приходить.
А Иоанн мой Предотеча именит
Александр Иваныч Шилов и говорит:
Государь батюшка! в Москве все расчищается,
дороги разметаются
и ковры под тебя подстилаются,
и во всяком доме пищу поставляют;
теперь-то ты ловишь малявок,
а когда вырастешь, будешь осетров ловить,
и там хлебушка покушаешь, а львы все застонут,
и тогда волки завоют на всю вселенную!..

2

— Чуешь — чей это склад речи?

— Погоди... неужто вновь Каин воскрес?!

— Угадал, хотя и не по букве. По сути же, действительно слог каинский, а вот кто был сочинитель истинно родом — и по сю пору неведомо. Многогранная была личность, да так, что для каждой грани собственное свое имя...

— То есть?

— А вот посуди сам. В начале семидесятых годов осьмнадцатого столетия в Тульской губернии появилась двоица странников, показывавших себя киевскими монахами-затворчиками. Одного звали Андреем, другого Кондратием. Заходя в известные им пристани хлыстов, они принялись за проповедь среди бывших единомышленников нового, очищенного от плоти учения. Очищенного в прямом смысле — или по их наречию убеленного: а именно оскопления. Кондратий склонял отсечь долой «древнего змия», Андрей «белил», — да так споро подвинулось у них вскоре дело, что иною порой в две недели до шести десятков «белых голубей» выпускали на воздух.

3

С этой пары и все скопческое движение, в одночасье возникшее на глубинных российских просторах, начинает двоиться в именах и происшествиях, которые будто в балаганном раешнике рифмуются одно с другим — не зазря же двойничество составило не только определяющую особенность их речей и писаний, но и самый дух веры.

В предначинательной двойке кто-то один, по всеобщему почти мнению, был московский юрод Андреян, некогда упеченный Каином в каторгу и впоследствии сумевший бежать. И один из них стал верховным богом скопчества, известным впоследствии под фамилией Селиванов. Но вот было ли это одно и то же лицо или нет — останется навеки загадкою...

Селиванов носил последовательно имена Андрея, Кондратия, Семена, Фомы и Ивана. Местом рождения называл село Столбово Орловской губернии, где, по позднейшим разысканиям, отродясь такого человека не важивалось, — зато стоит оно всего в двадцати верстах от Брасова, родины Андреяна.

Начал он свой путь, как некогда и тот, с притворного молчальничества, открыв уста лишь изрядно погодя, когда наплодил убеленных своей твердой рукою с хороший полк. Вид же имел самый затрапезный и на всякого среднего мужика похожий: лет эдак с полсорока, росту среднего, лицем бел, нос вострый, волосы желто-русые; единой отликою было отсутствие бороды.

Корни его духовного рождения так или иначе ведут к нам сюда на Иванову гору. Богородицей, произведшей на свет «в духе» юрода Андреяна, была старица Ивановского монастыря хлыстовка Настасья Карпова, сожженная за свою ересь при Анне Иоанновне. Богородицей Селиванова называется некая Акулина Ивановна. Имя это некогда принадлежало разом двоим родным сестрам, первая из коих была женой хлыстовского бога Прокопия Лупкина. Обе сестрицы также постриглись в Ивановой обители, а потом по делу той же Настасьи были разосланы на исправление в отдаленные монастыри. В корабле Акулины Ивановны на Орловщине и «явил себя» впервые Андрей Селиванов.

4

Совершенным праздником рифмованного двоения служит и все распространявшееся им учение. Бог скопцов именовался двумя главными званиями — и опять краесогласными: «искупителя» и «оскопителя»; как из-под покрова словечка «убелил» сдавленно слышится заключенное в нем внутри «убил».

Главным врагом своим в мире он почитал земную любовь, величаемую неотменно «лепость» — не желая замечать, что противоположностью ей в точном смысле нашего языка служит «нелепость».

Лукаво перелицован, хотя все-таки своеобразно воспринят был и привычный церковный обиход. Обряд вступления в секту именовался «приводом»; «крещением» сделалось оскопление, причем скопить и «перескопить» можно до трех последовательных «печатей» — опять-таки явная тень чинов православной иерархии. Последователи Селиванова звались «израильскими детьми», сам он «царем Израиля», а места их собраний — «сионскими горницами».

Ячейками секты служили те же хлыстовские «корабли», где сошедшиеся «убеленные» братья под водительством «кормщика» радели до одержания в белых «парусах»-рубахах. Зато в отличие от хлыстов скопцы обладали живыми мощами — за таковые почитались ногти и волосы Селиванова.

5

Да и сам он тоже был не единым, а двойным самозванцем. Божьего царства показалось как бы еще не в достатке...

В написанных им собственных мытарствах — «страдах», — откуда я тебе те первые рифмы читал, об этом рассказано через притчу. Года через три после начала делания голубей главный скопитель был все же выловлен властями, выпорот и сослан в Сибирь. На пути туда он пересекся с конвоем, ведшим в противоположную сторону, на Москву, пойманного недавно Пугачева. И тут, как гласят «страды», «которые его провожали, за мной пошли, а которые меня везли, за ним пошли». Была ли та встреча на деле — опять-таки недоведо-

мо, зато самочинное царское звание Селиванов действительно у Емельяна позаимствовал и стал вскоре объявлять себя «божьим сыном, государем Петром Федоровичем».

6

Направленный на поселение в Нерчинск, он, однако, сумел как-то застрять в Иркутске, где прожил двадцать лет, и вполне мог повстречать во второй раз своего Иуду — Каина. Тот также, судя по рассказам, был из Балтийского порта переведен в Сибирь и оставил здесь о себе в память не только «Мати — зеленую дубравушку» с прочими «каинскими песнями», собранными в свое время неутомимым землепроходцем Сергеем Максимовым. В Тобольском наместничестве образовалось в восемнадцатом веке целое поселение, возникшее при Петре как полевое укрепление, а при Екатерине переведенное на соседнее место и ставшее уездным городом Каинском.

Тот же Максимов в своей «Сибири и каторге» пишет, что в сей самый Каинск ссылали по преимуществу профершпилившихся факторов, отстоявших себе за Уралом однако право на пейсы, которые составили наконец большинство населения и скоро обратили молчаливый заглушный русский городок в подобие крикливого местечка. В Каинске образовался склад пушнины, в особенности беличьих хвостов, что потекли отсюда через всю Россию на ярмарку в Лейпциг и далее, составив живую дорожку вплоть до Парижа. На семьсот жителей числилось тут семь десятков купцов! И хотя нынешний справочник предлагает вести имя города от татарского слова «каин», что на том языке означает березу, создавая диковинную пару Иудиной осине, предание все же связывает название его с нашим Ванькою...

— И неужели он посейчас так зовется?

— Да нет, с полвека как переименован в Куйбышев Новосибирский... Но еще допрежь этого из него вышел один из наиболее видных сибирских революционеров, «мещанин города Каинска» Яков Юровский, руководивший в Екатеринбурге расстрелом царской семьи. Кстати, и сибиряк Распутин был тайным хлыстом. Вот как оно все прихотливо повязано!

7

Но хлысты — это как бы мякоть того плода, коего сердцевиной и кочерыжкою служит скопчество. Именно оно отважилось проникнуть в соблазнительно-рисковую область, которой те опрометчиво пренебрегли: политику.

Здесь им во многом помогло знакомство и прямые сношения с другим религиозно-политическим орденом — масонством: недаром в народе скопцов и кликали часто «фармазонами».

Выручать Селиванова из ссылки послали связанного с масонами московского купчину Федора Колесникова: тот еще от Екатерины II получил прозвище «Масонов», под которым был даже более известен, чем под собственным именем. На Москве он состоял в числе перворазрядных скопителей и множил число голубей где словом, где подкупом, а когда и силою; в своем доме держал под полом моленную с большущею печью, где калили перед отсечением «змия» лезвия, а иногда и сжигали останки не перенесших убеления «птенцов».

Весь колюще-режущий набор вольнокаменщических инструментов, вроде циркуля, треугольника и ножа, дождавшись часа, воистину ожил в руках скопческих хирургов — производители этой операции так вполне по-масонски и звались «мастерами».

8

Вскоре по возвращении Масонова из поездки к искупителю-оскопителю тот бежал через Москву и довольно свободно поселился в Санкт-Петербурге, где, возрастая во славе, провел почти четверть века. Здесь он уже откровенно величался Петром Федоровичем Третьим, сыном императрицы Елизаветы, — каковой, оказывается, была в молодости хлыстовка Акулина Ивановна. Поэтому серебряные полтинники елизаветинского чекана служили у скопцов зачастую вместо нательных крестов, и их полагалось лобызать с истым благоговением.

Томимый тоскою по убиенном отце, с Селивановым однажды встретился даже император Павел, поместивший его после

того, впрочем, в умалишенный дом. При Александре, также говорившем глаз на глаз со скопческим богоцарем, он был выпущен на волю и по либеральному времени взамен крепости, куда ранее лежал путь всякому самозванцу, поселился в особых хоромах да развел множество последователей, дотянувшись до самых придворных кругов.

Александровские преобразования вызвали у скопцов великие надежды, и вот кастрат-камергер польского рода Алексей Еленский, живший в Александро-Невской лавре и близкий масонам, составляет и подает на высочайшее имя проект ни много ни мало как учреждения скопческой «божественной канцелярии» для управления Россией.

Все это предназначалось, как сказано в предуведомлении, «на возвышение возлюбленного отечества, Росс Мосоха именуемого» — не знаю только, говорит ли тебе что-то сие имя.

— С сегодняшнего дня говорит.

— Ну, гляди, как ты споро растешь, будто гриб после дождика! Так вот, на возвышение Росс Мосоха и «да вси Россияне уразумеют, яко жилище живаго бога в России водворилося». Бог этот или боговдохновенный сосуд, конечно же, Селиванов. Он занимает при царе место духовного водителя вроде Патриарха. Под его рукою бюро из двенадцати скопческих пророков, начальствующих в свой черед над целой братией подчиненных. При каждом военном корабле, при полках и во всяком граде полагалось по пророку поменьше и еще по скопцу-иеромонаху; причем, поскольку церковный канон запрещает «каженикам» участие в служении, их следовало поставлять тайно, через обман. А посредником между всей скопческой партией и императором Еленский назначил лично себя.

9

Тут скопцы, правда, несколько переборщили, и Еленскому вскоре пришлось отправиться на поселение в суздальский Спасо-Евфимиев монастырь, где он и скончал свои дни. Несколько попозже, в 1820-м, в ту же обитель не своей волею прибыл и Селиванов, а многие его последователи угодили в солдаты. Но это их не особенно угнело: воспользовавшись

старой хлыстовской наукою, они под личиной усерднейшего правоверия включились в обе рати, военную и духовную, и, пользуясь даровыми казенными ходами, именно внутри них и через них повели дальнейшее распространение своего толка.

Когда через двенадцать лет Селиванов, переваливший уже на вторую сотню лет жизни, все-таки помер, то скопцы попросту отказались в это поверить, ибо считали — и по сей день чтут, — что он бессмертен и пребывает на Иркутской стороне, где копит воинство живых и умерших собратьев для того, чтобы в назначенный и недалекий уже час вернуться да прибрать всю власть над душами и телами, воцарившись в Москве. Вот какое в своем роде отчаяннейшее дерзание — и признайся, есть в нем некая странная красота или хотя бы прелесть?!

10

— А как насчет принесения в жертву людей?

— Кровавый навет? Что груди у богородиц своих отъедали и христосиков, зачатых в свальном грехе, кололи под сердце да потребляли в снедь? Ну, так разве во всем остальном мире мало мерзостей и погуще...

Но если уж искать дел воистину таинственных, то есть тут и высшего разбора штуки. Вот, к примеру, сегодня как раз Страстной четверг, когда по народным повериям можно, забредя в чащу и закопав тельник, выпытать у лешака на бору все, что ни пожелаешь, — и он не захочет, а скажет... Между прочим, тебе это краеведенье не сообщило часом, что и у нас здесь когда-то при Горохе-царе бор шумел?

— Ну.

— Палки гну. А вот по скопцовскому толкованию, повесть об умовении ног в тот главноначальный Четверток на деле гласит, что Христос апостолов своих «облегчил» — потому-то они и лежали больные, оставя его в одиночестве тосковать о чаше в саду. И что Иуда повесился — тоже слова не прямые, а гнутые и означают, что попросту он оженился...

Но основное радение — годовое, назначавшееся в пору летнего солнцестояния, древний языческий праздник самого длинного дня, а у христиан — Рождества Иоанна Предтечи,

по-народному «Иван Купала». За это их и сочли наконец вовсе не раскольниками или, скажем, еретиками, — а вообще людьми иной, не христианской веры...

Радели тогда шестеро часов до полуночи и столько же после. Посереди корабля отрывали яму, поверх нее над решеткою ставился чан с водой в окружении свеч. Из ямы появлялась богиня — Мать-сыра земля, неся на макушке дурманные ягоды, которыми они приобщались, а затем плели дальше круги коло чана, вопия «боже наш, выйди до нас», покуда не подымался над водной поверхностью дым.

Тогда жидкость как бы вскипала, и на свет из нее вылезало нечто похожее на малого ребятенка мужского полу в золотом сиянии, садилось на досточке, переброшенной поверх чаши, и говорило: «Мне кланяйтесь».

Они падали тотчас ниц; а потом, когда видение уходило, поздравляли друг друга со свиданьицем, и Мать-земля кропила всех свидетелей той водою.

11

Но далей всего скопцы ускакали от хлыстов в понятии о последних днях мира. Хлысты верят, что Страшный суд начнется явлением Ивана Суслова с седьмого небеси, после чего все их пророки соберутся на Москве и отправятся заседать в Питер.

Скопцы же, во вторую голову, вообще отрицают воскресение мертвых. А в первую — по их понятиям, Страшный суд уже давно начался и самым непосредственным образом нынче идет! Остается лишь пришествовать из Сибири Петру Федоровичу Селиванову, а воеводою знаешь ли кто у него? Сам Наполеон! Он тоже обладает даром бессмертия и проживает покуда в Турецкой земле; а как примет «чистоту», так и придет к нам во главе убеленных, как снег, полчищ.

12

Но поскольку плод-то хлысты со скопцами общего древа, им не миновать было все же искать единения. По отшествии Селиванова родилось «духовное скопчество», считавшее целью своей отсекать не видимые уды, а срамные помышления.

У хлыстов же возвысил голос крестьянин тамбовского села Перевоз — почти что Харон наших палестин — некто Перфил, глава движения «Старый Израиль», последователи которого носили еще прозвание шалопутов.

Он говорил: «Я бог, я съел евангелие, оно во мне, и я сам ныне живой евангель». Задачей его кораблей была уже не безумная гоньба за неотмирным ветром, а основание царства своего бога на земле.

Вот эта картина и есть его изображение, не подписанное лишь, как говорится, страха ради Иудейска. Из того ж опасения он учил своих «детушек» всячески тщиться выглядеть внешне праведней самых ретивых служителей веры, исповедуемой предержащею властью, и первый записался в Санкт-петербургское общество распространения Священного писания, чтобы разъезжать по России с государственным чистым «видом». Но тайно советовал подавать попам вместо свежих приношений дохлятину — они-де, «собаки и псы», все пожрут.

Старые скопцы, правда, называли духовных «козлами»; а после смерти Перфила, положенного как добропорядочный прихожанин в ограде храма в Борисоглебске тамбовском, сподвижники его раскололись, — но все это были беды переносимые, временные. Главное, что удалось наконец выпестовать совершенно новое земное и своеземное учение, начисто освободившееся как от последних пут христианства, так и от прежних крайностей: Перфил позволил своим скоромную пищу, вино и свободную любовь с «духовницами» — после чего число паствы его разом умножилось до двадцати пяти тысяч.

13

...Излагая все возбужденней эти приключения духа, Катасонов в итоге так разошелся, что принялся чуть ли не летать кругом Вани-Володи по комнате, довольно урча свои речи басовитым горлом и вновь, как поутру, напомнил своему слушателю спелого майского хруща. Ваня-Володя, глядя на это кружение-жужжание, невольно улыбнулся, воскресив в памяти лощеновское уподобление, — а Кат мигом эту постороннюю ухмылку и уловил: чего, дескать, смеешься?

— Да так, соседку нашу припомнил, что про тебя гуторила.

— ?

— Да, уж не обессудь, сравнила с... тараканищем.

— Вон как? — вскинулся было Катасонов, но преодолел возникшее отвращение и постарался стереть худое впечатление всегдашней своей ученостью. — Знаешь, у пражского писателя Кафки есть такой чудный рассказ, как один человек вдруг проснулся поутру громадным жуком и так и ползал по комнате, покуда не испустил дух вон. А отечественного извода знаток бабочек и тоже крайне искусный словесник Набоков заметил потом, что описанное в этой притче насекомое, несомненно, должно иметь крылья и потому могло в любой миг запросто улететь на свободу. Так что и в самых дебрях выдумки полезно не терять кое-какое понятие о естестве.

— Ладно, не шибко-то духовись. Скажи лучше вот что. Мне за сегодня смерть уже как обрыдли речи, я хочу дел, — но все вы что-то, по-моему, тут темните. У этих хлыстов-скопцов, кроме «ля-ля», должно же было быть нечто, что их сводило с ума подчистую и наяву: эти радения. Покажи-ка, коли уж ты все вдоль-поперек ведаешь, как оно выглядит вживе...

Катасонов раздумывал лишь мгновение. Потом сдернул Ваню-Володю за руку со стула, выдвинул на среду комнаты круглую столешницу и потащил гостя вслед за собою.

— Повторяй внятно и ни о чем постороннем не думай! — крикнул он властно покорному от усталости ученику и затараторил —

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

СВЕЧА

1

Бочка ты, бочка,
Серебряна бочка!
На тебе, на бочке,
Обручья златые,
Ведерцы святые.
Во тебе, во бочке,
Духовное пойло —
Духа Пресвятаго,
Пророка Живаго.
Мы станемте, други,
Бочку разчинати,
Пойло распивати,
Бога-государя
В помощь призывати.
Авось наш надёжа
До нас умилится,
Во наши во сердца
Он свет преселится.
Завладел надежа
Душою и сердцем
И всем помышленьем,
Духовным рассужденьем.
Красно солнце Ярила
Благодать скатила:
Государь, сын божий,
Разгуляться хочет:
Он берет, надёжа,
Всее подвселенну,
Округу небесну.
Иван-сударь Предтеча
Званыим ходатай...

2

Ваня-Володя худо запомнил, что происходило далее — единственно верно отложилось у него в памяти, как тотчас

после упоминания верховного тезки разум покинул привычное до прозрачности обиталище; а следующий — хотя явно вовсе не последовательный во времени — вид, который он обрел вокруг себя, когда маленько очухался, представлял уже невеликий садик как раз по-над Ивановским крестцом, где закружившийся вконец гонщик за собственною душой восседал в одиночестве на вершинной ступеньке лестницы поверх клубившейся внизу густопсово-мрачной тьмы.

Верчение с Катом около табуретнокопытного стола завершилось, стало быть, совершенным помрачением сознанья, отчего внутри по сю пору колыхалась тошнотная муть, так что повторения эдаких проделок Ваня-Володя не пожелал бы впредь и супостату; вместе с тем он постиг наглядный пример того, что сбить человеческий дух с панталыку существует гораздо обширнейшее число возможностей, нежели потом остается ему дорог возвратиться обратно к свету.

Возглавив теперь взамен отсутствующего геральдического льва верхушку крутого всхода, он остывал от минувшего жара разом с его белым камнем и потому с трудом мог унять колотившую все тело дрожь, туго соображая, куда же теперь на ночь глядя — в прямом смысле потертого выражения — править свой свившийся безнадежной восьмеркою дневной и повсежизненный путь.

3

Горько охнув, Ваня-Володя очутился в положении того сказочного малороссийского бедолаги, который в ответ на схожее троекратное сетованье вызвал из-под земли тезоименитое чудище Оха — ибо тут же с содроганием вновь обнаружил подле себя вездесущего Ката.

— Попался, который плутался? — легко свел на шутку его испуг смешливый донельзя собеседник. — За чем гнался, в то и вклепался, как говорится. Поделом: впредь уж не будешь просить неведомо чего и своевольничать всуе.

— .

— Молчишь, курилка? Ну так и быть, вот тебе тогда за прилежное смирение первый полезный совет: не лезь поперед батьки в пекло! Чорта лысого захотелось тебе отведать в радении — взамен того, чтобы разгрести навозную кучу де-

довского барахла и найти там созревшую спелую жемчужину —

— А это что за невидаль?

— Лопух ты, батенька, даже не лопух, а борщевик — видал эдакий злак несусветный: видом укроп, ростом человек? Прикидываешься не ведающим родства Иваном — ин даром, что ли, тебе все эти ушаты историй на голову выплескивали? Дело-то ведь идет к смерти.

4

Эвон какая пропасть поколений в соплях и кровище вылезала из наносной грязи, пестуя свой собственный разум — и, утомившись, будто пуля на излете, донесла его и сложила подле самых наших ступней. Остается только нагнуться, поднять и воспользоваться — а ты все никак не хочешь врубиться.

...Загиб мысли аж двухтысячелетний пережили и вроде бы стали уже возвращаться к исконным началам — ан опять не тут-то было! Выходит, что греческие попы наше родовое язычество тоже по преимуществу выдумали, расположивши согласно штатному расписанию своего Олимпа; а на поверку там было нечто совершенно иное, да только его уже и след простыл.

Но недаром боролось неумирающее, всегда гонимое и постоянно плодящееся опять сектантство! Пока суд да дело, оно вновь само в себе возродило заветный облик чистой силы, свободной от всех пут и одержимой стремлением к вольности, что была напрочь утрачена в долгие века смирения, — и лишь чути самой ему не хватило до цели.

Недостающую же ту чуть обнаружить пробил час для нас. Допер теперь, в чем задача?!

— Да что-то глухо...

— Ну, беда с тобой, да и только —

5

— Давай тогда для-ради легкости проникновения опять заглянем сбоку. Знаешь ли ты, кто таков был начальный-то Каин?

— Ну, в общих чертах. Братоубийца...

— Не совсем. Имя его в переводе будет: Приобретение —

ибо Каин был первенец у Адама, то есть Красного Человека. А погубивши удачливого без заслуг единоутробника своего Авеля — Дуновение, Пар, Суету, — кровь которого сама земля отверзла уста принять от руки брата, он сделался основателем первого на земле города. И вечным живым укором — неся на себе знак, что никто не смеет убить его, а всякому, кто хотя бы посягнет на это, положено воздаяние всемеро! Мало того, о смерти Каина вообще ни слова не сказано — ибо воистину образ сей остается вечен; потому-то по народному сказу лик его в пятнах отпечатлелся в Луне и ежевечерне то растет, то ущербляется над нами.

Беда же отечественного Каина Ваньки та, что ни в коем случае не следовало отрекаться от добытой каким бы то ни было образом власти; наоборот, позвали на трон — садись, не робей, на небо — карабкайся и туда. Короче: бери, чего дают, и, главное, безостановочно шествуй. Ведь владыка из него получился бы куда похлеще и Селиванова, и самого Александра!

Но в том-то и порок воли русского человека: не успеет он добиться желаемого, как уже не может с ним толком управиться, начинает плодить сомнения и столь же бесшабашно пускает все вскорости по ветру.

Вот тебе наглядный свидетель, что не даст соврать, — место, где мы сидим. Это было владение отпрыска молдавского господаря Кантемира: тот перешел опрометчиво под скипетр Петра Великого и тут же потерял свое собственное государство; сыновья нанялись в чужую службу, а единственный внук помешался на том, что вновь царит на родине, да так и помер в Ревельской крепости, закончив собою бесславно род, шедший от самого Тамерлана.

Затем оно отошло к царю откупщиков староверу Василию Кокореву — главному миллионщику России в середине прошлого века, что, неожиданно заславянофильствовав, опять-таки протратил обретенные сокровища впустую.

От него земля досталась выстроившим особняк и разбившим сад Морозовым, которые приютили у себя Левитана и передали уйму денег на революцию; конец их известен. Только и революционеры-то случаются разные: здесь сперва поместился штаб левых эсеров, каковые даже арестовали пришедшего к ним председателя ЧК. Но не успела латыш-

ская дивизия выставить у церкви Владимира пушку, как эти горе-повстанцы галопом умчались прочь — кстати, опять-таки на Ивана Купалу! — позабыв хотя бы запереть пленных...

Так что куда как верен был Достоевский, сетовавший, что чересчур уж широк русский человек — не худо бы сузить!

6

— Достали своим Достоевским! — не вытерпел язвы долгих нравоучений Ваня-Володя.

— Э, не бузи сгоряча. Кто ж, как не он один, не то что предсказал, а словно накликал, что наш век станет столетием битвы богов — и преддверием последнего переворота духа? И я даже давно мечтаю создать нечто вроде Общества по сужению русского человека, потому что лишь подобного кроя существо выдюжит перенести ломящийся в двери смерч. Только сузивши до предела душу, можно придать ей в нужном направлении убойную наповал силу, — а без того скоро каюк. Причем такой секте из сект не потребуется вовсе никакой организации, устава и прочей дребедени: она складывается сама собою и оттого уже по определению неуловима.

Да, наши раскольники были правы в своей погоне за вышним званием, но не доглядели одного: утвердивши право на произвол в прошлом и настоящем, надо было сразу идти вперед добиваться его и от будущего. А расчетливые нетерпеливцы из Нового Света, торопившие поскорей светопреставление, угадали по-своему, только тоже не там — оно действительно вскоре имеет быть, но исключительно здесь, в этом подлунном мире.

Человек связал себя со средою таким множеством жил, что стоит только перетянуть какую-либо из них ненадолго, — и он задохнется в корчах. Вот недавно в большом миллионном городе на несколько часов отключился свет — так сказать, конец света вполне посюсторонний, — и люди вновь обратились в зверей. Так что все, о чем в картинках повествует Апокалипсис, уже не за бугром, причем не просто дословно, но еще и с добавкою. А в кромешной опричнине побеждает лишь тот, кто спокойно сознает себя совершенно вольным и самовластным.

7

Закрой на минуту глаза. Вот так. Представь хорошенько, что именно в эдакой тьме тебе предстоит впредь существовать и действовать — тебе и всем твоим детям. Сожмись покрепче, сосредоточься и начинай повторять: я бог сего мира, я князь сего мира, я господин всего мира, и дух, владеющий мною, единственно правый...

Сейчас ты завис между почвой и небом. Самое время сделать решающий шаг. Вот тебе тот тридцатник, гульни еще разок, а потом затворись и созрей. До скорого —

8

Когда Ваня-Володя вновь приоткрыл потихоньку глаза, рядом с ним никого уже не было. Повсеместно царила полнейшая мгла, и только на другом конце ступени кроваво рдели три новеньких червонца, плотоядно раскинувшись веером. Кругом, будто единым прищуром очей, он погасил свет не только внутри, но и вовне, не было тоже видать ни зги. Город необычайно скоро потух и совершенно затих; полное затемнение и безмолвие казались смертельными.

Гадливый ужас проник все Ванино существо, ощутившее себя воистину неким ночным демоном, запертым в тесном гробе, и тонкие волоски на его коже, вздувшейся пузырями, как лужа в июньский ливень, противно встопорщились. Не в силах снести искушения долее, он непроизвольным движением ладони смахнул прочь Катовы деньги, прохрипев сдавленно:

— А-а, пропадай пропадом твои червонные серебреники!

На ощупь они оказались тяжелы, будто свинец, но как скоро скатились вниз, мгновенно потухли, словно провалившись прямо в тартарары.

9

Ища спасительного отверстия в глухом окружном мраке, Ваня-Володя наконец почти что взвыл всем сердцем о вызволении из одинокого ада и все-таки не столько отыскал, сколько сам соткал, сплотил вдалеке слабо брезжущее пятнышко надежды. Стараясь не дать ему загаснуть, он натужно воз-

буждал в себе всю любовь, на которую только еще оставался способен, и направлял потоки ее туда, куда и сам потихоньку, страшно боясь спугнуть видение, двинулся полупригнувшись от усердия.

Тыкаясь слепою рукой об угластые колкие бока переулков, ставших сразу враждебными и незнакомыми, он выбрался неумело к задним монастырским воротам, где некогда жила Досифея и которые его осязание опознало благодаря налепленным поверх железных полотнищ грубым подобиям богатырей. Обок них мерцало сильно поцарапанное изображение одетого в ветхий плащ длинновласого старца со свитком, стоящим колом в тощей деснице. Шкрябая пальцем осыпавшуюся стену, Ваня-Володя, как старательный первоклашка, стал разбирать по складам надпись, показавшуюся ему нынче отчего-то крайне насущной.

«...И вот свидетельство Иоанна, когда... прислали... спросить его: кто ты? Он объявил, и не отрекся, и объявил, что я не Христос. Сказали ему: кто же ты? чтобы нам дать ответ пославшим нас: что ты скажешь о себе самом? Он сказал: я глас вопиющего в пустыне: исправьте путь..................»

Далее было уже совсем безнадежно вытерто. Ваня-Володя, не раз проходивший тут мимо сегодня, несколько засомневался, почему же в дневное время не обратил внимания на странную фреску — но потом решил, что для нее, быть может, были когда-то с нарочною хитростью применены светящиеся, с подсыпанным фосфором краски, загорающиеся отблеском после заката. Держась за слабое пятно света в нешуточном опасении, что и оно может внезапно ускользнуть, он медленно повернулся кругом.

10

И лишь теперь отважился задрать голову ввысь, где его приветливо встретил могучий купол небес. Будто кто-то провел по нему одним взмахом прохладной рукою, и вся звездная слава предстала в полном блеске пред Ванины очи. А затем, по знаку того же невидимого хозяина, вступил хор ночных городских шумов, басовито-воинственно подхвативший торжествующую песню неба. И тут на всю жизнь у Вани-Володи отложилась нескудеющая память о том, что он од-

нажды безо всяких посредствующих препон, прямо уста к устам, прикоснулся к живому воплощению высшей мудрости света.

11

Звон и шелест рокочущей вселенной целиком захватил его раскрывшийся настежь слух, и потому-то, наверное, скользя взором по поднебесью, Ваня-Володя не тотчас сообразил, что наблюдает сейчас уже не воздушное, а новое чудо — праздник соединения созвездий тверди и твари: на ставшем неожиданно прозрачным Ивановском холме он увидал, как с бокового Петропавловского взгорка толпою блестящих звездочек рассыпается кучка трепетных человеческих огоньков. Один из них робко двинулся с противоположной стороны вниз к Хитровской площади. Под сердцем что-то всполошенно екнуло, и он стремглав бросился по Малому Ивановскому под гору.

Уже в ста шагах Ваня-Володя понял, что на сей раз воистину не ошибся и это действительно она. Укрывая высокое пламя свечи от шалых подворотных дуновений тонкой ладошкой, просвечивавшей насквозь прозрачной сахарной плотью, она сторожко ступала посереди переулка и, миновав застывшего Ваню-Володю, легкой стопою взошла прямо в дом.

Стараясь не упустить из виду счастливый образ, он на цыпочках двинулся следом, — но остаться незамеченным не сумел из-за грубиянской выходки двери парадного, которая, громыхнув позади с визгом и клекотом, отсекла навсегда от его личного имени постылый хвост теневого прозвища.

12

Так широко обернулось на вечной своей оси житейское коло, исполнивши еще один поступательный круг и тем неожиданно воскресив позабытое древнее правило трех единств, обязательно необходимых сказанию для исчерпывающей полноты: единства места, действия и времени. Все приключившееся сегодня с Ванею в самом деле произошло на пространстве менее одной квадратной версты, собравшись под конец и в единый клубок событий, — а что касается до времени... Неспроста ведь сказано было когда-то, что самый главный на свете день бывает длиною в тысячу лет; но и тысяча лет может сделаться одним-и-единым сияющим днем.

АРХИТЕКТОР РУКАЗЕНКОВ

Хожение по Кресту

...и он постигает всю чудную сладость быть учеником. Все становится для него учителем; весь мир для него учитель, ничтожнейший из людей может быть для него учитель.

Гоголь

1

«...Как это было еще вчера в полупустой электричке: три смурных ездока, сдвинув окатистые животы, заговорщически склонили головы к четвертому и удивленно, даже как-то уязвленно слушали его захлебывающуюся речь. В ней странным образом пересыпались, словно пригоршня шумяще-звонких монет, цокающие и шипящие звуки; они слышались неразборчиво, но по временам громко — «ц», «с», еще что-то подобное, — и воображение тотчас же выплело из этого звяканья нечто цитрусовое, даже как будто запахло лимоном с уксусом. И поэтому, когда внимание приладилось поплотней, сразу стало интереснее подслушиваться к рассказу, напоминавшему давно уже знакомую и любезную сердцу сказку.

— Сказать смешно и утаить грешно; а не узнал бы самовидно, так никому б не поверил, — быстро бормотал скрытый за наплывавшей через окно теменью попутчик, — ни тебе и ни себе, оттого что давно уж мы напрочь отвыкли от всего этого... Но и поведение, и стать, и уверенность в шагу, и глазом вперивается так круто, что сейчас все сомнения кончаются: точно чистая кровь. Да не то чтобы одна только долгая голова на плечах, и та на ниточке болтается, нет — настоящая икона заживо.

...А когда выкарабкался он, оклемался у нас и начал уже бегать по дому труском и вприскочку, то натопили ему банищу смыть навалянные шелуди и тельное сало, — ну и, конечно, думали, что после очищенья выпьет он под обед в полную сыть и раскроется. Ведь сначала-то все вроде одни побасенки отпускал, говорил, знаешь, такое дикообразное, сплошное

глубокоречие да иносказание. Вот притчу или там байку какую умовредную вспомнит — так слушаешь, рот растворив, а про самого спросишь — петляет, гнет околесную, мычит, мямлит, будто слово слову костыль подает. Но ни матка моя, слышь, ни я тоже не глупее осетровой башки, растрясли-таки, завели его, пусть и не подпоили, да выудили. Потому что после полуночи он вдруг покраснел, загорелся, прямо как печь, страшным пламенем шумящая, и не то что заговорил — как запел.

Назвался он тогда, знаешь, диким чудом, прямым будто бы царским наследником самого законного рода, только не нашей стороны — где тех же господ, только самый испод. И так про бытие свое развернул, что разве охнешь без слов, как вон букалище болотное. Но одного я до конца не разобрал точно, — откуда он все же таки произошел к нам; гляди, может, ты сообразишь, ты понятливей —

— Ишь чего захотел, надо мне больно, — тут еще домозгуешься с тобой до приключения на свою задницу! Это вон у кобылы голова здоровенная, нехай она себе и думает... — подозрительно оглянувшись, срезал его на полуслове похожий на пожилого зайца сосед, распев свое недовольство по-хохляцки на семь ладов. — Давай-ка мы тут потише будем, лучше картинками перетусуемся — все же не так накладно...

Они сгрудились еще тесней и шлепнули на подставленный боком портфель карты, набухшие от долгой работы пятнистые дольки которых, словно осенние листья, скоро с головою засыпали какую-то начинавшуюся человеческую историю. А позже, когда разбираемый по кругу ворох постепенно растаял, и наконец чья-то счастливая на мгновение рука забрала последний в колоде козырь, лежавший картинкою наружу, — рассказа, что, игриво сверкнув киноварью буквицы, высунулся по красную строку зачина, под ним уже не было, он ушел, не стерпев одного даже вида плоских захватанных перевертышных королей темнодикого цвета на службе у жалкой тщеты мыслей, вперенных в пустую дыру бесцельной забавы...

И вот всегда отчего-то получается так: только начнет где-то проступать хотя бы тень той таинственной разгадки, узнавание которой называют красотой, а соприкосновение с нею — блаженством, как непременно чье-то злое рачение пре-

секает повесть, парение похоти унижает воображение, обида переменяет незлобивость ума, облако страстей замутняет взор — и откровение прикрывается. Оно бы и насовсем, как раньше говорили, «далече в забыть легло», если бы произошедшее чудо со-чувствия не оставляло легкого румянца на сердце, отзывающегося потом всякий раз на зов своего источника, как волшебным образом настроенная Эолова арфа отвечает на один особенный ветер.

Но теперь уже и собственный рассудок, перехватив вожжи у покинутого духом разума, начинает в межеумочном пространстве подсознания играть с душой и памятью на снижение. На своем языке он уподобит безнадежно прерванный рассказ такой житейской беде, когда кто-то не сумел попасть с дамой в желанный театр либо на бал и вот, провожая рассерженное существо, составляющее нечто вроде внеположенной и наделенной пугающей самостоятельностью части собственного «я», он оказывается принужден тотчас же искать — как выйти из положения и развлечь эту внешнюю неверную половину, свою девушку-душу так, чтобы она забыла об огорчении и не натворила еще пущих неприятностей...

Бывает, что какой-либо автор, заговоривши о чем-то волнующем, обрывает вдруг на полуделе и пускается толковать о тайнах Психеи: почему-де читатель может быть заворожен даже пошлым, но только манящим зачином, на который он устремляется, словно жирно гудящая муха на липучку; да для чего сам он такой зачин предлагает, и не напоминают ли их пара упершегося осла и заманивающего погонщика, мотающего кочерыжкой у приотворяющегося постепенно рта пасквильного животного. Потом он разлетится рассуждать про свое на сей предмет рассуждение, разберет кучу соображений, выроет под нею яму и начнет там окапываться, — но все, однако, без видимой пользы, потому что творческая связанность мира открывается, лишь отвечая тянущемуся к ней, пусть самому слабому, но тоже со-творчеству, а пламенник и пленник мыслебурения будет больно и зря биться в дверь, как вон тот пьяный в конце вагона.

— Он колотил что есть силы, этот совершенно квёлый человек, вышедший из своего состава умом настолько, что, пожалуй, ни завтра, ни во всю свою прочую жизнь так и не узнает, что такое происходило с его телом сегодня: как, все

более свирепея до лютости, бросался он с разбегу в пространство, очевидно предназначенное для выхода, но выхода ему сквозь него не было.

Где-то там в темном лесу подгулявшего соображения что-то у него заблудилось, и он счел, что всякая дверь обязана непременно распахиваться вперед, — забыв о существовании великого множества иных способов; что бывают еще на свете и вечно вращающиеся турникеты, и подымающиеся вверх и опускающиеся долу ворота, и калитки, которые раскрываются сами собою, стоит лишь нажать потребную для того кнопку или даже просто внятно произнести тайное какое-нибудь слово вроде «сезам», не считая уже таких незамысловатых хитростей по части экономии пространства, как именно эта пара створок в тамбур: раздвижная, откатывающаяся на колесиках вбок, сумей только проходящий правильно дернуть за ручку...

Мужик же злобно и безнадежно буравил упорную не менее его переборку, а немногие вечерние поезжане наблюдали за ним с вялым удивлением, кто морщась, а кто и улыбаясь — в зависимости от природной склонности к смущению или доброте. Все словно чего-то ждали... И хотя для разума было ясно, что неподвижный внутри вагон на самом деле летит светящимся змеем по невидимому теперь ночному Подмосковью, а зививший горе веревочкой человек беспрестанно на глазах суетился и возобновлял попытки одолеть косную материю стекла и железа, — создавалось отчетливое впечатление, будто время постепенно застывало, провертевшись несколько раз по кругу, а потом оно и вовсе стало пропадать...

Но тут, появившись подобно «богу из машины» древнегреческого театра, с противоположного конца вбежал тонкий пригородный юноша в прорезиненном светлом плаще, промчался тенью вдоль скамеек, быстро миновал сгрудившегося у выхода темною кучей «ужратика», аккуратно растворил половинки створок и безболезненно зашел за них, остановившись там на минутку покурить.

Мужик молча проследил за ним злым перламутровым оком, пока выход опять не замкнулся, и тогда снова бросился вперед с утроенною горечью силой, потому что понимание его сделало новую промашку, перенеся всю обиду с нечеловекообразной двери на удачливого соперника. Однако преграда

все так же не поддавалась, и пьяница колотился мухою о стекло, грозя разнести его вдрызг окостеневшей от тоски головою.

— Ну, хорош жуковать-то! Отойди, покуда оба целы... — неуверенно вмешался наконец сидевший ближе всех к выходу рабочий.

— Брось, Слава, не цепляйся ты к нему, — остановила его жена, державшая у подбородка корзину со съестным. — Не видишь, что ли, — торчок совсем, ну и пусть его дурь-то выколотит о железку; в недобрый час его напрягай еще людям достанется...

Ближе к станции электричка выползла на насыпь вдоль реки, легла на поворот, вагон наклонился, и тогда левая створка сама откатилась-таки вовнутрь стены. Несшийся на нее в очередной раз с разгону ярыжка проскочил неожиданно сквозь ненавистное препятствие и с маху влетел в смоливщего там свой гвоздик юнца — теплое живое существо из недоступного прежде зазеркалья, сосредоточившее на себе всю долгую, ноющую свежими синяками боль безнадежного колочения.

Вцепившись обеими руками в противника, мужик из последних сил сжал на нем хватку толстых граненых пальцев, тряхнул разок что было мочи и повис, окончательно выдохшись, да так крепко повис, словно клещ, насмерть въевшийся в тело, выпучив еще глаза и отдав всю злобу, накопленную от неудач взбеленившейся оскорбленной гордостью человека, скрючивающей силе захвата.

Юноша попытался было вырваться, но это оказалось вовсе не просто. Прося и ругаясь, он гораздился и все никак не мог отлепить от своего плаща мученика идеи; даже сквозь стенку к нам доносились оттуда треск материи, шарканье ног по заплеванному полу, удары тел в двери тамбура и скрип железных пуговиц о стекла, на которых проезжие умники по традиции сцарапали половину букв из предупредительной надписи, превратив ее слева в сообщение о том, что «слон ругается матом», а справа — «он рыгает магически».

Перенявший теперь на себя роль мухи парень так и не сумел выйти на остановке, проехал мимо, продолжая отчаянно выкручиваться, а запаучивший его дядька, не разжимая рук, чтобы еще чем-то уязвить врага, скалил по-собачьи

стальные зубы и кричал на одну ноту: «Горб намну-у-уу!! Горб намну-у-ууууу!!..»

Рабочий первым не выдержал снова и пошел на выручку, выговорив жене на весь вагон: «Вон где все твои советы, понятно?! Напряга-ай... Тебе только и заботы, чтоб волки мелки, да овцы целки!..»

— Сказал как на гвоздь повесил: еще пример бессмысленно мощного слова, родившегося в потоке речи само собою и, отозвавшись в рифме, сковавшего скрепою что-то такое, чего строгим понятием и не передать, а вот поди расцепи в памяти — как тех уже троих, борющихся в тесном закуте у выхода и победными кликами под слоновий топот превративших скромный тамбур в тамбур-мажор всеобщей суеты.

...Вскоре туда же поспешила пойти кричать баба, и под конец они там так разорались и завозились, столь долго и одинаково голготали и матюкались, что пропали совсем: слух отказался отвечать на эти слишком громкие звуки, как перестает восприниматься спустя немного времени всякая нудота — от распекания говорливого начальника до злого запаха химического завода, который мерзит приезжему, но для постоянного жителя неприметен. Сознание вытеснило шум за рамки втекающего внутрь бытия, оставив только металлическое состукивание колес с рельсами да вой шального комара из той новой породы, что живут теперь в городских домах и транспорте; он где-то, видимо, ошибкою завелся не ко времени осенней сырою порой и сейчас ускоренно завершал свой век в теплоте подогреваемого вагона. Этот наш воздушный друг или, точнее, подруга — у них ведь, кажется, кусаются только самки — успела уже хорошенько накровяниться и летела так самоубийственно низко, что словно напрашивалась под руку, приглашая себя прихлопнуть; нагрузив дымчато-прозрачное брюшко, она, должно быть, досрочно выполнила жизненное задание, и добавочное мытарство на свете без всякой цели было для нее лишнею мукой.

Отчего-то представилось, что, будь она в силах, подобно пировавшим дни напролет римлянам, запустить пару сяжек в рот и вернуть обратно в пространство все высосанное, чтобы снова воспылать голодом и еще раз отправиться на поиски обеда, то жизнь опять протянулась бы перед ней семицветною радугой: ведь не в достигнутом же насыщении у них, у

гнусов, счастье — а во время насыщения, в тот миг, когда мечта их существования сбывается, облекаясь плотью и кровью. Беда только в том, что обычно подобного рода заветные желания вполне довольствуются и половиною дела, облекаясь одною лишь кровью — а плоть все продолжают обещать напоследок, на сладкое...

И еще они напоминают бесконечные рои идей, эти комары. Вот так, прельстясь мелькнувшими под влажным листом красными брызгами земляники, спускаешься с дороги в болотистый лес, и вдруг из трясины, пищá и вопия, подымается великая серая туча, жаждущая немедленного воплощения, откровения крови и вокровянивания через тебя в жизнь. Но ведь они могут и вовсе не дождаться прохожего, — и как, наверное, мучительно и дико умирать ненасытившемуся большинству, со сведенными голодом в спираль или раздутыми трубочкою пустыми тельцами, в которых запеклись стекловидные внутренности. Невыносимо больно уже само представление о такой смерти. Кажется, и живут-то они по большей части всего день, с утра и до вечера, да вот еще девять из десяти так и гибнут без пищи до времени, а сухие скелетики вяло уносятся с ветром... Разве не есть эта топь поразительно наглядный образ перенаселенного помыслами, вечно кишащего обыденными голодными желаниями, раздрызганного заботами сознания...

— Только не чересчур ли просто? Коли уж так они алчут состояться, что даже криком воют от нестерпимого зуда вселиться, впиться — значит, желание это хотя бы искреннее и жгучее. — Ну, что оно жгучее, о том спору нет: един комар, поющий в ночи, постоит и против целого человека, пение это с замирающим от гадливой ненависти нутром слушающего. А это походит на известный полуночный страх смерти, мысль о которой с губительной явственностью способна предстать во плоти именно в темный час и вполне достоверно, пользуясь безграничностью предательского воображения, вызвать в нем картины того, как нас самих уж не будет — а время продолжит течь...

Но на такие видения, когда услужливая мечтательность все ниже скатывается в бездну воплощающегося ужаса, где-то посреди груди откликается как будто нарочно оставленная на этот последний случай защита: от внезапной вспышки

матово-белого страха наступает умственная слепота, подобная успокаивающему уколу, после которой уже ничего более не представляется, — и это одно постепенно останавливает кошмар.

Так и комар, когда кусает, протыкая кожу своим хоботком, чтобы добраться до подземной крови, то сначала выпускает туда такую жидкость, которая не дает кровяным тельцам свертываться, лишает способности к сопротивлению; от этой-то жидкости и вскакивает потом отчаянно ноющий волдырь...

Все невообразимо точно пригнано, слажено в бесконечных рядах отвечающих друг другу сопряжений — и у идей, и у людей. Тело отзывается на комариный укус вередом, которого вполне могло б ради такого пустякового повода и не быть: ведь что такое комариный укус? — комариный укус, не более. Но вот он чешется же, и не зря; а смерть ближнего, что отнюдь, конечно, не однодневной малой язве чета, да и мысль о своем собственном неминуемом умирании — как-то переживаются, умягчаются слезами, стираются временем, сном, поглощаются любовью и идущей от сердца надеждой. Надеждой на то, что если историю называют уроком, задачей, то этим предполагается наличие у нее гармонического решения, сокращающего мохнатую многочленную дробь в стройное целое число; и не оттого ли, скажем, запах дикой гвоздики или глубокий цвет неба — вещи, отвлеченно рассуждая, сами по себе ничуть не хорошие и не дурные — представляются образами прекрасного?..

А рассудок тотчас же, уловив беззащитность в таком умилении, принимается обезьянничать: да ведь и вкус водки недаром горек? и пиво отчего-то не сладкое?

...Не соизволяю!..

Но и самый отпетый кат, творя мерзость и ярость, понимает неподобие содеянного и не назовет свое зло добром, даже если он совершенно искренне прилежит первому; а хотя бы и назвал, то все-таки сам же не поверит — потому что, делая недолжное, всякий необходимо имеет внутри себя понятие и о должном, пусть в крепко забытом или совсем уже отрицаемом виде. Да и слово-то это «отпетый злодей» означает, что существовал прежде в нем человек, раз было кого пожалеть и отпеть — но только страшно отпеть, заживо.

Присутствие некоего состава осмысленного порядка от века чувствуется в душе, а особенно через открытость ее той сродности с миром, к которой она, трепеща и ёкая, необходимо устремляется. Самые чистые качества в природе оживают и угасают от присутствия сына человеческого, своим внимательным участием указывая на него как на законного обладателя; любовное же проникновение хозяина в сокровенные свойства вещей влечет за собою такую радость внутреннего узнавания, которая обоюдно раскрывает их естество, заново разгадывая подлинные имена среди векового нароста переназваний.

Только вот как передать то основное ощущение, что отличает от всех иных порывов это очищающее веяние взаимного обновления? Так разнится вкус яблока, гревшегося в кармане во время долгой дороги, чтобы быть съеденнным в конце пути в качестве подкрепления и награды — в нем отдельно внятны и шкурка, и семечко, и сок с кочерыжкою, и разной спелости мякоть наверху и в глубине, — от пресной каши, вяло образующейся во рту после пятого пережеванного плода, взятого размякшей рукою из большой даровой кучи.

— Значит, здесь не просто приманка; в окружающем действительно воплощена тончайшая сочлененность, установлена художественная связь, крученой золотой нитью проблескивающая порою в сердцевине самых неожиданных предметов, ибо средством ее проявления, высвечивания может послужить все, что угодно, от густо дудящего майского хруща до освеженного ураганом пространства небес, всякое дыхание и тварь; так что мимоходом получает иное решение и грозный девиз Возрождения: на самом деле не цель оправдывает средства, а любое средство неминуемо указывает в цель. Найти же эту нить не просто необходимо — то есть не обойти кругом, нет другого пути, — но еще и душемутительно трудно.

А все-таки не зря было сказано: «Ты не искал бы меня, если бы ты уже не нашел Меня». Не помню сейчас точно, откуда это взялось, но бумажный лоскут именно с этими вовремя возникшими, впору пришедшимися словами, потерявшими по дороге авторство, первым угодил когда-то в мою заплечную сумку-котомку, дерюжную калиту, где лист к листу на-

капливались, собирались — так сказать, употребляя уже современный глагол, складировались —

...Не соизволяю!..

— куда помещались для будущей службы те истории и образы, которые содержали намек, давали свет, указывали на символ смысла среди умственного шатания или даже хотя бы имели какое-то косвенное, побочное отношение к направлению предстоящего пути.

...Колоброжение в тамбуре между тем совершенно стихло; воплощения упорства, везения, порядка и косненья незаметно удалились на ближайшей остановке во тьму внешнюю, сумев, наверное, отыскать за моею спиной общий язык, растворились, оставив надежду раздергать на стороны сомневающееся, но мирно настроенное сознание. Как бы то ни было, снаружи сквозь двойные стекла затекали теперь одни только мутные клубы сумерек, среди которых где-то там на влажных берегах осени переливались огоньки поселений, создавая мираж плытья по широким водам, будто бы и на самом деле вчера это было некоторого рода землеплавание.

Оттененная вечерней грозою, когда молнийные стрелы, сверкая и грохоча, вылетали из круглого лука облаков и безбольно язвили землю, темнота эта усиливалась, загустевала и явственно ощущалась как нечто угрожающее. Так что, видимо, не столь уж не правы были любомудры древности, соединявшие зло со тьмою в одно общее качество бытия — они сумели ясным и внятным образом запечатлеть свойства и общее действие одного из главных начал во Вселенной; опытная наука подошла к подобному же выводу спустя тысячелетия — в наше время, кстати, подошла, перегрузив его еще одною ответственностью.

Зло, говорили эти философы, не есть просто недостаток добра; зло могуче и действенно, оно олицетворяется и имеет независимую волю. Не то же ли самое и темнота, — вспомнить хотя бы кочующий символ черного солнца в поэзии: абсолютная темень, обладающая своим черным светилом, так сказать, темнилом, чернилом, миродержателем горя, которое льет тьмочисленные лучи мрачного цвета на все живое. И тут снова нужно поблагодарить наш язык, показывающий сразу соблазнительное сходство и полную противоположенность света и цвета: цвет бывает и черен, а вот свет — никогда; отли-

чие, казалось бы, всего в одну букву, но лежащее в самом начале. Откуда свет начинается, туда тьма не достигает и не обнимает его, потому что он беспрестанно истекает из света еще светлейшего, как истина от истинного. Белый свет, как образ совершенной полноты, заключает в себе весь спектр радуги, а у нас и пословица такая есть: Русь Святая белу свету голова.

Белизна же противостоит еще и бледности, бледной немочи, мертвенной бледноте, какую имеет труп, покойник из сказок и видений. Молодому Державину, например, как-то в бытность его офицером привиделась однажды утром, высунувшись из окна избы, где он квартировал, Адамова голова — «череп остова-шкелета, мутно-белый, подобно как из тумана составленный, который, вытараща глаза, хлопал зубами», словно остерегая от смертельной опасности. Кстати, он предупреждение оценил — и благодаря ему спасся, сохранив тем для России одного из самых природных ее поэтов.

Вот, значит, и еще одна завязь — и именно кстати, к-стати, оттого что скрывшийся, занесенный шелухой бормотанья остов слова, если его, несущееся горячею клячей мимо, пригвоздить вдруг прямым взглядом в глаза или, забившееся в пыльный зауголок, настигнуть внезапным вниманием, изъять оттуда, отмыть и рассмотреть покрепче — всегда в благодарность нашедшему покажет чистоту замысла, и вновь обретший может с тех пор считать его своею собственностью по праву первооткрывателя, пусть и не создателя; возрождения, хотя и не воскресения.

Взять то же словцо «если», которое Державин писал еще по-старинному надвое: «есть ли» — откуда сразу становились видны родители его и сама цель появления на свет. Есть ли? — Есть. То есть «есть» — настоящее время от основного глагола латинских языков, глагола «быть», расколовшегося в российском наречии на сложную сеть временных окончаний и лукавое, во всем сомневающееся «если», — да вот еще на «бытие», которому всякий, кому не лень, норовит поставить два безграмотных рога над последнею буквой. Но ведь и не скажешь, что после всех этих бытийственных превращений слова наши или даже весь вообще существующий ныне язык как-либо умалились; они — есть, есть, но в прикрытии, и им небезразлично участие, они требуют разгадки.

Отчего, например, череп стал именоваться «Адамовой головою»? Оттого ли, что хоть как-то названный, а тем более так удачно-ласково, он уже не столь пугает, как бы становясь частью житейского обихода, чуть ли не нашим родственником по человечеству, имеет имя и не страшит более неизвестностью загробия? — Или, может, потому, что предание подсказало художнику, изображая Распятие, поместить его над двумя скрещенными берцами в основание креста?

...После второго курса, когда мы были на практике в северном русском Заволочье, обмеряли памятники деревянного зодчества, кто-то упросил начальство объединить архитекторов с ленинградскими филологическими девочками, приехавшими собирать фольклор — им там одним, в полуночных пространствах, конечно, была не ходьба. —

...Еще одно слово ко времени: филология — значит «словолюбие», постоянно грозящее перерасти в извращение логофилии, то есть словоложества, особого рода грех блуда мысли со словом, «служения смертоносным буквам»...

— Ну что ж, и ладно. Потом на одной из них я женился. Эти потешные девицы, они часами стояли и молча глядели, как будущие строители лазают по сельским домам, амбарам, мельницам и часовням, помогали тянуть рулетку с метром, держали вешки, заглядывали в глазок теодолита, всегда терпеливо ожидая, когда мы закончим свою часть и сможем проводить их на какие-нибудь глухие выселки или уж вовсе в дальнюю деревню по имени Конец, где в избе старухи намечались ко дню рождения сына посиделки с пением, — на которые, кстати, сам-то сын так и не приехал из своего Северодвинска, и бабушки праздновали его, что называется, заочно. Там наши архивные барышни копотливо записывали бесконечные варианты их долгих стародавних песен, оставляя нам почетную, но коварную обязанность пить брагу из граненых двухсотграммовых мерзавчиков, всякий раз наполнявшихся снова всклянь — то есть дополна.

Назавтра нам от этого было уже затруднительно что-либо толково работать, а они как ни в чем не бывало и будто бы не устав даже вовсе, отправлялись засветло в другой какой-то конец, чуть ли не обратно на базу в Тарногу слушать сергачей-цыган, залетевших зачем-то в совсем уже нетаровитый и малодоходный для них край нечестно клянчить подаяние на

неведомое «землетрясение на родине» — в Индии, что ли?..

А еще они постепенно вовлекли всех нас в соблазн выпрашиванья — потому что там, если что и отдают, то обычно даром — древних пудовых книг кирилловой азбуки, на которые тысячелетие копившая их северная, не знавшая крепостного права Русь и до сих, до наших пор богата... Так вот, в одном таком сравнительно недавнем сборнике, тщательно выписанные, будто нарисованные буквы которого были словно бледною тенью, далеким потомством некогда мощных почерков устава и сына его полуустава, — они обнаружили тогда вместе с другими известными и один новый извод касающегося до нас сказания о начальном зодчем и его первостроительном материале: об Адаме и дереве. Повесть эта считается одной из древнейших на свете, однако даже богословами признается за апокрифическую, то есть легендарную. Саму-то книгу, конечно, сдали позже в Пушкинский дом в древлехранилище, но лист с оборотом, в который уместилась вся история, я сам, не умея тогда легко читать по-славянски, слово за словом перевел, переписал, и эта современная копия необходимо угодила все туда же, в чересплечную котомку-калиту, дорожную шкатулку без углов, благодаря которой длится еще традиция душки-Чичикова, разъезжавшего без конца по пределам отечества, так и не разуверившись во всемогуществе своего автора, обещавшего ему непременное исправление в третьей части поэмы.

Рукопись дал дед с драматическим именем Ксенофонт, который ее до того никому упорно не «казал» — подарил вдруг, по каким-то одному ему понятным обстоятельствам и прибавил при этом, увидав подлинное внимание захожих «туристов» к Слову о честном стволе и корнях, что то самое Перводерево было всем произрастениям на земле отцом и что будто бы в пятьсот лет только и можно было обойти его кругом, и не раньше. Смысл этого неторопливого полутысячелетнего круговращения стал мне понятен, как кажется, лишь потом, когда, вспоминая о нем, легче было удерживать себя от чересчур уж наглядного аллегорического толкования всего через имена: Адам — человек, или даже «красный человек», Евва — жизнь, Сиф — возмещение, Соломон — мирный и т. д., из-за которого вся повесть превращалась в шахматную задачу, зашифрованное письмо на потайном языке, —

в пользу объемлющего восприятия ее как живого символа, ключика, подключающего воображение к самому духу сказания о начале:

«...Когда приблизились дни Адама к смерти, невиданной еще до того живущими на земле, он вернулся к дверям Эдема и очень скорбел. И удивлялись все сродники его о том, что это такое творилось с ним, потому что не знали ничего и о болезнях. Тогда сын его Сиф говорил матери своей Евве: «О мати моя! ты хорошо его знаешь — скажи нам, что с ним делается?..» — «Сыне мой, — отвечала Евва. — Всегда желает он райского блага, вспоминает о нем и скорбит».

Тогда Сиф подошел к раю. Ангел принес ему ветвь дерева, от которого вкусил Адам, и сказал: «Это древо прогоняет нечистых духов: это просвещение темных, и кто верует, не заблудится». Сиф взял древо и принес к отцу. Увидел его Адам, вздохнул и сказал: «Вот древо познания добра и зла, ради которого я изгнан из рая!» Взял его, свил себе венец и умер; и положили его в венце в землю.

...И выросло из того корня дерево великое...

Когда же царь Соломон строил храм в Иерусалиме, то искал он, чем покрыть его, и заклял демонов, повиновавшихся ему, чтобы они добыли наилучший состав. Пошли демоны и, вырвав то дерево с корнем, принесли в Иерусалим. Между тем голова Адама так и находилась при основании его, и никто не знал об этом.

И вот отправился однажды Соломон на охоту, и застигла его внезапная буря. Один из отроков не случился тогда при царе, увидал пещеру и скрылся в ней от ненастья со своею собакой и ястребом. Пещера же та была кость, а не камень. Когда буря прекратилась, отрок вернулся во дворец из пещеры и поведал о ней царю. Наутро Соломон пошел туда, велел очистить кости от коренья и земли и познал, что это голова Адамова.

Каменщики примерили древо, но не приложилось оно ко храму Соломонову и не могло быть употреблено на постройку. Тогда его перекинули через реку, где оно служило мостом. Позже царица Савская не захотела пройти по этому мосту, ибо знала, что на нем будет страдать Сын человеческий. Иудеи же бросили дерево в яму, ставшую позже исцелительной Овчей купелью.

Века спустя при чистке купели оно было вынуто и вновь переброшено через поток Кедронский, а воины, ведшие Иисуса на распятие, захватили дерево с собою, чтобы не ходить далеко за материалом для креста. На этом кресте и был распят Христос.

Крестной смертью своей он искупил всех живущих и живших, превратив символ позорной казни в знак славы, так что с тех пор уже вся Вселенная, приняв крестообразное строение, с четырех сторон света приходит и собирается в скорбящем человеческом сердце. А потом, простерши руку, Спаситель сотворил крестное знамение и над Адамом, сойдя к нему в преисподню, дабы не царствовала больше погибель вечная, и, взяв за десницу праотца всех людей, исшел как новый Адам вместе с ветхим из ада вон...

Но пока пребывали они еще во аде, вот появился на небесах другой человек, презренный по виду, и изображение креста нес он на плечах своих. И когда все святые увидели его, они спросили: кто ты? По виду ты разбойник — откуда это знамение креста на плечах твоих? — И он, отвечая им, сказал: «Вы справедливо говорите, ибо я и был отпетым злодеем и творил всякие преступления на земле. Иудеи распяли меня с Иисусом, и я видел все чудеса, совершившиеся через крест Христов, и я уверовал и молился, говоря: помилуй меня, Господи, когда приидеши во Царствие Твое! — И тотчас же, услышав молитву, Он сказал мне: истинно говорю тебе — ныне же будешь со Мною в раю. И дал мне сей знак креста, сказав: иди с ним на небеса, и, если ангел-страж рая не захочет впустить тебя, покажи ему это знамение и скажи — се Иисус Христос, распятый ныне, послал меня...»

— Как видно, повесть оказалась не только о первых зодчих, о должном и не должном основании строительства; она сумела выразить основную мысль всех преданий земли о реке времен, переплетении путей, общей соответственности мира, в котором ни доброе, ни худое слово, действие и помышление не исчезают насовсем без следа, воздаяния, без уплаты, но перетекают, передаются в потомство, всех повязывая, соединяя и отзываясь — во всем, во всем. И так, вроде бы всего лишь назвав имена и события, выстроив только ряд совершившегося, оставляя всякое суждение о них за строкой, Слово о честном древе единым художеством своим, незаметно

перенося содержание во внешний образ роста видимого плодоносящего дерева, передало ощущение скрытого повсюду замысла — как семя его, подымаясь из корня познания греха, росло, очищаясь постепенно от векового заклятия, и вынесло наконец наверх крепкий кров, прохладную сень милосердия...

А складывалось все сказание внешне, наверное, совсем просто, легко, почти так же, как вот сейчас я гляжу на дорогу в то время, когда ноги ее размеренным шагом перебирают: всматриваясь вокруг в мир, в этот язык, на котором высказывается само мироздание, человек улавливал его состав, его душу, и во мгновение их встречи происходило как бы самозарождение света во взаимном распознании, запечатлевавшееся словно сфотографированная молнией картинка в быстро остывающем ее сиянии — при такой вспышке можно даже предвидеть течение будущего, которое тотчас же, если признать его и назвать, становится настоящим, самóю действительностью. В угадывании его сквозь наружность вещей человеческое воображение на самом деле занимается уже строительством собственной судьбы.

Так, при благодарном внимании к плетущейся ткани событий становятся видны в них многочисленные счастливые и несчастные совпадения, маленькие чудеса смысла, вроде пересечения с ненарочно узнанными необходимейшими людьми, которые, кажется, совсем случайно изменяли что-то к лучшему, к пробуждению, к подлинной глубине. И хотя задним числом можно было бы отыскать у себя в памяти в непосредственно предшествовавшем времени что-то их вызвавшее, пусть даже простое намерение, — создается впечатление, что на самом деле все это появилось совершенно невзначай; но потом соображаешь, что не приключись такой неслучайный случай, лучшая в жизни часть вовсе бы и не сбылась.

Совпадения такого рода, как было замечено слишком уже многими, указывали на то, что явно служат чему-то средством — средством, очевидно, снова стрелою летящим в цель. Проследив этот полет, недостаточным покажется просто сказать о нем, назвать и удивиться, — единый раз увидав блеснувшие вдали купола и поля таинственного Беловодья, трудно потом отвести от той стороны взгляд, отказаться впериваться до слез, отойти прочь, отпасть... Но ошибкою было бы и требовать непременного насильственного открытия всех

тайн сей же час нараспашку, нудить его или, как это говорили высоким слогом, «восхищать» —

...что сродни похищению, причем приставка «вос-» означает, что тут происходит воровство у чего-то внеположенного, находящегося свыше...

— так вот вернее было бы не восхищать, ухищряясь, а терпеливо и искренне ждать, выглядывая трезвым непомраченным оком среди окружающего хаоса потаенный узор, — с надеждою, что для почтительного и старательного ученика он рано или поздно раскроется тогда сам. Потому что поистине пустое зломудрие — точить взором какие-то замирные небеса, залезать умом за небоскат, рассуждая о возможности или даже подробностях жизни за гробом, когда разгадка вопросов лежит здесь же, перед глазами, лежит достаточно явно, затаившись лишь подобно мячу в траве, выставившему крутой красный бок, и стучится в душу своим цветным ключиком — необязательной красотою; а душа, будто потерявший любимую игрушку ребенок, чувствующий в кончиках пальцев щекотку от непосредственной ее близости, скачет кругами и заливается смехом на всю окрестность. Тут-то бы наконец и увидать...

— Но тотчас же извольте остановиться! Ключ упадает обратно в густую поросль, нить рвется, узнавание распадается на куски, так что и не удержать, и после всего только минутной радости вдруг претыкается ход; даже то, что уже вроде бы удалось уловить — не запомнилось, протекло песком между пальцами.

Здесь какие-то свои особые законы: в сознании, словно соты, сами собою начинают множиться перегородки, соображение движется туго, тычется в стороны тупо, и внутри поселяется такая туга, что совсем уже простые мысли думать становится трудно. Как будто рукой помогаешь им идти вперед, подталкивая в толстенькие задки, а они, кряхтя, упираются, гордецы и капризники, прекословят по каждому пункту.

Так что вот что... то есть, о том это я, что рассуждать делается затруднительно... Хотел, стало быть, сообразить о сложности размышления и сам завяз... Да о какой это такой сложности-то?.. Ах, вот об этой вот самой, о... А ну-ка, братец, напрягись!.. Ты начал было, гад эдакой, про то, что всех связывает... Ну и что же их соединяет, всех этих?.. Что такое

их вяжет, а?! Глупость одна твоя их только и собрала, бессвязные эти слова, и не дает ничему путному протолкаться к душе через ватную голову.

— Милосердия, мысли! Милосердия!..

— Куда там... Жестоковыйность одна, да и только.

— Ну нет, погоди браниться-то, осуждение — оно пуще уныния.

— А что, не о чем разве унывать? Ведь поминутно случается катастрофическое снижение духа, образ которого больно падает лицом в прах, и потом становится так обидно, как будто бы что-то самое дорогое потерял, да еще втройне скверно оттого, что потерял-то из-за одной лишь неповоротливости собственного ума...

Тут можно, правда, спасаясь от отчаяния, заняться любым другим соображением, самым выспренним, затейливым соображением, но только сердце на него уже не отзовется, и мир тоже не отзовется, — значит, связь-то и потерялась. Без нее же никуда, без нее и внутреннее слово своей души никак не сообщить душе чужой, хотя бы и такой же по внешности русской; их языки без скрытой связанности непереложимы, и при всякой попытке перетолковать что-то — самому в одиночку понять какие-то внешние вещи без взаимного с ними проникновения или, наоборот, высказать вслух сокровенное свое — многочленный перевод разных понятий превращается во что-то вроде детской игры в испорченный телефон.

А вот ежели к тому же припомнить и народное поверье о семилетных кругах перерождений, к которому потом еще, по-видимому, придется подробней вернуться, то есть представление о том, что раз в семь лет кровь, да и весь состав человеческий совершенно обновляются, появляясь на свет как бы вновь... — Ведь мне как раз сейчас близко двадцати восьми, и на глазах оканчивающийся Петр уже завершает превращение в нового, может быть, не менее чужого прежнему, чем весь остальной мир. И коли не суметь отыскать общую им идею, сродственность, — то куда же тогда после деваться?.. Отчаяние наконец раскричится знаменитым «достоевским» скандалом в расходящейся на голоса душе —

...отчаяние, кстати сказать, от «чаять», то есть надеяться; стало быть, от-чаяние это без-надежда...

— и тут как тут она, встает в рост и свищет, безнадежная,

хоть плачь, неспособность передать саму эту невозможность поверхностно-скачущими образами, которые ведь выражаются-то вслух в тех же самых предательских словах чужого, внешнего языка. Так постепенно создается представление о том, что некоторые основные положения, составляющие самую суть личности, сосредоточились на глубине в слоях, лежащих гораздо ниже словесных, витая где-то в бесконечных пропастях первотенями и ни за что не желая показываться наружу. Спускающееся туда за ними умозрение подобно Орфею в Аиде, первое же вглядывание которого в искомый предмет необходимо погружает тот с воем и стоном обратно в бездны бесформенного. Наверх извлекаются сетью одни только ублюдочные останки, тараканьи шкурки, мышиная снедь; тогда словам просто-напросто самим приходится вытягивать из себя внешний смысл, и высовывается из них при этом что-то чужое, иное, другое, совсем не то!..

А оттого даже те соображения, которые все-таки выговариваются вроде бы удачно, рождаясь на свет живыми, вертятся кругом и не понимают уже сами себя; или вот еще скажет человек в разговоре нечто, образовавшееся в слове прежде, нежели оно побывало мыслью — и потом приходится ему изумляться и долго доходить разумом до того, что же это такое выразилось. Пусть даже порою бывает и недурно пущено, но вот что здесь удивительнее всего: откуда оно взялось-то? Не могло же ведь ни с того ни с сего возникнуть из самой стихии говорения. Ан нет, распишитесь в получении... Вылетело...

При этом не становится ли более явным еще и то, что всякий вообще язык соответствует своему хозяину, хотя такое соотношение и устанавливается само собою, помимо желания?.. Почти так же, как это обстоит и с телом: собственное лицо, руки да ноги с головой и еще то, что зовется мощным словом «туловище», — они обычно мало кого удовлетворяют, сотни раз уже описано то известное чувство, которое возникает, когда вглядывающийся в них ощущает все это совершенно себе чужим; кстати, тут, должно быть, лежит и корень беспрерывно возрождающегося в преданиях и письменности учения о переселении душ. Но вот ежели опуститься несколько глубже, еще на один уровень понимания, то вскоре становится очевидным, что вне зависимости от недовольства своею

оболочкой внешность людей тем не менее есть лучший образ их души, сокровенного существа, «человека для себя».

Погружаясь же уровнем ниже, а не глубже, это можно уподобить вот чему: «выражениям лиц» обуви (потому что нам ведь свойственно очеловечивать окружающее, от иголки, автобуса, города и до таких отвлеченных понятий, как красота и сверхсознание включительно), которые странным образом передают характер своих, так сказать, носителей. В этом легко убедиться, например, в метро, когда позабыта книжка и рассудок мается вынужденным бездельем; тогда, чтобы скоротать душную подземную дорогу, которая потом еще необходимо наградит ломотной зевотою на полдня, нужно заставить себя вглядеться с помощью воображения в ботинки пассажиров, как будто нарочно для того усаженных напротив линейкою в ряд (пусть эта картинка и явится еще одним несомненным снижением темы, — ну да она у нас постоянно грохается, как клоун в цирке, но зато и непременно подымается вновь, хоть и расквасивши порою нос). И вскоре становится заметно, что образины этих туфель, башмаков, сапог, сабо, сандалетов, босоножек, полуботинок, спортивных тапок, кедов и даже недоведомых зощенковских «бареток», — все они с несомненностью копируют черты лиц владельцев.

— То, что от долгого житья бок о бок собака начинает походить на хозяина, а хозяин — на собаку, сказано было невесть как давно, — но все-таки живой дышащий пес, кроме того, и сам является отчасти личностью; а вот внешность уже всецело есть кожаная риза, зеркало и язык внутреннего человека, «братец осел» ассизского беднячка или же «телесный болван» Григория Сковороды, оттого-то она так плотно и облегает душу, чтобы потом, в свою очередь, отразиться в одежде и обуви. Сморщенные и тупые, ссохшиеся в трещинах и жирно нагуталиненные, скалящие акулью морду, просящие каши или военно-твердые, легкомысленно-востроносые или криво стоптанные — все эти обутки одною резкой чертой, как ухватистый стиходуй, передают главные качества своих владельцев. Примерно так же и само тело — оно нас высказывает вовне.

Но потом, присмотревшись попристальнее к только что

открытому соответствию, можно обнаружить в нем несошедшиеся концы: ведь в потоке времен все растет, развивается —

...а в конце перестает расти и развевается по ветру...

— погоди, не снижай дальше покамест; так вот, ежели приглядеться пристрастнее, то начинает казаться, что иногда оболочка опережает в росте внутреннюю свою — а когда и отстает от нее местами. Как скоро установлено их соотношение, тотчас же делаются особенно заметными как раз те случаи, когда союз этот расстраивается, со-узы распадаются, и части не сотрудничают одна с другою. Беспорядок раскола превращается в безобразие, только если заранее известно — как и чему которая половина или же треть должны были отвечать. Совершая отпадение, отход, всякий осколок притом явственно сознает, что он именно отходит, и что то, от чего он удаляется, — есть. Иначе нечего было б и отделяться — не от чего.

...Подобное же доказательство смысла через отрицание встречалось, кажется, в рассуждении об отпетом и распятом...

С распираемой так на стороны совестью трудно путешествовать, но и неподвижно уже не устоять. Ущербное знание о разъятом единстве замедляет ход и мучит при каждом шаге, как проперший подошву гвоздь, дырявящий снизу телесный башмак, из которого сочится тонкая темная струйка крови от незаживляющейся болячки; навстречу же ему острится другое лезвие — сомнение в себе, протыкающее сверху. А ведь для тела нóги — что крылья для души, и вот хотя оба эти гвоздя мысленные, гвозди-братья, и выкованы они всего-то из косных идей, но каждый головогрыз и уязвляет разом оба состава естества так, что парение воображения, вдохновения, творчества становится более невозможным: неспособна к полету душа, погорбленная болью и злобой на эту боль, дозела огорченная тяжким словом.

Слово — это всё, то есть, вернее, слово это — *ВСЁ*. Только сначала оно показывается лишь из-за поворотов, на перекрестках нетрудных еще первых дорог, а потом вдруг неожиданно во всей силе своего бесславия возникает впереди, там, где должна была открыться ближайшая цель — работа, забота, занятие, где ожидалось увидеть не столь уж важное для внешних, но самому-то человеку решительно необходимое краткое определение того дела, которым он будет поддержи-

вать огонь в печи. И тут на чужом этом месте вырастает, как запретительный дорожный кирпич, оборотистое бритвенное словцо *ВСЁ*, безопасно маячившее до времени; а рядом с ним выпрямляется и встает, выжигая унынием мысль, обличающий всякого деяния непостоянство и ползкость вопрос: *И ЭТО — ВСЁ?!*

— Тогда едва было выкарабкавшаяся к солнцу, постепенно успокаивавшаяся от волнения поисков душа падает обратно в безобразную глубину смуты... От рассматриванья возможных возражений становится все более противно ясно, что любой ответ выходит тщетен, что недовольство собою возникло в мире еще чуть ли не до рождения человека и вряд ли исчезнет вместе с ним. Впрочем, точнее будет сказать, что появилось оно как раз в момент выхода на свет, высвечивания будущего его лица, когда «я», впервые увидав себя, осознаёт, что вот «это» — и есть именно «я», то есть то, что ни к чему иному заведомо не сводится, оставаясь после вычленения всего подобного чему-то другому; единственное, неповторяемое и даже несравнимое — потому что сравнимое с чем-то уже будет не личным, но общим. И только что «я» успевает как следует оглядеться, как тут же заводится в нем короткий вопрос: *И ЭТО — ВСЁ?!* Он-то и запечатлевает возникновение двух противников из прежней единой слитности, — лишь с появлением горы может обозначиться пропасть, лежащая у ее подножия...

С тех пор бездна эта щелкает на стыках и сочленениях железного и, как кажется поначалу, прямого поступательного пути в объемном мире угловатых вещей: покажется разок в переходе между детством и неожиданно прекращающем его, превращая в одночасье из жизни в воспоминание ученичеством; ахнет потом как будто бы во внутреннем среднем ухе посреди школы, когда просыпается, словно во второй раз родившись, самосознание, разобравши с тоской и досадой, что не все склонности у людей на свете общие и не всякое слово ближний понимает так же, как ты. Она забредает и еще порою, как старый полузабытый знакомый, когда приходится со скудным знанием, больше при помощи одного лишь чутья выбирать основные установки для будущего — например, хотя бы временное предположение о смысле смерти и

существования; а у кого узнать, насколько счастливы были такие слепые отгадки...

Но каждый раз, обладая странной способностью постоянно казаться новым и одновременно известным с рождения, в горький час заявляется из миродержательной тьмы это крайнее ее понятие о *ВСЁ*, само себе не равное, предполагающее или что-то еще большее его, еще могущественнейшее *ВСЁ* — или признание своего тождества с Ничто, того, что *ВСЁ* есть ничто. Оно настойчиво выступает из сумеречной мглы, норовя к тому же предстать не самим собою — потому что, наверное, отдельно от человека выглядит совсем не так привлекательно, — а с жуткою правдивостью показаться совестным двойником, честным слепком с души, верным взглядом со стороны на собственное лицо.

— Подобно тому как путник в ночном поезде, глядя в окно, поначалу видит там отраженную внутренность вагона вместе с самим собою, опрокинутым зеркальною иллюзией во внешнюю темноту и без вреда несущимся по кочкам и насыпям; а когда глаз обвыкнет, всматриваясь в магическое стекло, он приникает сквозь отражение и наблюдает одни только проходящие во мраке местности — как летящий на ведьме Брут, заметивший гоголевским глазом даже пузырьки воздуха, будто бисер обсыпавшие матовые перси смеющихся в ночной реке русалок. Но потом, нечувствительно позабывшись над этими картинами, отвлекшийся умом ездок вдруг снова наталкивается вспугнутым взором на уставившееся в него из наружной мглы собственное отражение, от неожиданности и явной прозрачности которого ему становится не по себе...

В счастливую новогоднюю ночь, в самый свободный бездельный час, в миг окончательного завершения искреннейшего из трудов снова встает, как только что убитая цель призрак *И ЭТО — ВСЁ?!*. Нет, это, конечно, еще не всё, но за ним уже остается одна только смертная память, и тогда всякий раз долгожданное наслаждение разрушается в прах.

Неизвестно даже, для кого это разрушение опаснее — для видимых вещественных дел или же для тех, которые совершаются внутри сознания и внешнего выхода вроде бы не имеют. То есть, вот, например, прочитана книга, замечательная, чуть ли не наилучшая из редких и давно желанная, — ну

и что? Каков итог, что после того осталось — или, наоборот, возникло вновь?.. Да ничего почти, год или два спустя ее уже возможно будет снова перечитывать как незнакомую и, как в прошлый раз, по-видимому, опять безнадежно — или бескорыстно — но все равно бессмысленно.

Вот этот самый бег бестолковщины и потребно, наконец, остановить. Кстати, в известных ученических поисках счастья тоже был какой-то прок — не зря же один девяностолетний сочинитель заметил, что подлинного писателя занимают на свете всего две темы: смысл мира и мелкие радости существования; поиски эти как раз рождаются тою же самою жаждой порядка, хотя потом и невозможно оказывается извлечь чистую сердцевину из их замутненной гордостью, плодящейся новою кровью и безвкусной резвостью «мальчиковости».

...Это — продолжая, так сказать, башмачную мысль — есть такой товар на прилавках наших магазинов, носящий невыносимое название «сандалеты мальчиковые»; так вот, как мне представляется, и все прочие вещи тоже бывают с некоторой стороны трех лишь родов: мужские, женские и — «мальчиковые»...

Но и тот обновленный человек, что получается согласно народной физиологии из ветхого каждые семь лет, опять ставит перед собою решительный вопрос о сути, только в более духовно-трезвом сознании он выговаривает его точнее: ему нужен уже не пресловутый «смысл жизни», о котором, как оказывается, даже в Большой Энциклопедии нет никакой статьи (было еще такое мальчиковое недоумение: а зачем же тогда все остальные?..); ему теперь требуется поверить в совокупность, осмысленную связь всего сущего. Именно ее он чувствует как истину и хочет не только представить перед внутренним зрением, но и увидать внешним открытым оком среди вещей, чтобы включиться и самому стать толковым живым звеном. Связь эта пока еще, конечно, не найдена, но убежденность в ее существовании врожденна или, лучше, прирожденна человеку, то есть в ней он уверен всегда, даже когда плачет о разрыве в минуту отчаяния. А значит, решение вопроса есть, и ведет к нему путь; но не всякая дорога, ложащаяся сегодня под ноги, — этого пути продолжение.

...Как-то раз на третьем курсе весною вдруг из какого-то журнала, который мурыжил в метро, направляясь в институт,

без предупреждения и перехода высунулось это невнятное жирное ВСЁ. Отставивши в сторону печатную бумагу, стал соображать, но, разбираясь все глубже, вскоре тут же подробно запутался. Мысль потеряла структуру, цель, и вместо понимания я просто с головой погрузился во всю эту бестолковщину, сам почувствовав себя ею.

— Это состояние было чем-то сродни музыке, стихия которой такова, что с последнею нотой слушавший оставляется в совершенном недоумении: никакого внешнего итога, да и внутри воспоминания нечеткие, смутные, смазанные, потому что в музыку человек погружается с потерею ощущения своей личности и памяти, полностью отождествляясь со звуками (если только, конечно, не отвлечется совсем посторонними образами и они не заслонят собою все прочее). Душа возвращается оттуда как после сна — без изменения: выходило сознание из дома своего, потом вернулось, а что там без него творилось, оно и знать-то не знает; может, его вообще обокрали лихие люди...

Так бестолково промыкал полчаса в подземке; то же продолжилось вскоре и на лекции. С какого-то чуть ли не десятого слова ухо перестало слышать нудный слабый голос преподавателя, назидавший что-то среди таблиц с разрезами дворов и лестниц орденских замков или романских базилик, — и бесплодное оцепенение, подкрепляемое всеобщим недовольством, снова стало разливаться в мыслях.

...Ну, строится дом — дворец это или хижина, разница здесь пока для нас невелика, будь он даже колокольнею, а хоть и горшком, потому что, по точному древнему определению, наиболее полезным во всех них качеством является пустота, полезная пустота; сами же они не более чем кожа, одежда для того, кто заведется внутри. Так вот что же именно там поселяется?..

И тут — я этот мгновенный срыв прочно запомнил — вдруг показалась сразу вся вторая ступень, и тотчас же новый, еще горший гвоздь вошел в другую стопу; да и время было уже, конечно, пора — сколько можно, в конце концов, увязивши правую, махать одной левой ножкой, как не спеша распинаемая на булавках натуралистом лягушка, все еще надеющаяся выдраться на свободу старательным повторением заведомо безнадежного усилия... Пока глаза следили в

наступившей внутри слуха тишине за уродливыми движениями губ говорившего — как они, вытягиваясь вперед и увлекая за собою кончик носа, стукаются там между собою, смачиваются слюной, раскрываются, выказывая неровные края зубов, а потом снова мелькают и слипаются, — остановка в понимании кончилась, и оно дернулось с ходу вперед.

— Ну хорошо, вот как все оно славно у нас получается; а теперь представь-ка себе на миг, что неожиданно выяснилось содержание этого *ВСЁ*, открылось достоверно и стало видно вблизи так, что можно сказать себе: вот **ЭТО** — все. **ВОТ И ВСЁ!**

— Неужто тебе только того и было надобно?!

От одного такого хода впереди вдруг открылись виды несравненно широчайше прежних; но одновременно и куда более опасные: показалось возможным связать мир по своему произволению, — но ведь, чем свободнее идти по незнакомой стране без путеводителя, тем и страшнее. Не был бы я уверен в оправданности этих поисков самой конечной убежденностью, тут совсем уже легко было б свернуться с душевной оси; сразу возникли бы удобные сомнения: «А кто ты, собственно, таков, чтобы не то что судить, а даже и просить обязательного отклика на свои вздохи? И чтобы ответ дан был именно тебе?! Ты на себя-то, внутрь-то глянь, батюшка мой братец осел! Насколько хорош твой сосуд для правды, готов ли и не лопнет ли он, как необожженный горшок, а с ним вместе и ты сам, будто крепкое какое оружие единое только слово свое поостривший на истину? Да как ты еще язык свой на нее подымаешь...»

Но — вот не скажу только, к счастью это или к беде — не знаю я таких страхований или, как они современно называются, комплексов и знать не желаю. Чувствую верно, что здоров и ничем так безнадежно не плох, как и всякий современник, чтобы, добросовестно стараясь, не получить заветного знания. И незачем тогда грудь молотить себе даром, потому что при этом лишь заводятся в сердце от сотрясения гнилые духи душевной боязни, болезни.

Все человеческое естество ощущает надежду на то, что смысл в мироздании есть. Надежда же созвучна одежде, она ей и по корню сродни — одежде, которую надевают при рождении: надень их, облекись, согрейся, ибо вокруг будет холод-

но, трезвей и не теряй этой на-дежды, ведь дыхание твое — не просто облачко пара... В котомке была еще полустраница из другой древней восточной повести: «Приидя в мир и видев небо и землю и море, солнце же и луну и прочая, удивихся красоте их. Познах же по сем сущая вся в нем, яко нуждою движутся, уразумех держащего быти: всё бо движущее крепчае движимого есть, и держащее и соблюдающее сильнее есть держимого и соблюдаемого». — Слог, близкий державинскому...

Но не может быть толку, как видится, и в одном лишь безостановочном преследовании скрытых значений, коли оно обретаемую цель подменяет неуловимой, полагаемой в бесконечном употреблении средств, в безысходном «искании», среди которого теряет уже само себя. И теряет безнадежно, потому что при таком раскладе совесть делается настолько рассудительною, что с готовностью дает требуемые от нее ответы и соглашается на все ради своего спокойствия; а значит, она развращена уже догола, и внутренний человек, который там постоянно в темноте, согнутый в три погибели (вот тоже выражение!), ворочается, бьется, толчется и стучит, чтобы отворили — он уснул или умер. Живая же совесть — безумна.

Но пока еще болит она, покуда нудят и язвят прибитые ноги — надежда не уходит; покрывая пустоту в душе, она гонит прочь отчаяние. Да, внешний мир как будто поворотился против нас; да, он вроде бы сумел приковать, пригвоздить — а ну-ка я рвану все же, а потом, отброшенный назад болью, раздумаюсь и потягну высвободиться духом. Ведь коли сковали, то, следовательно, прежде была и свобода — подобно тому как если кто-то бранит все на свете, называя недолжным и негодным, то это оттого лишь, что сравнивает он с тем должным и годным, в существовании которого подспудно убежден.

Своя беда — свобода... Помню, каким встряхивающим событием, похожим на неожиданный удар в лицо, оказалась вдруг встреча с нею один на один — перемена, после десяти лет привычного единообразия, школы на институт. Первое время даже еще как-то по старой привычке пытался «готовиться к лекциям», то есть прочитывал заранее в учебниках имеющее быть изложенным на следующий день, пока более

знакомые с обиходом студенты не засмеяли: ты чего это там делаешь, Руказенков? Это ж ведь не уроки — то лекции... — И мы пошли тогда с ними пить пиво, — тоже, если угодно, аллегория, воплощение (потому что плоское — оплощение, так сказать) невеликой беструдной вольности...

Возрастание нескованности — притом, что даже и совершенная раскованность есть всего лишь предтеча свободы, — осознается постепенно, хотя есть для него и какие-то внешние видимые знаки. В сущности, всякий человек учит себя сам при соприкосновении со все расширяющейся областью выбора, с которой ему приходится вступать в небезопасные отношения, и для того поначалу требуется укрепить, достроить собственное сознание. В этом смысле самообразования он по преимуществу и является, так сказать, приват-студентом, — такое прозвище дали у нас одному сокурснику еще в первый семестр за то, что на экзаменах он вперемежку с конспектами поглощал повести Гофмана; и было оно вовсе не обидным, а очень верным определением, ничего общего не имеющим с кличкой.

— Ну, а потом такое открытое признание извне нашей самостоятельности, приватности, как свободный день. Стоит только вслушаться, вникнуть в звук и смысл этих по-настоящему новых слов: ведь это не воскресение, пришедшее из христианства, и не ветхозаветная суббота — шабаш — забастовка. В расписании, которое висит на первом этаже у входа, его неточно и забавно сокращали как «св. день»; скорее уж тогда — свой день.

...И сегодня, кстати, тоже мой свободный день, один из последних — обучение скоро заканчивается...

Так вот и воспользуемся им, чтобы прервать оскорбительное и гнетущее дух пролетание по миру в роли невольного ездока на бешеной паре пространства со временем. Скорее во́н из той труской коляски, которую они неведомо куда стремят; давно уже пора перестать соглашаться заранее со всем подряд и разотождествить себя с этим движением или хотя бы приостановиться. Кажется, у Флоренского есть мысль о том, что время — это наш самовольный испуганный бег вдоль бесконечного ряда познания. Ну и ладно — попробуем прекратить его в самый св. день.

А чтобы остановить наверняка, надо нарушить их согла-

сие, гибельную для меня связь, поссорить, как собак в упряжке, — и когда они передерутся между собою, весь поезд встает; потом уже, разделенных, взаимно враждебных и злых, их легче будет или совсем разогнать, или снова собрать, перестроив по своему разумению.

— Взять вот, например, творческую деятельность архитектора, строителя, приносящую вроде бы радость и удовлетворение (но только не иудо-творение вольных каменщиков, отчего-то присвоивших себе исключительное право на весь звонкий составной набор прекрасных русских слов, относящихся до плотничанья и зодчества). Это мое будущее занятие еще тем для подобного рассуждения хорошо, что в нем разительно нагляден внешний итог работы: выстроенное здание, каменный дом, стены которого можно ощупать рукою.

Как он появляется на свет? Сначала я его выдумываю — замысел и вид, форму; время это, по совести говоря, страшноватое, потому что здесь постоянно грызет опасение — как бы не ошибиться, не попасть мимо цели, а, наоборот, ухитриться подглядеть в будущее внутренним зрением и отгадать тот его образ, каким оно станет в действительности. Оттого-то всегда хочется поскорее пройти эту часть, пугающую неизвестностью, — ведь насколько легче черкать и корпеть над самым хаотическим черновиком, нежели стоять один на один против совершенно пустого листа, которого боюсь. Быстрей бы уж что-нибудь родилось, хоть мальчик, пусть даже и девочка, — чтобы можно было его наконец воспитывать, главное, было бы кого...

Но вот после всего этого начинается все-таки и сама постройка, — а тут уже и другие торопят, да и сам в скачку незаметно втягиваешься, подгонять начинаешь, желая взглянуть на готовое дело — и вовсе ведь не для того, чтобы отдохнуть потом после работы, не этот отдых моя задача...

Затем, когда дом окончательно выведен, он стоит уже сам по себе, не я и не мой даже, а самостоятельное существо. И наступает время для очередного решения и выбора, в котором опять испытываешь ломоту и тоску от неопределенности. Вскоре какое-то новое задание, конечно, снова отыскивается, и еще раз повторяется подобная же история, колесо делает следующий оборот. Так вот оно и вертится бессмысленно и почти бесконечно: до смерти. А происходит все это от невер-

ной установки; ошибка здесь заложена в начале, в определении, здание строительства поставлено на ложном основании.

Ну что ж, тогда выйдем вон из себя на свободу и в свой день поглядим на трудящегося Руказенкова извне: чего ради он старается и где для него в этом цель? Причем это приходится решать здесь и сейчас же, чтобы работа его впредь была осмысленная и с пользой... Да, но как-то боязно и неприятно долго глядеть на себя со стороны. Оттого, наверное и распространился теперь в людях новый страх, страх тишины, среди которой всякое движение вдруг застывает, и отождествление человека с бегом пространства, крепнущее с возрастанием скорости, распадается. Тогда ему делается жутко, и, остановившийся не по своей воле, он начинает мучиться, его крутит болезненная тоска; все, что было в нем общего с другими, подобного чему-то чужому, внешнему, отходит от души слоями, и наружу выступает лицо, личность, покрытая еще не обсохшей розовокровавою коркой —

«...чудовище с лазурным мозгом и чешуей из влажных глаз...»

— что отчаянно чешется и саднит от малейшего дуновения ветра.

А все же лучше пока погодить нестись вперед далее в пустоту, позабывши про себя самоё, и продолжить старания расторгнуть совсем сей беспечный союз, враждебный сговор трех измерений со временем, поставивший себе безрассудную цель поскорее доставить живое в могилу, в ничто, — пусть даже такого рода сопротивление преходящим обычаям естества и покажется поначалу философской крамолой. Воспользовавшись совершенной свободою мысли, можно сказать так: мне не нравится, что кто-то куда-то меня, не спросясь, тащит, и потому, доколе не буду убежден в оправданности наперед поставленных мне в качестве непременного условия существования форм восприятия внешней действительности — кстати, и внутренней тоже, — я отказываюсь признать их неразрывными. Они вовсе не всегда слитны.

В этом возмущении голос мой оказывается одновременно и одинок, и бесчислен. Не припомню сейчас точно, сумел ли достичь того кто-либо из любомудров, хотя и пытались не раз, ведь еще Августин говорил, что, узнавши тайну времени, «узнаю всё»; но при помощи творчества явственно удава-

лось, и не однажды, останавливать мгновение. Современный международный русский писатель в наиболее искусном из своих романов, впервые в литературе посвященном состоянию счастья, — название его, продолжая авторские многоязычные ряды, можно было бы, оборотивши, переиграть примерно как «АДИССЕЯ ИЛИ-АДА», — сделал почти успешную попытку обмануть, заговорить, заморочить, заклясть время и внезапно прорваться вовне, за него.

Ну в самом деле, что оно такое есть само по себе: мера изменения вещей — или выставка их круговращающейся неизменности?.. Да и пространство ведь тоже простерлось не до бесконечности, оно лишь расширяется, появившись всего сколько-то там миллиардов лет назад, и несется теперь вскачь, разлетаясь до поры во все стороны; а времени в том его сделавшемся привычным затрапезном «вечном» домашнем виде, когда за него принимается бремя прикинувшейся законом суеты, отрез из общего течения жизни от предшествующего всякой отдельной личности небытия до неминуемо преображающей ее грядущей смерти, — в таком виде его, наверное, не существует на свете вообще. Подобного рода рядополагание событий вполне возможно усилием умозрения снять или, по крайней мере, есть средство с ним справиться, укротить, научившись замечать и не замечать его по желанию, — и тогда уже спокойно двигаться далее.

— Но что-то не очень, поначалу хочется в это верить, да? Пример нужен?..

— А так ли уж он точно необходим, не доказано разве современной наукою, что всякая мысль предваряет, предшествует восприятию, которое только с ее помощью может начать создание из всеобщего хаоса царства осмысленного единства; иначе сам наблюдающий и рассуждающий был бы всего лишь частью этого хаоса, его беспорядочной и какофонической — то есть злозвучной — неустроенности. Ведь безобразие, не знающее, с чем сравнить себя, нисколько не способно породить красоту, — и поэтому одна наша тоска по ней может уже рассматриваться как залог удачи...

Но ко времени не раз еще придется возвращаться; от него, как известно, даже расставляя памятники, не так-то просто убежать. Что же касается до примера... Нет, лучше все-таки отложить его на потом и вместо того заметить, что первый

надежный признак остановки безумного бега — это сознание достоинства и призванности человека посреди всего видимого и невидимого мира. Ну, казалось бы, много ли у него есть? И не у какого-нибудь там безропотного существа, классической троицы отечественного красноречия Иванова — Петрова — Сидорова, обреченной покорно играть свою главную роль во всякого рода сомнительных доказательствах на живом, — а как раз у такого, каков, например, современный русский студент?.. — Прислушайтесь, здесь важное: у него есть все. То есть, не то чтобы, научившись в чем-то ограничиваться, он постепенно мог приспособиться быть довольным самою малостью благ, — ему что, меньше всех надо, что ли? Ему, может быть, нужно и более других, а все же скажу еще резче: он свободен, когда есть свобода мысли, свобода голоса и свобода их передвижения, соединения, взаимопроникновения и сообщенья...

Видел ли кто когда-либо счастливого человека? Так вот — это он. Нет, не совершенно счастливого, потому что пока еще непонятно вообще, что это такое, в подобном сочетании слов чувствуется какое-то скрытое противоречие, — а просто он счастлив. И друзья его, и многие приятели, если заставить их остановиться и оглядеть себя, скажут: однако, мы счастливые люди...

Впрочем, теперь можно даже попытаться предположить хотя бы отдаленно, что собой представляет и окончательное счастье: это, по-видимому, соединение полноты вчерашнего и нынешнего, пращуров и внучат, бывшего, бывающего и будущего в одной книге Бытия, подобной тому заветному то́му, который получил в награду отказавшийся от придуманной влюбленности ученый из «Выбора невесты» Гофмана — его «книжечка» по желанию оказывалась любым произведением на свете. Этой породы счастья теперь нет еще у нас, нынешнее же — несовершенно и останется таковым до той поры, покуда только что происшедшее и еще недоосознанное беспрестанно теснится все новым и новым, и так мироздание и смысл его двигаются вперед, как Ахиллес с черепахою, никогда не встречаясь. Но не невероятно и чудо, озарение; постижение ведь идет именно вспышками, когда вдруг — я уже, кажется, вспоминал эту строку древнего поэта — «пойдут праволучные стрелы молнийны от благокругла лука об-

лаков», и в таком пронзительном свете части существования сойдутся, соединяясь и выходя поверх времени...

Мы сейчас попробуем двинуть их к одной точке.

— Где я оставил настоящее? Да тут же, где ныне около полудня иду пешком в Боровск. А где застряло прошлое? Совсем недалеко — во вчерашней электричке, возле рассуждения об Адамовой голове.

Ну так вот, поначалу уменьшается скорость бега: когда пришлось выскакивать на станции Балабаново, открылась та створка с перекореженной глумливым умником предупредительной надписью о слоне, ночное железное чудище дохнуло несвежим теплом из дверей, взлаяло тормозами и как будто бы вырыгнуло меня в прохладную темноту.

Тут же пришлось, не теряя разгона, нестись к последнему автобусу, содрогавшемуся в собственном паре у остановки посреди вокзальной площади и, едва лишь успел вскочить внутрь, подсадив ситцево-плюшевых бабушек с заплечными котомками, отправлявшихся (это сразу уловило привыкшее вслушиваться в чужой говор ухо) куда-то в гости по случаю завтрашнего воздвиженского праздника, как, тарахтя стеклами и подвывая тонким воплем мотора, он тронулся в путь с поспешностью, в которой можно было углядеть некоторую искусственность, поставленность — сочиненность — подозрительно непрерывной, как в кино, действительности.

А я и не стал бы этого решительно отрицать. Только вот от порывистого внезапного бега, перенося движение из поезда в автобус, разность скоростей приняло на себя сердце и продолжало еще удвоенно быстро биться.

2

Путешествие, странничанье, осмотр большого музея или незнакомого строения внутренне напоминают творчество: мощный поток нового, неизвестного, требующий быстрой оценки, выбора и способный в любую минуту прерваться, незримо равняется ливню вдохновения, — и тут уже что успел ухватить, то и твое. Потому-то, наверное, литераторы так любят описывать поездки и дворцы — из-за скрытого сродства с их собственным занятием, что может даже не всегда отчетливо сознаваться; без него, однако, непонятно, почему всякого рода авторы столь привержены путевым заметкам и никогда не устают печатать их, отчего-то желая сообщить о каждом перемещении своих чувств современникам и потомству. Да и простая графомания ведь начинается обычно с дневников: здесь уже сама жизнь представляется обширным домом или же рядом домов, нескончаемой улицею (по-деревенски — порядком), которую до конца заведомо нельзя ни охватить взором, ни поглотить разумом или запечатлеть в памяти, а времени тоже в обрез, — и тогда одно только наторевшее слово способно помочь: оно передаст главное, суть всего через несколько картин и предметов, их соотношение и связь — через знак. А позже сей знак не раз еще пригодится, как ключ, при встрече чего-то подобного, рассеянного по всему белу свету и лежащего открыто, но незаметно.

Такое собирание воедино через малый символ, кажется, свойственно всей Вселенной, и уже не счесть, сколько о нем рассказано в притчах и напрямик, но заново проделывать его всякий раз приходится каждому в одиночку — в этом-то, должно быть, и состоит скрытый смысл знаменитого «узнавания», таинства встречи, сотворчества со всем прошлым человечества.

Тогда я еще подумал о том, что автобус в ночной мгле похож на... Но тут прервали, не вовремя помешав достроить уподобление: залетевший в калужскую глушь человек с усмешкою в разрезе спелых сливовых глаз принялся громко и дотошно домогаться у пассажиров про свою остановку на том лукавом языке, который сложен из вроде бы хорошо знакомых, но как-то в обратном порядке расставленных русских слов. А когда невеликое это, но отвлекающее внимание дело

было уже почти разрешено, с переднего сиденья подал голос кемаривший там в теплом соседстве с певучим мотором одноногий старикашка в жаркой не по поре ушастой шапке: «Со мной ему выходить! — щедро обрадовался он. — Вместе пойдем-то...»

Тут вдруг рот вопрошавшего сделался дудочкою, и он, весь растворившись в нехорошей улыбке, резко кивнул подбородком, отчетливо выговорив:

— Это бодрит!

Вот так пакость... Ну и ну... А все же пусть запомнится и такое слово — как еще иная печать, отметившая в веках семейство глумотворцев-просмешников.

...Но пора возвратиться на прежде реченное. Автобус, двигавшийся в ночи, отражая себя в собственных стеклах вовне на четыре конца, светился посреди темноты словно распустившийся на Ивана Купалу приворотный цветок. Его сердцевинная, серединная, нынешняя часть была средоточием, будто бы средокрестием той развертки куба, с какой в школе начинают уроки черчения, а вокруг от нее расходились по сторонам света лучи левого и правого, предлежащего и прошедшего. И отовсюду извне видна была его разноцветная внутренность, которая непонятным мороком невредимо проходила сквозь окрестные сумрачные леса. Деревья их, черными стволами обступившие дорогу, щелкали, пролетая за окнами, бесконечно повторяясь и тем скрадывая само движение, превратившееся в гудящий застывший полет ненадежно собранного, словно наскоро склеенного из бумаги ящика трех объемных классических единств, распадавшегося тотчас же врассыпную при малейшем нажиме и тем представлявшего собой наглядное пособие по четвертованию пространства и обезглавливанию длительности. Радужный крест торжественно-чудного автобуса почти что парил среди вечных, помнивших еще дочеловеческие эпохи елей.

Таким он и останется теперь насовсем, запечатлевшись в душе, чтобы в любой миг воскреснуть воспоминанием, и даже не просто воспоминанием — а живым действующим символом, праматерью всех последующих образов, поместившейся в надвременном. Подобные заколдованные памятью виды прошлого чем-то напоминают рассматривание летних фотографий в декабре, когда вдруг сделается жутко и обидно до

того, что кровь вступит в лицо: неужели вот так бесшубно тепло было всего сто дней назад? И как это вон того кружевного папоротника, его замечательно четко прорезавшихся на снимке стрельчатых листьев никогда уже не будет... Такая буйная несправедливость чересчур разительна и потому сама ведет к собственному отрицанию, поискам выхода, к преодолению реки времени: естественно — именно естественно, — что никак не могут, единый раз состоявшись, исчезнуть насовсем эти цвета и цветы. Они пребывают с тех пор где-то, и их можно даже, кажется, снова взять в руки... Но тут возникает другое, тоже слишком знакомое представление о том, насколько несчастливы оказывались попытки вернуться вновь в дорогие места, связанные с нежнейшими событиями былого. Всегда в таких случаях тоска по ним сменялась при возвращении тягостным разочарованием, и после того первое воспоминание постепенно погасало...

— А это, по-видимому, указывает на то, что для воскрешения минувшего были взяты негодные средства. Ведь как происходит это событие двойного бытия — мгновенное запечатление будущего в прошлом? В каком-то просветлении неожиданно, как при вспышке молнии, освещающей окрестность своей огненнной струею, перед умственным взором озаряется застылая картинка, которая тут же меркнет и пропадает как будто бы навсегда, скрывшись с последними звуками грома, — а на самом деле остается до поры только спрятанной в подвалах памяти. И когда годы спустя оказываешься потом внутри той же самой сцены живым действующим лицом, словно ступая след в след по протоптанной дорожке, внутри восстает заложенное там впрок воспоминание: это уже было, я это где-то видел...

— Как в первые полусонки иногда померещится спуск по лестнице или то, что идешь лесом и вдруг — раз! — сорвался в пропасть. Спящий дергает ногою, пробуждается со вслух колотящимся посреди груди сердцем, и такой сон, в отличие от последующих глубоких, но смутных, прочно запоминается; он также попал сам в себя, точнее, — какие-то два представления, дневное и ночное, нашли наконец друг друга и соединились, совпали.

А ловит это именно сердце, находящее среди них невнятную всем прочим чувствам общность. Говорят, что проворные

японцы теперь додумались даже прибавлять как раз напротив него на груди третий резонатор для наушников, воспроизводящий звуки низкой частоты, без которых, оказывается, консервированная музыка неспособна ожить в должную меру похожести. И если уж подобное праздное баловство вынуждено прибегать к сердечному сочувствию — то что сказать о вещах, в таком сострастии действительно смертно нуждающихся? Пусть что-то в тех отзывах и покажется поначалу для ума непонятным, — все сомнения ведь лучше всего разрешаются во благовремении, и нечего сетовать загодя...

Впервые оно стукнет слышнее обычного в самом еще резвом младенчестве — где-нибудь, например, в кино: про кадр, в котором видны одни только таинственно шуршащие по гравию башмаки, вдруг подумается, что вот взять бы да запомнить его на всю жизнь, — и на самом деле насовсем останется; а потом, сколько ни пытайся нарочно повторить такой фокус — не получится ни за что... Или в другой раз, ровно через десять лет, сердце отзовется посреди зимнего города, распознав в вечернем узоре уличных фонарей и мерцанье домов скрытое за игрою огней значение, и само уже, не спрашивая, отложит на будущее не до конца сразу разгаданную картинку праздничного новогоднего вращающегося крестиками света...

Так, год от года возрастая внутренним разумом, оно постепенно научается первым безошибочно отвечать той самой связи, за которой отправляются в Боровск. И тогда весь белый свет наш, по-видимому, предстает перед ним как некая замечательная совокупность, где основные входящие в нее части не просто рифмуются, перекликаясь в повторениях — потому что рифма повисает на средствах выражения костенящей, сковывающей цепью, наручниками, наушниками, очками и шорами, — а именно отзываются, перезваниваются, составляют аккорд, настроенные в огромном органе на общий согласный лад и всегда тяготеющие к созвучию с гармоническим камертоном.

— Поэтому-то — сделаем сейчас попытку раскусить загадку тех неслучайных совпадений, которым удивлялись выше, — всякий по-настоящему работающий над чем-то с некоторого срока преследуем ощущением того, что идея его бросает отблеск, оставляет следы на всех окружающих пред-

ме́тах: разогнутая наугад книга открывается вдруг невозможно впопад, обрывок речи прохожего, как оброненное лыко, ложится точно в строку, воспоминания посещают совершенно будто бы забытые и крайне нужные; и даже совсем чужие, не относящиеся к делу вещи оказываются неожиданно впору, годятся и просто-таки рвутся изо всех сил занять в нем свои места. И это вовсе не перенос внутреннего состояния вовне, наоборот, здесь происходит словно бы отражение самой сущности природы в человеческом умозрении, — что приключается, должно быть, оттого, что сплетшее какую-то сеть сердце, начиная ловить в нее факты и собирать их вместе, по сродности своего занятия мировому строительству постепенно учится замечать и то, как создано все остальное, на каких шурупах-гайках оно свинчено и чем соединяется...

Вот, скажем, не удивительно ли, что вокруг нас как будто бы нет ничего столь откровенно круглого, что могло бы послужить образцом и подсказкой, навести на мысль об изобретении колеса; или — еще одно чистое мальчиковое недоумение — никто что-то так и не объяснил вроде внятно, из чего же все-таки состоит само вещество огня. А чем отличается правое от левого — неужели тем только, что их заранее условились, как сговорились, просто по-разному именовать?.. — Здесь-то и становится ясно, что удобнее всего проникать в существо вещей именно тем, что недаром ведь представляет собою наш главный непарный, несимметричный орган; и тогда, наконец, определяется с необходимостью, что «слева» — это, коротко говоря, со стороны сердца.

Как нерв в зубе на причиненную боль, оно тотчас же откликается на сочувственное внимание к нему, открывается и обнаруживает свое сродство, сковородинскую «сродность»...

— Так сказать, сосковородность...

— Ну пусть даже и эдак, коли рассудок ни минуты не способен обойтись без снижения...

— Что соглашаешься — это бодрит...

— А вот уж этому-то и «не соизволяю»!

(Таков был знаменитый ответ-совет древних отшельников, удалявшихся познавать сокровенное в чистоту полного уединения пустыни —

«...потаенный сердца человек в неистлении красоты кроткого и молчаливого духа...»

. — руководство их для тех, кого доводили до отчаяния приходящие внутрь хульные помыслы. Они открыли, что в большинстве своем словесная и образная дрянь, блуждающая в сумерках предсознания и осаждающая совесть, нам чужда, от нас не зависит, и, значит, мы за нее не в ответе; дело только в том, чтобы, испугавшись сначала ее набега, не сочетаться с ней разумом даже под видом спора, а для того достаточно бывает сказать одолевающему помыслу в лицо: «Я тебе — не соизволяю!» И действительно помогает — да как...)

Так вот, сердце, сердобольное сродство, сердится, посредничает, сосредоточивается в милосердном усердии созвучия с миром; и теперь, когда я отправился в путь, почувствовав благоспешное время, кто лучше подтвердит дорогу, отгадывая скрытые за всякой бедой и непогодою вехи, отзываясь даже и в опричной темноте, чем это кровавое чрево, насыщающее воздушною пищей всякое дыхание. В разговоре с ним уже не так тягостно одинокое хожденье, да и о будущем легче становится свободно соображать в образах — воображать, — нежели, как прежде, завороженно глядя во внутреннюю бездну, черпать оттуда бессловесный мрак или яростно хватать вокруг растопыренными руками что ни попадется, подобно оторвавшемуся от поводыря слепцу, принявшему свои метания за некий род сознательного поиска с заранее известным итогом. Нет, лучше признаться сразу: ощущая связанность, связи я пока нащупать не смог; чувствуя присутствие цели, знаю о существовании дороги к ней и верю главному путеводителю — сердцу, но ничего сверх того не имею, внешне же вообще нередко колеблюсь, нерешителен свыше меры и, даже будучи убежден в своей способности добрести наконец, открыть двери и проникнуть за них внутрь, часто падаю духом, по временам отчаиваюсь, а иногда — и эти кромешные часы тоже памятны насквозь — в каменометной ярости и страхе обнажаюсь душой, совсем теряя на-дежду...

Особенно трудно приходится из-за нечистоты собственных средств познания, но и тут уже появился некоторый опыт преодоления, долгий не по внешнему, конечно, времени, а по растягивающей часы в вечность тоске, по блужданиям мысли, что ли. Так вот, он немало помогает и кое-что сумел выяснить, например, через повторяющееся чувство недоумения, которое затем, подталкивая рассудок и подсказывая ему,

смогло внутри себя себе же многое внятно высказать словами, остерегло от сворачивания в тупики и повторения грустнопамятных попыток выйти вон через нарисованные на кирпичной стенке двери.

...Вот, скажем, такое совершенно на первый взгляд механическое средство, как воспроизведение внешности вещей в фотографии, может, однако, вызывать подлинное волнение и даже растворять душу вовне через очищающее воспоминание — или неложное удивление в миг, когда посреди черной комнаты в красноватой мгле вдруг на пустом листе бумаги, погруженном в кювету, происходит пресуществление скрытого света в картины ушедшего, казалось бы, навсегда лета, проявление его вновь в жизнь. И такой отпечаток, оставляющий наблюдавшего за его чудесным возникновением, возрождением — воскресением — с расстроенным сердцем, духовен!..

А по видимости весьма близкое ему запечатление жизни в кино на поверку оказывается как раз обманчивым мороком, хитрой уловкой для чувств, — только поначалу непонятно, в чем же именно скрыта эта его лживость. Но совестное рассуждение подсказывает, нудит: здесь есть прямая неправда, она опасна, ищи, это важно, и непременно найди схороненный за повапленною маской порок, убивающий восприятие — потому что лично тебе это необходимо нужно. А пренебречь, заглушить сокровенного своего человека не получается, он там начинает тогда колотить изнутри сомнениями и помыслами, насылает сосущего червя недовольства всем на свете до того, что пропадает наконец всякое спокойствие и целость ума, — и своего не мытьем, так катаньем непременно добивается...

Поэтому лучше уж попытаться ответить сразу. Ну вот и славно, что хоть здесь у нас с ним появилось согласие, все-таки как-никак соседи... Так что же за мертвый ребенок положен в основание храма нового мировоззрения, кинотеатра — быть может, это постепенное умаление меры, преступное упразднение и конечное уничтожение свободы человеческого сочувственного воображения? Прочитав в книге, скажем, что «старушка была совершенный кофейник в чепчике», каждый тем не менее представляет ее по-своему; слушая музыку, внутренне переживает какие-то полностью различные состоя-

ния чувств; в живописи находит всякий раз свой драгоценный цвет и особенный источник, откуда исходит освещение. И так в любом из исконных родов искусства существует значительная доля зрительского сотворчества, утверждающая необязательность однозначного понимания. Да бескорыстный художник и сам чувствует, где проходит эта как бы законодательно не закрепленная, но установленная по всеобщему молчаливому согласию непереходимая, невидимая черта, когда далее неволить воспринимающего и навязывать ему единообразие возникающих представлений, не вызвав при этом расстройства добровольного с ним союза, сопряжения — нельзя.

Кроме того, любой вид прекрасного имеет нечто вроде врожденно присущего недостатка, допущения, позволяющего ему несколько отстраниться от реальности и высвободить силы для работы на своем отдельном поле: в литературе это, как видится, отсутствие ощутимой пространственной вещности (иллюстрации только подчеркивают его), в живописи — времени, и в обеих — звука, музыки; а в ней уже, в свою очередь, изначально недостает плоти. И всех их, однако, возможно также повелительно остановить в любой миг, «захлопнуть книгу», прекратив общение, как только оно начнет становиться несносным... Кино же, задавшееся целью взять да и воспроизвести (собезьянничать...) весь мир целиком, попытавшись присвоить себе по меньшей мере внешние признаки первых искусств, необходимо помножило друг на друга все эти пороки, усилив их еще принудительной безостановочностью своих картин, а с подобным тяжким грузом, выкручивающим руки и замыкающим уста, как ни бейся, оно уже неспособно сотрудничать с человеком достойно. Так, заведомо презрев свободу восприятия, кино зрителя не уважает, и потому-то, никогда не уверенное в успехе, предпочитает тянуть молчаливого страдальца на жгуте обязательности в свой сомнительный рай, все туже сдавливая ему горло.

К тому же скромное свое место в конце стола, отведенное ему природою на пире художеств, — ведь и по определению оно, строго говоря, представляет собою именно «движущиеся картины», — кино из-за отсутствия трезвости самочувствия почти всегда занять отказывается (вот разве одно исключение — «Зеркало»), явно стремясь навязать некую объемлю-

щую иллюзию жизни — и заслуженно терпит в этом каждый раз скучное поражение...

То же самое происходит в сходных случаях и при любом ином совращении искусства с его естественного пути, — кино только наглядно довело отпадение, отрезание себя от мира до конца, до полной подмены его.

...В праздничном с кровью наборе вольнокаменщических девизов 1789 года — братство-равенство и т. д. — сильно недостает одного из главнейших, каким обычно начиналась очередная паника по поводу контрреволюции с неизменно венчавшим ее публичным головотяпством в самом точном значении его как работы вовремя изобретенного врачом-просветителем Гильотеном механизма: знаменитого ночного всполошного крика «измена!»; однако, даже и его пострашней глядится теперь то тихое пожирание жизни, которое обозначается похожим словом с тождественным корнем, снабженным только иным, мягким, подлым предлогом *«под-»*...

— Разве запись на пленку так же не оторвала человека от единственного переживания музыки в живом ее исполнении, а печатание книг — не упразднило ли (то есть сделало праздным) постепенно рассказчика и собеседника?.. И пусть все эти достижения обязательного запечатления, окостенения непосредственных явлений давали, казалось бы, какие-то свои новые преимущества взамен пущенных на снос старых, — но ведь жаль-то не умилительных благ дикаря, утраченных им после приобщения к ношению повязки на чреслах, а того именно, что все это заслонило собой теплое единение с миром, оскорбительно возвратило природе обратно за ненадобностью подаренный нам ею язык сочувствия, на котором одном только и можно было с нею общаться, называя подлинные имена. Сама уверенность в существовании и необходимости живоносной связанности не присутствует уже в воспроизводимом искусстве, и привыкшая к нему душа, единожды расколовшись с миром, продолжает далее разрушаться сама в себе, теряя внутреннее единство, разъединяясь на противоречивые части от безответной любви к окружающему творению.

...Но какое все-таки осенью обширное небо, оно как будто бы распахивается напоследок от восточного предела и до западного, занимая собою чуть ли не две трети света и давая

его нам весь. И лишь здесь, на открытой дороге вне города, явственно приметны еще и осколки рассыпавшегося закона древнего славянского язычества, прячущегося в лесу под корягами, где среди мирных мухоморов и голубики одни только красные ржавые лужи корчами и морщами отражают теперь его незримую развоплощенную сущность, то ветхое варварское «невегласие», злобесную бессловесность, что тысячу лет назад не успела, к счастью, разглядеть в зеркале ровнотекущих полуночных рек собственного косматого лица, собраться в единую купность и заговорить со своими рукотворными кумирами на некрещеном языке кровохлещущих жертв, как это случилось у ахейцев или в скандинавской Валгалле; в том-то, наверное, и заключена особенность положения русского народа-строителя посреди всей человеческой истории, что он родился как цельная общность одновременно со своим крещением, появившись на свет в самом действии этого просвещения...

Тут же рядом, подымаясь выше, можно, кажется, как по нотам восстановить по деревьям, тропинкам и облакам, извлечь из них душевным сочувствием одноголосную гармонию знаменного распева «Херувимской», — а потом, во влажносумрачной дали чащи, разглядеть колыхающееся желтопестрое марево, одичавшую жуть, сродную чем-то симфоническому ужасу позднего Шостаковича. И вдруг сделается больно от присутствия настоящего счастья — никогда отсюда и не уходившего счастья соединения с родным, близости, кровности ему, предчувствия срединности, сердечности отечества, ставшего на перекрестии мира...

Но иной раз поиск подобных согласий между зрелищами и музыкою превращается в сухую игру ума, да и вообще на некотором коротком отрезке его на самом деле вполне возможно признать за игру — с правилами, поражением и обидою. И снова становится очевидным, что познание движется порывами, прорывами, обрывами и толчками: сначала накапливается тяжесть на душе, потом она неожиданно разрешается, и бежишь — скачешь! — тут уже по опыту известно, что надо постараться занестись, насколько хватит сил, далеко... А позже вновь вязкая туга настает в сознании и чувствах, умом овладевает самая подлая глупость, и никакая книга

тогда не сможет объяснить — когда же душа вырвется из них для нового бега.

По возвращении из эмпирея на землю все на ней начинает навязчиво раздражать, но беда, если поддаться этому помыслу и всерьез разозлиться на ни в чем не повинную действительность.

— А как же, однако, удержаться, коли разница между нею и только что виденным просто невероятная? Вон там ребенок на заднем сиденье, качая не достигающими до пола цыплячьими ножками в сандалетах, непонятно даже на каком языке скулит в одну ноту что-то невозможно противное, невнятное какое-то:

— Лори-лори кукуй!..

Тьфу, ну если уж и это не безóбразно — то что же такое вообще безобразие?!

...Мысль тем временем скакнула через единоимянную последнему чудскому слову его песенки новгородскую башню куда-то в сторону, легла набок и засучила ножками, а раздражение продолжало длиться и возрастать; потом они вновь собрались вместе и подкинули-таки для осуждения подходящую пищу — рассказ о том, почему оказались в автобусе попутные наши бабушки.

...Научившись еще с того второкурсного похода на Север читать древнюю русскую словесность, приникая внимательно в ее сплетаемые мощными словами образы и затем тайным глазом старателя привыкнув угадывать их золотую жилу, проходящую среди современного окружения в самых необычных местах, вплоть до именования в передовице какого-то провинившегося автора совсем уж непривычным в газете для глаза церковнославянским званием «борзописец», — одновременно волей-неволей я постепенно и сам сделался всего этого странного союза сочувственником, соучастником — причастником — и истолкователем. Ну так вот, к примеру, сей самый воздвиженский праздник, на который они тоже ведь едут в Боровск, — не есть ли он самое, пожалуй, сомнительное из всех знакомых исторических чудес, хотя они нашим предкам, привычно включавшим непонятное как законную часть в свою жизнь, и не казались вовсе такими уж необычайными?..

— Триста лет безвредно пролежавшие в земле перекладины Иисусова креста, словно только и ждавшие того дня, ког-

да вселенской римской власти понадобится опереться на него в своих заботах, и их тотчас же, как по команде, откопают, извлекут прямо из чрева горы, — слишком уж политически нужное событие, подозрительно пришедшееся впору, чтобы можно было поверить в его бескорыстную невероятность. Мировой Левиафан все равно ведь отнюдь не на чуде основывается, но худо, когда само чудо для подпоры цепляется за государство...

Трудно, однако, все же представить и то, что они решились на такой страшный по тем временам подлог совсем безо всяких на то оснований. Что-то тут с обеих сторон неправдоподобно выходит, или даже с трех — потому что сам я, кажется, ошибкою неверно расставил действующих лиц, наблюдателей, ревнителей и недоброжелателей, и надобно, пожалуй, именно подход менять.

...Это приводит на память другую историю с двойным дном, случившуюся года три назад. Одну из первых натурных практик мы проводили тогда совсем рядом, на другой стороне своей же улицы — бывшей Рождественки, чудно перекликавшейся именем с новым названием в память Жданова; так вот и случилась она как раз в бывшем Рождественском монастыре, стоящем на углу с бульваром. Все его постройки давно обещано было передать будущим архитекторам для благоустройства и занятий, да пока оно все ожидалось, не одно поколение, как говорится, все свои «жданки» съело.

И вот, когда мы пришли табунком внутрь — было это, наверное, около сентября месяца, — то местное население отчего-то сразу отнеслось к нам враждебно и, попрятавшись, затаилось. А монастырь наш уже с первого взгляда в современном городе часть совсем необычная. Музея там никакого нет, и внешний вид его вполне невыигрышный, можно сказать, заброшенный: ополовиненные ветхостью стены, перестроенные кое-как для канцелярских потребностей храмы, прямо поперек двора между ними пролезло новое школьное здание, а позади него все еще цепляются за жизнь по углам запущенные остатки когда-то плодового сада, среди которого постепенно все глубже врастают в землю крепкие белокаменные келлии. Всего лишь в пятистах метрах от «Детского мира», от темноты толп прохожих — и вдруг такой покойный и почти безлюдный заповедник замедлившего уходить уклада,

что сначала даже приходит желание сравнить его с почерневшей коркою апрельского льда; но потом, постоявши подольше в тишине и почувствовав совершенно иной дух текущего здесь времени, потихоньку успокаиваешься, так что уже не столь трудно делается представить себе в лицах и все прошлое этих славных мест, правдоподобно аж до мурашек по коже, — как это иногда бывает, когда неожиданно узнаешь свои в точности обстоятельства во второстепенном герое какой-нибудь книги многосотлетней давности, жившем с совершенно иной скоростью в таких же вот одноэтажных, в людскую меру строенных, человекообразных почти домах...

Как нам позже рассказали, в них-то и произошла история, из-за которой испугались, насторожились вековавшие тут московские старухи, родившиеся вместе со столетием и как будто бы предназначенные уйти тоже только вместе с ним. Всего за неделю с небольшим здесь убили последнюю остававшуюся в живых черничку, возрасту которой было и того больше, уже за девяносто лет, так что, казалось, она навсегда поселилась в подвале углового домика, словно пропустив когда-то свой черед умереть, а теперь и совсем позабыв, как это делается. Погубил же ее — задушил — не кто иной, как собственный сосед, по профессии переплетчик (и вот, вроде бы такое незлодейское вовсе занятие, а поди разберись теперь, когда все перемешано...). Он без труда, чуть ли не одною рукой придавил бессильную монахиню; потом забрал с божницы пару икон на продажу и хотел с ними убежать из Москвы, но довольно скоро попался. Однако осудили его отчего-то не по чину мягко: за умышленное убийство с разбоем — и всего лишь на сравнительно недолгое заключение (с той вечностью сравнительно, в какую он отправил старуху), лет на семь или десять «химии»...

Тогда я подумал еще, что, видимо, все же наступает «Детский мир» своими сандалетами даже сюда, и никуда от него уж не денешься. И подумал, как выяснилось позже, пустое, потому что два года спустя судьба сочла нужным устыдить душевное верхоглядство новым знанием, наказав совесть раскаянием за мысленное разгильдяйство.

...Однажды, занимаясь курсовой работой в Исторической библиотеке, стал как-то в перерыве искать прочесть что-нибудь заодно и об истории Рождественки: во время сессий

всегда ведь случается так, что внутри вдруг открываются какие-то необыкновенные силы, гораздо большие тех, которые нужны для одной только сдачи зачетов, экзаменов и проектов, и тогда можно прочесть, сделать — да и съесть, кстати, тоже — за десятерых; к тому же появляется такое расширенное переживание времени, когда оно, не выступая за обычные дневные рамки, само по себе значительно увеличивается в полноте. Так вот, копаясь в библиографическом кабинете, я невольно подслушал разговор — нет, это поначалу невольно, а по мере развития рассказа так даже и со рвением, — беседу двух сотрудниц, продолжившую, как будто бы и не было никакого перерыва, ту же самую историю, но в не совсем ожиданном ключе.

...Оказалось, что где-то на таможне или в каком-то еще ином зазорном месте, — в общем, попались некие христопродавцы в тесном смысле слова, переправлявшие за рубеж иконы и церковную утварь, и у них на руках нашли немалое число драгоценностей, находившихся ранее в московской Рождественской обители. Установить эту принадлежность было сравнительно просто, потому что главные сокровища, а в особенности царские и другие именные вклады, в течение веков не раз описывались, и записи эти за последние полтора-два столетия несколько раз были опубликованы в различного рода археографических сборниках.

Вот тогда-то вновь заинтересовались душегубством двухлетней давности и попросили городских старожилов рассказать поподробнее, кто что помнит о монастыре и его деятелях. И постепенно выяснилось, что убогая задушенная старуха Варвара была не послушницей вовсе и даже не простою монахиней, а самой казначейшею и ближайшей товаркой последней настоятельницы, которая и передала ей перед смертью на сохранение наиболее чтимые святыни. Прежденазванный же переплетчик каким-то образом выведал это первым, послужив всего только наводчиком и прикрытием дерзкой шайки, обогатившейся отнюдь не парою ветхих икон. Когда это открылось удовлетворительно, его заново извлекли на доследствие из полувольного бесконвойного заключения, откуда он совсем уже собирался было досрочно освободиться за примерное поведение и прилежную успеваемость, — и, поставленный перед лицом полной правды, кат

вынужден был все рассказанное старыми москвичами подтвердить.

— Но теперь, отвлекаясь умом от легкой добычи непосредственного наглядного назидания, можно сделать предположение и о сокровенном значении всей этой повести, раз уж она отчего-то — и; наверное, не зря — сделалась известной. Оно состоит, как видится, не только в неизбежности воздаяния, в том, что наказание незримо ходит верным оруженосцем возмездия при совершающем зло, — но и в том еще, что старина есть вполне живая действенная сила всякого нового времени, и преступно пытаться тащить ее «на лубок», сваливать в овраг гнить или заводить помирать в одиночестве в рощу, как это было принято у языческих наших предков; ведь при желании — а оно сильно — образно понимать происходящее, становится вполне очевидным, что история давно уже не белокаменного, не первопрестольного и не третьеримского родного города хранит еще скрытые под спудом сокровища и святыни, необходимые всем его жителям, и, значит, нужно бдительно или, как это говорили раньше, опасно — «...блюдите, како опасно ходите...» — стеречь их, чтобы не выпустить из отечества во тьму внешнюю.

И когда я начну настоящие дома ставить, а это время уже близко, мне потребуется как раз твердая уверенность в крепости основы, фундамента отечественного строения: на нем все держится, вся держава. Ошибившись, поставив на ползучей глине, на песке, без опор, не вросши в землю как эти рождественские кельи, — поплывет все, пожрется раскустившеюся трещиной и повалится вниз. Достаточно вспомнить смутные крамольные годы истории, когда людьми овладевало то дикое чувство, что все своротилось с пути истинного, потеряло оправдание; тогда-то и начинались метания, распад, «воровское шатание», террор, то есть ужас и страхование в точном смысле слова, междоусобная брань духовная и кровавая и, главное, отчаяние из-за того, что утрачено направление, пропала цель. А без нее хотя и свободнее как будто сначала, коли все позволяется, но душа нарывает и плачет, бросается в стороны, ищет ускользнувшую из-под ног дорогу, стремясь к ней, как олень на источники водные.

Внутренняя косая неправда-кривда — смерть государству, окончательная гибель и раскачавшим его шатунам; собствен-

но, это одно и то же, ведь страна словно большой человек, тело которого — люди и земля. Омертвение духа народа, невыносимо горькое по одной уже только противоестественности смерти человеческому существу, может продлиться века, а может и навсегда уничтожить его, то есть сделать вовсе ничтожным, в ничто превратить, погружая все глубже в никогда не исчерпаемые бездны уныния.

Однако, подобно огню, смерть двулика, двудейственна, левой рукой она разрушает и попаляет, а правой — строит, живит. Возьмем из совестливой, повестливой котомки-сумки вот такой лист от сотни раз переписанного руками предшествовавших поколений путников, особенно любимого северными крестьянами сказания о Василии Новом, содержащий одно из лучших, наверное, во всей средневековой литературе описаний умирания. Нужно только наперед заметить, что буквальное понимание и здесь, конечно, хотя необходимо и поучительно, но явственно недостаточно; а вошедшее в обычай трехчленное разъятие смысла на слои внешний, символический и мистический — последний еще переводится на русский язык как «священнотайный», — после пристрастного рассмотрения оказывается все-таки во многом плодом больной мертвящей тяги к распределению живого по ящикам. Так что золотою дорогой для достойного проникновения в древнее слово будет, по-видимому, попытка войти в него всем существом своим через сродство и сочувствие, постараться разом воспринять духовный план как естественно-наглядный, а буквальный, где каждое слово поистине могуче — в нераздельном слиянии с символическим, сразу же собственно стать ими двумя, тремя, отождествиться, и тогда уже цифра три будет означать не деление, а соединение, направленное в бесконечность.

Так вот в этой повести мытарница Феодора о встрече со смертью рассказывает так: «...Како ти чадо исповем болезнь телесную и колику нужду и беду, яже тружат умирающего; се же разумей, яко кто наг впадет в зельный пламень огня и згарает и, помалу сожигаем, разрушается, — сице есть и болезнь смертная и люто разлучение души от тела, паче же подобным мне грешником... Егда же приближихся аз к концу жития своего, се приидоша ко одру моему множество ефиоп, молвы и мятеж творяще, яко зверообразнии, и

изуверно взирающе на мя, искривлени имуще лица и развращени, очи кровавы и черны паче смолы, и всякими образы устрашающе мя и похитити тщашеся и к себе присвояюще. И многа и великая бремена принесоша хартия, на них же написана вся, яже от юности содеянная мною, и отвивающе и готовяще хартия, яко некого судию чающе приити. Аз же сих зрящи вельми устрашахся и до конца изнемогох. И тако страждущи смотрях овамо и семо, да бы кто отгнал тех безчинное шатание, и не бе помогающего ми. И отвращах очи мои от них, да бых не видела тех мрачных лиц, велми бо притужаху мне. В сицеве беде сущи, и се внезаапу явишася два юноши красны зело в одеждах златых, и власы на главах их белы яко снег, и приближастася ко одру моему, сташа одесную мене. Аз же сия видевши, радостна бых, и веселым лицем взирах на ня. Тии же помраченнии видевши сих, со страхом отступиша подале. Рече же един юноша к тем мрачным с яростию: о омраченнии и проклятии, что предваряете над умирающею и, молвы творяще, смущаете и устрашаете, безстуднии! Но не радуйтеся, зде бо ничто же имате... Сицевая светоносному юноши глаголющу, они же безстуднии елика от юности моея сотворих словом или делом или помышлением и вся прочая на среду приношаху, гласы безчинными взывающе и глаголюще: ничто же ли имамы? Сия же вся чья суть — не она ли сотвори от юности? И ина многа блядуще на мя и клевещуще...

И се внезаапу прииде смерть. Бе же видение ее яко лев ревый, страшна образом и всячески странна человеческого устроения; носящи оружия всякия: мечи, ножи, пилы, серпы, уды, стрелы, теслы, бритвы, сечева, оскорды, рожны и ина многа незнаемая, ими же козноде йствует различныя образы. Сию же видевши, смиренная моя душа устрашися и вельми возгореся, и реша к смерти юноши: что медлиши, разреши союзы, не имать бо многа истязания о гресех. Она же, приступльши ко мне, взят малый оскордец и начат отсекати нозе моя, и потом руце, и иным оружием вся составы, и другим прочая моя уды телесныя и союзы и члены расслаби, и истерза двадцать ногтей моих. Темже абие омертве все тело мое, и оттуду ни руку ни ногу имех, и не можах двигнутися никакоже, всеми бо орудии козноде йствоваше на мя. Таже взем теслу и отсече главу мою. И посих, налиявши чашу, что же в

ней бе не разумех, даст ми испити. И тако ми чадо толь она бех горька, яко в той же час отторже мою душю, и скоро вся искочих из тела, аки птица от руку ловца. Абие же краснии они юноши прияста мя на руку ризами своими, — в сердце бо человеку все душевно возлежит, во уме же дух. Егда убо прияста мя краснии они юноши, воззрех вспять и видех тело мое лежаще бездушно и недвижимо и нечювствено, яко же бо кто совлек с себе ризу свою и, повергши, стоит зря на ню. И о сем почудихся и глаголах: откуду убо, хотела бы уведати се, яко вся сицевая на убогого человека устроена суть...»

Вот так... Трудно даже как-то сразу собраться с силами продолжать; проще уж тогда будет возвратиться к прежним остановленным на полуслове рассуждениям и оттуда, незаметно подступая, постепенно подвигаться, стараясь поначалу касаться только до самого малого. Ну, например, возобновить течение уподоблений с того, что по этому отрывку — помимо основного его мощного образного воздействия, о котором лучше потом, — можно также наглядно убедиться, чем именно отличается прозаическое дело от стихотворного. В стихах ведь каждое слово стоит выпятясь, заметно, отдельно, как будто бы со всех четырех сторон на ветру, так что автор за него постоянно чувствует крайнюю ответственность и опасение; проза же сама по себе напоминает при всем достоинстве своих выражений всего только строительные леса, а настоящее здание, если оно действительно настоящее, остается лишь после того, как леса снимут, книгу прочтут, и тогда взлетит в небо до поры бывшее скрытым за ними — подобно бессмертной константинопольской Софии, державно притягивавшей взоры наших князей к востоку...

Теперь уже легче сказать и о другом, о том, что наползающий от такого рассказа в душу мороз не только знобит, но и встряхивает, порождая в ней тот здоровый трезвящий холод, который делает строгим всякое ощущение. Внешне, конечно, нельзя не заметить еще и того, что это записанное тысячу лет назад сказание иногда до мельчайших подробностей напоминает последние исследования танатологов-смертословцев, то есть врачей, изучающих состояние умирания и первые часы вслед за ним, например, известную книжку «Жизнь после жизни», где собраны сонмы рассказов оживленных после клинической смерти больных. Во второй половине ее соста-

вители постарались свести подобные же свидетельства из мировой литературы и преданий, по своему высокомерному обычаю обойдя, как всегда, при этом вниманием полуденные культуры — византийскую, наследницу ее нашу российскую и сопредельные с ними. Но поверх этого небрежения и всех прочих подобных попущений тем не менее оказывается, что именно здесь, как раз на полпути солнца от востока на запад, через дедовскую память давно знакомы и более основные, сущностные, что ли, сведения о конечном состоянии человека или даже целого народа; только знание это несколько иначе направлено — не просто в прошедшее или в грядущее, а еще и сразу во все четыре стороны света, потому что предназначалось оно для постоянного пребывания в людях, которые его веками списывали, распространяли, заучивали наизусть, а потом распевали на перекрестках дорог для оживотворения мертвой водою действенного человеческого сознания. Плоское, прикрывшееся от неизбежности последнего часа фрейдовскими запрещениями-табу зрение поневоле делается ущербным; взгляд же, не пугающийся опускаться сквозь землю, проникает в пропасти глубин и высот, строит дух, напоминающий своей архитектурою тело Вселенной, чувствующий себя ее малым подобием и оттого работающий общее дело, ничего более не боясь.

...Добредя до столь выспренних рассуждений уже на полдороге, я вспомнил еще, как вчера в автобус через приотворенное боковое стекло залетела ночная, готовившаяся в эту осень умереть бабочка, — пугающе несоразмерное существо с узкими стрекозьими крыльями на толстом членисто-мохнатом тельце трубочкой, делавшем ее похожей на присыпанное сахарной пудрой летучее слоистое пирожное. Она, тихо журча, опустилась на шею кондукторше, которая продолжала еще дремать на своем особом возвышенном сиденье у дверей; и только когда насекомое принялось ползти, бессознательно пытаясь отыскать за воротом укрытие для одинокого таинства смерти, — та пробудилась, дернулась рывком почему-то сначала вперед с такой силой, что из карманов длинной билетной сумки посыпались в проход медяки с гривенниками, и, размахавшись руками по голове и вокруг, закричала:

— Ой, что это на мне?! Ой, какая-то сикарашка!!!

3

И в тот же миг, когда припомнилось, как проснувшаяся внезапно женщина, помавая короткими ручками, принялась сгонять с себя воздушный деликатес, тяжело взлетевшую наконец ночную крылатку, — я здесь чуть не по колено врюхался в лужу, оттого что, упершись взором внутрь, позабыл вовсе следить за действительностью. Между тем за нею глаз да глаз нужен, и стоит всего лишь слегка ослабить внимание, как она тотчас таких фокусов наделает, так предательски изменится, что, обманувшись и найдя себя вместо твердой дороги на бесконечном дымящемся болоте со склизкими кочками, останется разве руками развести, — а уж ей-то только того и хотелось дождаться, чтобы начать издеваться, изгаляться, плясать под ногами и вообще глумиться над тобою, как леший над одиноким заблудившимся в чаще грибником.

С другой стороны, вообще-то обижаться на такое невнимание — дело правое, потому что ведь именно среди живой природы скрыты наиболее теперь необходимые, но тем и опасные связи, не допускающие пренебрежения и снисходительности; а если по-настоящему придет пора для отдыха, она сама даст в постижении передышку, — главное, не ослаблять старания в поиске и упования в надежде. Тот же, кто рано сдастся, кто свернется улитою, пожухлым листом вокруг себя — тот безумец, лжец и гордец, и тут-то ему и конец, ибо слепота на живое не прощается никому.

...Бабочка вчерашней ночи выскочила-таки вон через полуразбитое окно на противоположной, левой стороне и пропала там в матовой темноте среди лунного свечения. Кондукторша успокоилась и снова уснула; а я уставился на этот месяц, хотя и предупреждали не однажды, что небезвредно это — и так, вглядываясь в него, постепенно погрузился, казалось, в полную немоту...

— Погоди, не забыть сначала про нынешнюю оступку. Влетев в спрятавшуюся меж колеями лужу и чуть было не грохнувшись из-за того оземь, внешний мой человек отчего-то вскинул вдруг глаза вверх, а внутренний в ответ выхватил из-под сердца две вроде бы никак друг с другом не связан-

ные мысли: будто вода чем-то похожа на женщину, а небо есть образ двух рук, распятых на кресте.

Что же, попробуем разобрать, откуда это появилось. И давай-ка, Руказенков, поначалу пока про родовое — про руки и зенки. Ну так вот: восток и запад, места́, откуда солнце востекает и куда оно западает, тьма и сияние, ночное и дневное светила, раскинутые в противоположные концы мироздания и там пригвожденные обыденным, в исходном смысле слова ежедневным повторением своего круговорота в привычку, названную законом, — здесь всякому нетрудно будет увидеть подобие неба прободенным деснице и шуйце, распростертым на стороны в знак бесконечного размаха страдания, которому не видно временного предела...

С разлитою же женственностью и легче и сложнее разом. Можно, конечно, постаравшись не сползать в бездонное рассмотрение, сказать, что в воде, принимающей в любом углублении наиболее удобную форму, подстерегающей нас по пути во всякой яме и влумине, воплощена женская победная податливость и скифская настойчивая слабость, — это уже вспоминая знаменитый рассказ о том, как персы бродили по тем краям, что сделались позже Новороссией, секли мечом нежно певший воздух, а завоевать так и не сумели, потому что противник избегал встречать их при свете дня, истрепывая в сумраке мелкими наскоками, засыпанием колодцев и всякой иною докукой, за которую некого было наказать.

И еще, непонятная притягательность воды, как будто приглашающей топнуть по ней что есть силы и расплескать кругом вдрызг, вполне сойдет за образ той воплощенной в противоположном поле тяги пострадать, помучиться, слиться и разлиться, даже «оперироваться», о какой похотливо хихикал Розанов.

Собрав все это с поверхности, можно было бы как будто и удовлетвориться, оставалось лишь напоследок заключить, что распыленные, растекшиеся по миру стихии женственности и воды искони в чем-то природно сродны. Недаром на старославянском про женщин водянисто говорилось, что не идут они, а «текут» — «мироносицы жены течаху...».

Но разве этого достаточно для правды? — Пожалуй что, нет, пожалуй, и совершенно недостаточно; всякий посторонний тотчас же спросит: да как же так? И это — всё?! А что

тогда влекло бесконечные поколения, властно раскручивая по своей прихоти самого косного гордеца и грехомыгу — неужели то качество, что всего лишь текуче и нисколько не более?..

И он будет прав, потому что все наше по видимости точное рассуждение ложно от одного только отсутствия любви; а здесь ведь именно она важнее всего — притяжение, уязвленье, метящее душу подобно неизвестно откуда появляющимся на теле время от времени царапинам, долго не заживающим и проникающим вглубь.

...Тут я почувствовал уже, куда это сердце клонит, стремясь рассказать про себя, растравляя собственную очень больную историю, — и поторопился остановить этот ряд сравнений, повалив рассуждение теперь уже сознательно набок.

— Повременим, однако, Петр, колотить мысленных младенцев головами о свой камень, давай мы лучше попробуем свернуть у сего самого перекрестного указателя хотя бы влево и зададим первый вопрос всякого добросовестного рассуждения: а насколько само-то оно точно, насколько верно и непогрешимо это любовное горение, заставляющее человека становиться своим языком, своим словом, вслух себя через него выговаривающее?

Оно грешимо; даже более, нежели просто грешимо, — оно замутнено и взбаламучено. И еще — оно приходит извне, оно чужое, оно поразительно и оскорбительно непонятно. Но благодаря этому недоумению выясняется не только внешняя наша немощь, здесь скрыто еще и указание на выход, на разгадку, потому что в самом существе женского начала заключено знание о том, что оно — иное, нам не принадлежащее: главное-то в нем как раз и есть то, что наиболее другое.

...Вот ведь друг — и тот уже от слова «другой», как и вооруженная дружба — дружина; кстати, так же дружиною или подружием (отсюда — подруга) называли в старину и жену...

— А это снова приводит на память прошлое рассуждение о личности, в которой самою сутью тоже является именно то, что ни на что более во всем свете не похоже; оттого оно и невыразимо, невысказуемо, поскольку язык как таковой основан на возможности уподобления вещей — но с чем

же сравнить совершенно несравнимое? Более того, даже если бы и удалось-таки подобрать какое-то сродство, то, значит, или просто что-то неверно ошибкою было принято за личность, или этим та самая личность (или женственность) тотчас была бы убита, уничтожена, развоплощена. Доказательством верности решения в такого рода вопросах может, по-видимому, служить лишь полное исчезновение познаваемого сразу по произнесении его истинного имени.

...Так что не во всем подряд стоит вдохновенно докапываться до дна; пусть лучше в мире останется своя часть и для тайны...

Но тогда, все еще пытаясь позабыть про толкущуюся у разума в прихожей свою повесть, рассуждение покатилось далее и первым делом попыталось было утверждать, что не только источник, но и сама жажда познания противостоящей стихии затемнена страстью, потому-де и любовь в своей сути не открывается нам до конца, как непрозрачны и все помыслы о женщине, — и здесь снова из потока сравнений возник давешний образ воды. Однако, если разделить их, разломить пополам эти чувства на кромешную грязь и полную чистоту, то неизвестно еще, получится ли такая добрая война лучше худого мира. Ведь ежели взять первое, то есть что сами мы и любовное наше есть всего только плоть, только ил — то... да ну, тогда и не нужно ничего этого вовсе. Но если они, напротив, представляют собою одно совершенство, исключительно лишь ясное совершенство — ну кто бы так смог?.. Может быть, все-таки не то и не другое, а именно соединение их ценно, пусть даже отчасти оно и выглядит внешне довольно убого? Да нет, и это тоже одно лукавство, попытка рассудка задним числом найти оправдание для своей болезненной неболезненности, заснуть и приспать до смерти совесть, как нежного, мягкого еще младенца.

А не попробовать ли взглянуть на разделение совсем со стороны, окончательно чужим, просветленным знанием или хотя бы не затемненным похотью глазом — «чисто око еже не видети зла»?.. Посмотреть, словно некто противостоянию никак не причастный — ребенок, например, или даже дерево, камень?..

Но здесь уже появляется другое недоумение, которое останавливает не хуже прежнего. Мне его легче было бы объяс-

нить, наверное, так сказать, через разницу собственных воспоминаний о тождественных предметах, которая возрастала внутри почти незаметно, постепенно, по мере того, как мы на первых курсах изучали по общей истории искусства происхождение стилей в архитектуре и с тех пор начинали все более осмысленно глядеть по сторонам, прямо в глаза окружающему. Ну так вот, а большая часть людей, естественно, этой истории не учила — обязанности такой не было, желания, да мало ли еще чего; однако они, конечно, тоже не все ходят, опустив очи долу, многие, напротив, даже с какой-то зловещей радостью впериваются во все кругом, — и что же они видят? Тут загадка: каким представляются вещи тем, кто понимает их неверно, искаженно или же полностью наоборот? Они ведь отнюдь не слепы, им кажется что-то; да и сам я недавно был не из их ли числа?.. Но сейчас, сравнивая прошлое с тем, что теперь сделалось известным и очевидным, я вызываю в памяти остатки своих старых представлений — вот, скажем, чтобы далеко не ходить за примером: какой мне казалась тогда соседняя московская улица Кузнецкий мост, — и отчетливо вспоминаю, что видел ее совершенно другою; значит, она для меня иной не только воистину — как единственная знакомая реальность — была, но могла бы насовсем такою остаться... Из чего же составляется, в отличие от достаточно нетрудно воображаемой точки зрения бывалого знатока или сознательного отрицания ненавистника, — это сокровенное их-мое перекошенное представление о мире? Разве это не одна из наиболее сумрачных картин человеческого познания, хоть бы в щелочку ее подглядеть...

И так ли ребенок смотрит на противоположность мужского и женского, — или все-таки, не приобретя еще взрослых, лишенных невинности мерок, он видит всю их разницу в ее чистом и неоскверненном обличье? Один только краешек свой способна ведь истина ему показать, край риз своих...

А может быть, все же равный равного узнаёт верней, и умозрение, смешавшее ясность с запятнанностью, само оттого сделавшееся мутным — ибо тьма в своем роде заразительней света, — легче проникает внутрь ближнего; заблудившееся сознание скорее обнаруживает сородича сквозь блудливую плоть и правильно делает вывод о том, что женщина есть воплощенный образ красоты внешнего мира, в ко-

тором обе крайние его стороны — идеальная и суетная, пустая — собрались уязвительно рядом...

Возвращаясь обратно к прирученному уже сравнению с водой и рекой, приходится теперь с сожалением заметить, насколько не права была та известная средневековая притча, кочевавшая по всему словесному простору арийского расселения от Индии и до Африки, в которой говорится, что благочестивая жена сумела отогнать соблазнителя, сказав ему: зачерпни-ка, батюшка, воды слева от ладьи, зачерпни и справа — не один ли вкус? Так и ты возвратись, не распаляясь более и не совращая, к супруге своей, потому что в этом у нас с нею сласть общая.

Ведь на самом-то деле выходит, что хотя суть действительно общая, но сласть каждый раз немножко иная, и состоит она именно в этой незначительной на первый взгляд разнице, которую, однако, бывалый питок определяет в воде с легкостью, по ней и узнают вкус безвкусной в общем-то окиси водорода. Вот в деревне и по сю пору непременно поправляют приезжего культуриста, если он, прихватив для упражнения мышц и суставов ведра, заявит, что отправляется за водою: не «за водой» надо говорить, заметят ему, а п о в о д у, потому что сказавший «за водою пошел» вполне может и не вернуться назад — водяной сочтет его за своего и утянет, утопит... А коли и в таком малом словце, предлоге, частице запечатлено народной приметою немалое смертное различие, то уж в женщине-то... Хоть в самомалейшей черте, а и близнец близнецу рознь, иначе их не было б двое.

И так горбатым мостиком выгнулся переход от реки к близнецам — кто только не уподоблял в сердцах тугоумную бабу неверующему Фоме, и даже столь часто, что...

— Вот и доигрался; как будто осторожно обходя эту лужу кругом, на самом деле забрался в самую топь с другого краю. А сейчас уже не отвертишься, и о своем собственном горе непременно придется вспоминать...

— Ну нет! Я ведь всего лишь про Фому-гностика, Фому — «аще не вложу перста моего в язвы гвоздинныя и руку мою в ребра Его — не иму веры», про Фому, сказавшего в апокрифе, что в жизнь вечную входит та женщина, которая делается, словно муж, духом живым...

— Но ты сейчас уже, конечно, вспомнил, как переводит-

ся имя «Фома» на русский язык: оно означает близнец.

— Ну и что с того? Что?! Я подумал тогда просто о всеобщем женском, и даже вот — торопливая рука полезла снова в суму — совершенно искренне обрадовался было тому, какую опять же вовремя на сей предмет обнаружил старинную притчу, тоже, кстати, пришедшую к нам с Востока. Во времена князя Владимира ее рассказывали так: «Царь некий, не имея детища мужеска полу, скорбяше зело и то несчастие не мало быти помышляше. В сих убо помыслех сущу ему, родися наконец сын, и радостен бысть о сем царь сердцем. Реша же ему премудрии от врачев, яко аще до дванадесяти лет возраста солнце или огонь узрит отроча, лишится света и слепо будет: то бо очию его сложение являет. Сия царь слышав, повеле храмину, яко в вертепе, в камени некоем истесати и ту отроча с питающими е заключити и весма до скончания двунадесяти лет ни малы зари света показати ему заповеда. По скончании же двунадесяти лет, изведе из храмины отроча, ничтоже отнюдь мира сего видевшее. И повеле царь всякия вещи по роду их представити и показати ему: мужы убо на единем месте, на ином же месте жены, на друзей злато и сребро, инде же бисеры, и камение многоценное, и ризы красны и драги, и колесницы с кони царскими в златых уздах, с червлеными покровы и на них всадники облечены во оружие, стада волов и овец и, просто рекше, вся по ряду показаше отрочати. Вопрошающу же ему — како коеждо от них нарицается, царевы боляре и оружницы коегождо имя поведаху ему; егда же вопрошаше имя уведети жен, некий от мечник царевых смеяся и во утеху рече: сии нарицаются беси, иже прелщают на блуд человеки. Отрочати же сердце тех похотию и любовию паче всего инаго воспалися и подвижеся. И, яко вся показавше, к цареви возведоша его, и вопроси его отец: что угодно явися тебе паче всех, яже виде. Реча отроча: ничтоже ино, токмо беси ови, иже прелщают человеки; ни единем бо от виденных днесь мною тако, яко о нех любовию ражжеся сердце мое. И удивися царь о глаголе детища, и оттуду разсуди, коль есть люто и мучително дело, женское рачение...»

— А теперь, положа притчу обратно в котомку, я и сам расскажу ту историю о расплате.

...Была короткая и не совсем внятная для ума прелесть,

напоминавшая собою северное обреченно-цветущее лето, в том, как я женился почти сразу после практики в архангелогородских деревнях. Самым привлекательным в жене моей мне казалась тогда некая неуловимая словом нежнейшая прозрачная тень счастья на лице, сообщавшая как бы легкое золотистое свечение всему вокруг, от которого исходило тонкое тепло; а еще двое, что ли, опасных образов будущего: немножко раскосые, серые с голубою дужкой — цвета нашего неба — глаза и как-то непонятно связанные с ними невероятно-ласковые, перламутровые коленки, что она, садясь, ставила идеально ровно рядом, и притом между ними образовывалась такая темная щелка — ничего более возбуждающего я в жизни не знаю.

Вернувшись уже вместе, мы потом прогуляли осенью прохладный листопадный месяц, жили дома одни, не выбираясь по целым суткам из постели, — разве иногда после полудня я нехотя вставал растворять окна или выходил варить кофий, а она устраивалась в углу под потушенной лампой и, подперевшись подушкою, глядела в проникнутые дневною луной стекла или от безделья принималась, высоко подняв руки, укладывать волосы, собирая их от затылка кверху и скрепляя там мудреными видами заколок в род небрежного строения наподобие башни, в то время как груди, будто движимые взаимною неприязнью, стремились одна указать розовым еще соском на запад, другая же на восток...

Но постепенно, чуть ли не с той же зимы, а с тех пор уже и навсегда, нам обоим становилось все явственнее, что, кроме того общего женского — замечательно-женского, — которое я тут представлял в сродстве с водной стихией, эта ее неделимая «дельта» была как будто нарочно так устроена вершиною вниз, чтобы мне мешать. То есть мешать во всем поголовно и без разбора, для чего даже не требовалось какого-либо особого повода, — потому что и среди полного молчания и бездействия в воздухе постоянно скапливалась туча душевной неприязни, нелюбви, разрушавшая покой, настроение — и построение.

Года два такой жизни сделали меня крайне, преувеличенно пугливым на всякую попытку чужого проникновения в свой мир и одновременно скряжисто жадным до каждой, хотя бы минутной возможности побыть наедине.

Я понимаю, конечно, что бывают болезни «не к смерти, но к славе», — но ведь есть и обратные. И поэтому, наверное, расстаться еще тогда, чтобы только больше не видеться и не болеть повторениями — было бы подлинным избавлением. Однако сразу это как-то не сладилось, стало тянуться, волочиться хвостом, а потом вышла в довершение всего свинства история с близнецом, с двойником, с Фомкою, и когда мы наконец действительно разошлись, то и на одиночество тоже протянулось это чувство вины и прикованности. Как гвоздь в руку.

— Погоди, может быть все же удастся обойтись этим и просто продолжить общее рассуждение о стихиях.

Раньше я уже протягивал мысленную нить от пресуществления к проявлению фотографических снимков в темной закрытой храмине, среди влажного тепла и отсвечивающих алым растворов. Ну вот, а не может разве случиться так, что душа — отпечаток отцовского негатива, — передаваемая вновь появляющемуся существу в прикровенном делании рода, за отвержение любви попадет во что-то столь же живое, но только не человеческое, а другое — не это ли будет истинный ужас, глубочайший даже Эдипова и сам составляющий свое достойное возмездие?..

Ну довольно, потоптались вокруг — и хватит. Уж коли втяпался в лужу, то лучше вспомнить сейчас все самому, перейти через середину ее по собственной воле и тем постараться избыть, — чем, закрываясь рукою от себя-осуждающего, раскалываться внутри и так соблазняться без конца.

Вот и ладно. Хотя на самом-то деле и не ладно, и жутко, и совестно, и сказать как-то все не можется, один выходит только мык пустой, как у немого: голос имеется, да речей нет...

Однако уже решились ведь. В последний женатый мой год она прикупила у какой-то уличной торговки черного «двухпородного» щенка, настолько еще маленького, нищего днями жизни, что от него в первые недели все продолжало пахнуть молочком. Дело было летом, и вот это благоприобретение так и ездило с нами на дачу в корзинке, как оживший цветок, шурша там, тявкая, безобразничая и волтошась.

Назвала она его почему-то Фомой, но я поначалу сопро-

тивлялся, не желая продолжать дурацкую новую привычку равнять людей со скотиною одним именем. Правда, в деревне, скажем, тоже разную животину — коров, свиней, коз и прочее дыхание — почти всегда зовут человекообразными кличками, но все-таки не целым полновесным словом, а добавляя в него уменьшительный насмешливый суффикс, так что выходит уже телка не Мария, а Машка, кот Серёня, кабан Борька, и так далее в том же роде... Ну, на Фомке мы в итоге с ней и сошлись, хотя это и напоминало как будто бы название по «фене» какого-то, уж не помню точно какого воровского орудия, да и вообще мне до сих пор кажется, что она еще как-то именно в меня этим метила...

И вот однажды, когда мы валялись в тягучий полдень на рассохшейся бабушкиной кровати, незадолго перед тем с большим трудом перевезенной и втиснутой через раскрытый нарочно балкон на дачу, как раз в самое нежное мгновение Фомка, тыкавшийся в поставленной рядом на стул сумке, раскачал ее, свалился от своей резвости на пол, тихо взвизгнул, — и оба мы, в первый миг испугавшись этого незнакомого жалкого звука, согласно взглянули в его сторону... Разобрав, что за беда случилась, я засмеялся и сказал: «Ну, ежели залетишь, — то назовем Фомою». Жена в ответ зашипела, раскричалась о действительно несоблюденной предосторожности; затем что-то другое бывало и происходило, позже мы опять ненадолго помирились для каких-то общих нужных дел, и так далее, — словом, пошла обыкновенная дурная семейная жизнь.

Единственное, что тут было необычного, это то, что она на самом деле понесла...

Потом, на третьем месяце, она этого ребенка по обоюдному согласию вытравила. Ну, конечно, и противно это было, и гадко на душе, но ведь вроде и кормить-то его было бы не на что, да и возиться — некому и некогда, не говоря уж о том, что где-то близко бродила мысль о разводе. История в общем вполне обыденная, не одни же мы на свете такие.

...А оказалось, что нет, что за всех тут не заховаешься и что такой я воистину один, как и всякий взрослый человек на подобном месте: потому что за это каждый отвечает наедине, в одиночку. Разве что, если наказание выпадет в соответствии с природою, то ощущается оно более тяжким.

— Щенок наш тем временем вырос в средней высоты кобелька, в кровях которого угадывались пудель с терьером, да и еще что-то такое в дополнение к ним было, что я, глядя на его неуемное гоношение, шутя определил как человеческое и с той поры так и стал называть его, опасно балуясь словами, кентавром и сыном. А он и вправду — оттого, наверное, что с первых своих дней рос в обществе людей и долго не видел собак — научился множеству чисто человеческих привычек, всегда сначала поражавших незнакомых: умел, например, лежать на спине, завернув ногу за ногу; спать предпочитал в постели на боку, залезши под одеяло и положа голову на подушку, да еще иногда подсовывал себе лапу под щеку; любил ходить на задних ногах сам безо всякого на то приглашения и даже в совершенном одиночестве, когда на него никто не глядел. Если был голоден или жаждал, то отправлялся на кухню и молотил там по железным мискам, точь-в-точь как солдаты на сборах. Других животных, из своей псиной и прочих различных пород, познакомившись с ними чересчур поздно, он любовью не жаловал, а женскому полу и вовсе не уделял никакого внимания, но зато выказал одну чисто художественную страсть — выучился скулить под музыку, причем только под живую, не записанную; когда кто-то играл у нас дома на рояле, он тихонько забирался за него в дальний угол, упирался там для прочности в стенку задницей и вдруг начинал выводить рулады. Если же к инструменту никто долго не прикасался, и он, пылясь, пребывал больше недели в запустении, Фомище сам приходил к людям и недвусмысленно, взявшись зубами за полу платья, тянул, рыча, ко клавишам — попеть, позвучать, повыть.

И вот, наблюдая как он, раззявив кровавую пасть, будто какая самоходная калоша на алой подкладке и пушистых бесенячьих с копытцами лапках, вытворяет обычное свое молодецкое безобразие — голосом пляшет, ногами поет, — и часто по-прежнему называя его сынишкой, я впервые начал испытывать, правда, пока еще полуосознанный, новый какой-то стыд.

Ну а потом, после развода, попавши в нешуточное положение, несуразно скучал по животине и забредая к нему — именно к нему — на свидания к бывшей жене, тогда-то я свое наказание и понял. Это и до сих пор даже как-то

страшно выговорить, да все равно уже не отвертеться: я вдруг ясно увидел, что не сумевший родиться ребенок отпечатал свою душку в собаке, ухватившись за сказанное в миг его зачатия слово; так что со времен, кажется, древнегреческих легенд, и то не припомню сейчас точно (боюсь вспоминать), где это там похожее есть, в сказаниях про кинокефалов, что ли, — не было еще такой кары человеку за блуд, хотя бы и женатый, кары в виде собачьего отцовства. Да поглядели б вы хотя бы в эти его изнутри блестящие чем-то черным глазки — живые, но какие-то чертовские, паучьи!..

А если к тому же случится так, что это будет мое единственное в мире потомство —

Ну уж нет! Остановись. ПРЕКРАТИ. Коли теперь и эту мысль облечь словом до конца, ведь она тотчас же пожелает сделаться живою правдой...

Нету вины непрощенной, и я верю, что никогда не поздно исправить себя; вон, наконец пришло на память, из кинокефалов, по преданию, был и богатырь Христофор, ставший впоследствии святым мучеником... Немало уже и того, что я все сказал ныне впервые вслух внятно, пусть для оправдания этого, конечно, и недостаточно. Но будет пока, полно, потому что кто же еще другой, кроме меня самого, сможет здесь разобраться? И не то, что я остерегусь рассказывать, — а вот как заставить поверить в подобное? Да только начни, попробуй растолковать лишь примерно — так в лучшем случае засмеют, а то еще и сочтут за одержимого гордостью под видом покаяния или за помешанного от пошлости: вкус, скажут, подгулял у вас, батюшка, и стыд... Поэтому оставим исповедь до поры в таком ее сыроватом виде, — один я свое это наказание понимаю, один и помню, уязвление чувствую и более имя своего рода в животное не уроню.

Достанет того, что через близость, уподобление или каким угодно иным способом человек и так повязан с другими тварями накрепко, а чуть ли не половина людей и сама по себе весьма походит на них внешне, — но не это как раз обидно, нередко еще зверь бывает человека действительно чище. Можно предположить, что сходство постепенно образовалось именно из-за того, что мы перепустили собственную боль и вину на то прочее живое, которое пока бессловесно и, значит,

безответно прикрепили его к себе своими бедами. Не евангельский ли Иисус в стране Гадаринской, изгоняя бесов из одержимого, вселил их в стадо свиней, которые тотчас же бросились с обрыва в море и утонули? Всякое дыхание страдает нашими грехами с нами и часто даже за нас; вон собакам тоже ведь снятся сны, отчего-то и они скулят спящие...

Поэтому в том, как здесь сочетались, переплетаясь в умозрении, водная стихия женственности с животною природою в людях, по-видимому, тоже есть неприметная сразу ниточка правды: животом торжественно называлась в древности на Руси жизнь, и не женщина ли слышится в этом слове, дающая нам ход на свет?.. Как она же потом в иное время и роняет вниз лицом, приводя в смятение и блужданье, — и вот уже тысячи лет назад, приметив это близкое сродство, сластолюбцев стали равнять с животными, называя «конями женонеистовыми».

Однако эта повязанность с женственностью и животом как будто уже чересчур далеко увлекла мысль и там ее, запутав, собирается вовсе покинуть. Теперь выясняется, что дорога наша постепенно уклонилась в сумрак, пусть поначалу она и направлялась вроде бы правильно, налево, в сторону сердца; но по мере продвижения вперед окружные виды незаметно мутнели, и мир, наконец, стал потихоньку скрываться из глаз, раздираемый войной хульных помыслов, размываемый волной бесчинных неуправляемых образов, выходящих из подсознания без прививки совестью прямо в жизнь. Воображение забрело, заблудило на бездорожье, и вокруг снова начало неприметно куриться лихое болото безумия. В этих стихиях уже подлинной связи не отыскать — здесь остается лишь горькая радость совершенно потеряться, заплутать в бессмысленном нескончаемом мечтании: мысли ведь тоже, как видится, имеют свою собственную судьбу.

Так что движение в поле полной свободы настроений сделалось путем на ущерб, и не зря, наверное, выплелось слово о том, что с чувствительным началом или, шире, с тем, что можно было бы назвать общим именем «левизны», человек повязан — а не связан; тут более всего важен именно этот оттенок смысла, заключенный в приставке глагола, вернее, самого его корня, передающей наличное ощущение подавления воли в отличие от укрепляющей в мире союзности.

Но окончательно вырваться из окованности телом, конечно, возможно, только лишившись вместе и жизни, потеряв, прокляв красоту живого. То есть, попросту говоря, вырваться-то насовсем и нельзя — и остаётся тогда, пребывая до поры в узах, со всею силою продолжать стараться, стремиться, стучаться — «толцыте и отверзется вам» — искать выход, но уже не такой, не левый, а включающий что-то иное —

«...мир, и себя, — и другое, другое, другое...»

И все-таки пусть никогда не случится так, чтобы от душевной усталости соглашение всех трех наших естеств об обретении смысла состоялось в обмен на утрату красоты, хотя бы и одной лишь колеблемой ветром красоты видимого окоема. Ведь связь без нее, вне ее есть ложь и обман, потому что счастье, или, как оно раньше коротко называлось, рай, — они безóбразными не бывают.

...Ну вот, и довольно уже, голые ощущения оставляются здесь в своей собственной власти и покинутости разумом, даже если они запеклись в кровавую корку от смертной тоски по оправданию и такого страха бессмысленности, который и самых крепких мужей способен погорбить, изогнуть, сделать стать их женственно-слабою, как у фигур, застывших в ужасе и преткновении ученика и сотника по левую, лунную сторону Распятого. Но все же несравнимо важнейшая трагедия происходит выше, перед ними, на самых глазах их, и поэтому мысль бросает попытки понять здесь что-то, унижаясь до бессознательного, она воистину гнушается образами, все время безнадежно воспроизводящими самих же себя, рождаясь без цели среди постоянного сворачивания всех чувств на пройденные круги, не говоря вообще о том, насколько вообще нелепо сочетать такие понятия, как «всё» и «время».

Возвращаясь назад, я отнимаю с болью, отвожу, отрываю взгляд от ущербленного месяца, предпочитая пока просто, скукожившись от злого ночного холода, растворяемого одной лишь надеждой на утро, всматриваться во тьму на противоположной стороне, куда закатилось вчера солнце и где виден сейчас, равно для бодрствующих и для спящих, только густой плотный мрак, подобно тому как это делал когда-то и мой первоверховный испуганный тезка, который «также стоял с ними и грелся...».

4

Но вот, как говорится, быстрая вошка первой на гребешок попадает, и не зря порочные, но точные слова о «всем времени» перепрыгнули вместе с мыслью слева направо, хотя и сорвались с уст как будто бы мимо разума, невзначай Ведь вчерашний автобус, распластавшись цветными картинами накрест, как раз дает счастливую возможность, потеснив все прочее, попытаться проникнуть вовнутрь этого времени с некоторой надеждою на успех — и вправду, грех было бы не воспользоваться тем, что пространство бесконечным повторением сняло себя через отождествление всех частей, само упразднило свое навязчивое присутствие. Даже если это была только кажимость, видение избавления от бесконечной протяженности, — то все равно в таком случае легче попытаться представить, как выглядит освобождение на самом деле, когда длительность вдруг отрывается, очищается от всех видимых форм и существует в ясной своей одинокости. И пусть это окажется всего лишь чистого рода молодечеством, покушением любителя войти в природу времени, вжиться, вжаться в него — ничего, мы потерпим...

Но потом непременно возникнет и естественное желание пойти еще дальше, разувериться в несомненной обязательности, непременности, данности самого времени. И действительно, отчего ж это человек обязан терпеть его принесенную откуда-то извне и воцарившуюся здесь без спроса единственную наличную форму?..

Однако, столкнувшись так с ним лоб в лоб в очередной, чуть ли не третий уже раз, приходится снова заметить, что со временем сладить куда труднее, чем с другими препятствиями, что словесным или житейским фокусом тут в одночасье не справиться; войну надо начинать по-настоящему, всерьез, и война эта будет опасной, потому что, даже загнанное в угол, оно может тогда, как кошка, глаза вынуть вон... а то и насмерть...

Для успешного начала лучше попробовать сразу ошеломить противника, неожиданно оглушить, нанеся побольше ударов в самую голову. — Пусть вот, кстати, никогда не забывает о том, что и само-то оно не вечно, а временно, что возникло, как недавно вывели ученые, вместе со всею нынеш-

ней Вселенной около двадцати миллиардов лет назад, а до той поры его и вовсе не существовало, по крайней мере, в теперешнем унылом прямом виде. Кроме того, и после его появления на свет бывали примеры — их совсем нетрудно привести на память — того, как удавалось время превозмочь, победить, оседлать: да разве нет хотя бы книг таких, написанных и две тысячи лет назад, которые постоянно остаются совершенно новыми? — крадучись, подвигал я вперед наступательное свое рассуждение, воспарив среди ночного покоя ревностью за сынов человеческих.

— Последовательное, связанное с пространством переживание, как это уже поминалось ранее, само порождает течение времени, предстающее перед мысленным взором как бег вдоль рядов познания. Но ведь есть еще и постижение качественно иное, когда проникновение происходит вдруг на несколько степеней или даже вообще поверх всего ряда: поначалу скачка мыслей за образами застывает, прекращается будто бы полностью —

...как во вчерашнем движении к Боровску...

— а потом вместо долгого труда познания тотчас же случается его итог, и это зовут откровением.

Позже, конечно, и тоже по преждереченному, снова вернутся и трудность, и неизбежность тяжких блужданий, а дальнейшее движение опять остановится, и не будет уже сил, способных заставить его продлиться еще хотя бы немного, — можно всего лишь постараться не забыть только что достигнутого, не утерять полученного. А тем временем исподволь начинает накапливаться сила для нового, следующего проникновения, но его, естественно, приходится ждать. Противоестественно долго...

Видимо, нарочно для такого случая природа подарила мне от рождения и другое вспомогательное оружие, внутреннее средство, сделав как будто прививку от суеты и вовлеченности в плещущее по поверхности волнение. Действие ее состоит в том, что всякое приходящее желание, даже самое вроде бы оправданное, тотчас вызывает перед умозрением воображаемую картину своего исполнения, сопровождающуюся подлинным ощущением того, как все будет выглядеть по настоящем достижении цели: каков я сделаюсь тогда сам, как стану переживать победу или неудачу и что от

нее вообще будет за толк такой — стоит ли он времени жизни... Тогда тяжесть желания начинает постепенно превозмогаться, не слишком нужное в нем — а много ли иного — снимается, а потому помысел потихоньку рассасывается и, наконец, рассеивается вовсе. Причем вожделение пропадает не через рассудочное различение «главного» от «неглавного» или «более важного» от «важного не совсем»; но попросту, пережив уже заранее само себя, свое полное осуществление, поприсутствовав, образно говоря, на своем юбилее, а потом и на поминках с речами, некрепкое помышление начинает вянуть и вскоре, побледнев, умирает, едва родившись, — когда перестает лежать к нему снабжающее его оживотворяющей силою сердце, с которого приходящие извне заботы и похоти спадают, как летошняя кожа с ужа...

В понемногу очищающемся сердце появляется со временем уверенное знание того, в чем же собственно состоит та единственная личность, которую оно питает болью и кровью, и где проходят границы ее неоскорбительного для ближних распространения; это знание помогает достичь все возрастающего разотождествления с подкидными нуждами и жаждою пустой деятельности, иногда весьма похоже скидывающейся угрызениями совести. А подобного рода злое ощущение ложной обязанности необходимо требует основательной разборки именно с точки зрения трезвенности желаний.

Дело в том, что по наглядно-точным суждениям о России, изящная очевидность которых околдовывает не у одного только маркиза Кюстина, но и у многих из соотечественников, которые, телом или душою навещая европейские пределы, бросали оттуда взгляд на родину и — «со стороны ведь виднее» — обнаруживали некие общие народные наши качества, было признано за художественную правду, что таким особым свойством славянской натуры является глубоко укорененное в ней восточное, почти буддийское чувство извечной оправданности, изначальности и благотворности бездействия, седьмого дня, субботы, когда почивают, утрудившись и вдохновенно ото всего отдыхая. Им оттуда увиделась в нас — не в них, конечно, а в нас — выросшая из этого убеждения и окрепшая за века лень, тяга к беспечности и покою, безвредности человека для окружающего его ожив-

ленного пространства, соответствующая распространенной на весь мир Гиппократовой клятве врачей:

«Не порть, не пакости ближним и дальним своею неосознанной, да и осознанной деятельностью, не превращай жизнь в бессмысленную суету...» И еще завет: «Врачу́, исцелися сам!» — тут тоже как нарочно приходится впору...

Но отчего-то почти незамеченным осталось то, что в противовес этой жажде положительного покоя внутри нас коренится также еще и упорное, не снисходящее до потребности в самооправдании желание докончить во что бы то ни стало всякое раз начатое дело, какого бы рода это самое дело ни было; безоглядная верность однажды принятому на себя долгу, даже когда он толково-то и не понят, некая не познанная, а просто признанная обязанность (или, как это произносят на Севере, об-вязанность) завершить двинутую работу, чего бы это ни стоило. А стоит это часто дорогонько, потому что такое странное соединение двух помянутых природных крайностей, которые ведь сами по себе, строго говоря, не добры и не злы, — именно оно и влетает в копеечку всем подряд.

Здесь снова приходится проникать внутрь самого существа этого рода забот, чтобы — подобно тому, как прежде, воображая наяву исполнение всех помыслов, легче оказывалось их упразднить, — сейчас, разоблачив суетность под иною личиной, лжесовестный свой долг пустоте если не вовсе отказаться платить, то хотя бы вернуть по частям или, по крайней мере, уточнить, сделать по возможности неопасным для других, так сказать, выражаясь чужим метким словом, себя «сузить». Так что душе, зажатой между предшествовавшим небытием и грядущею смертью, как конвой ведущим ее по накатанной дорожке в ямину — «шаг влево, шаг вправо — попытка к бегству, огонь открывается без предупреждения!» — все-таки предоставлена свобода выбирать; ну, казалось бы, из чего уж тут-то — а тем не менее надо...

Отвечая в обратном отношении этим двуглавым страстям, вере в правду покоя и подсознательному долгу что бы то ни было сделать, существуют, по-видимому, два основных и во всем различных между собою пути вживания в мир, усвоения его: расширение во все стороны — и обращение

внутрь себя. Но теперь мы вопреки рассудку, всегда вообще склонному к самопознанию, отдадим первенство чести как раз путешествию и странствованию по белу свету: ведь если вглядеться пристальнее, то сделается вполне очевидным, что всякий человек — и это лучше всего заметно в заслуженно преследуемых вниманием праздного досужества людях, снабженных творческой способностью или даже только тоскою по ней, — воистину представляет образ постоянного испытателя приключений, разбойника духа или, чтобы сделать выражение это несколько менее резким, — приобретателя. Пусть, кстати, никого не смущает торговый оттенок сравнений — не подобными ли метафорами полны самые высоко-бескорыстные книги восточной и западной мудрости? — «Бди, о душе моя, изрядствуй, да стяжеши даяние с разумом и достигнеши незаходящий мрак в видении и будеши великий купец...»

Оседлав такой видоспособный пример, сопоставим теперь внешний мир и с богатою лавкой с бесчисленными рядами драгоценных томов, которые трепещущий от нетерпения книжник может невозбранно в короткий срок приобрести; да беда-то в том, что хоть и во множестве — но не все. Впрочем, денег хватит на весьма обильный ворох — монетою здесь служит само время, делимое, однако, не до бесконечности, то есть заведомо известно о наличии некоторой далее уже не разменной его единицы, копейки или по крайности полкопейки — денежки — полушки; и, ограниченное так нижним пределом, богатство в тот же час делается конечным и по пределу верхнему. А когда купить можно многое, но не все, то главное, что требуется от вошедшего в мир покупателя, — это снова выбор.

И вот тогда-то, коли суметь удержаться и пройти мимо первого искушения замечать в мире лишь формы, подобные собственной, а также и мимо второго соблазна просто блуждать всю жизнь любопытным глазом без цели по по́лкам, есть возможность на третье, на сладкое получить искомое, ту самую выходящую поверх времени связь человека со Вселенной, которая проходит сквозь сердце и делает личность единственной и бессмертной...

Потом среди такого приподнятого рассуждения мне показалось уместным построить еще одно сравнение. Появляющийся на свет наш кажется похожим на случайного прохо-

жего, заглянувшего в незнакомый, недавно покинутый хозяевами дом, где он вдруг находит множество замечательных чужих вещей. И вот это неожиданно обретенное неправедное богатство он по праву первооткрывателя начинает принимать за подлинно свое, усваивая его себе совершенно искренне, а потом и другим представляя как собственность, — и самое чудесное в этой приобретательской истории то, что он воистину прав: я открыл — значит, я и обладаю. Находка в данном случае равна творению; и то чувство, что «все хорошее, найденное мною — мое», в особенности часто примечено было у чистых сердцем детей.

Это также другая причина того, что всякий автор представляет собою род благородного (и нет) разбойника; да ведь и губит его по большей части то же разбойничье удальство, когда, начиная увлекаться и терять осмотрительность, он торопится жадной рукою загрести все больше и больше чужого нового. Но в таком порыве завоевателя, может быть, и состоит единственная радость трудного его мастерства и постоянно подвергающегося испытанию дарования...

А истинный хозяин отходит до поры в сторону и, пока вещи хранят еще его тепло, сам он, тихонько отступив в тень, наблюдает оттуда через ночное стекло: сможет ли пришлец по крапинкам и блесткам золота, отсвечивающим там и сям, доискаться разбросанных повсюду звеньев, соединить их, собрать, потянуть в нужную сторону — и в конце увидать разгадку всей цепи. Подарив дом, создавшая его Премудрость сама в него уже не возвращается, во владение не вступает, и потому пришедший постепенно становится постоянно исполняющим свои временные обязанности, а найденные драгоценности всеми признаются принадлежащими ему как наследнику.

Потому-то еще и оказываются так притягательны для описания путешествия, пустые дворцы и редкие забытые книги: вокруг могло ходить полным-полно гораздо более хватких людей, на чьей дороге лежали и сокровища подороже, но заметивший первым именно этот камешек станет его единственным законным повелителем, который вправе, ломая всякую логику, сказать: это я нашел, это я находкою своею создал, это мое, это я — вот как!

Лишенная такого счастья открытия вещей вновь и приоб-

ретения направленных от них во все стороны связей, жизнь предстает только как созревание смерти, несказанно противное всему естеству бессмысленное и неминуемое исчезновение — пусть даже такой безысходный мрак и порождает самою своей чернотой мысль о существовании где-то возможности его преодоления, покуда теплится еще в душе надежда на иное...

Покопавшись недолго в суме, чтобы впустую не пересыпать не по чину и случаю глухо шелестящими от потертости словами, вот я достаю из нее для опамятования подлинное старинное свидетельство о внешних признаках мимотечения лет. Оно исполнено в не совсем уже привычном ключе, когда автор, стоящий поначалу на точке зрения вечности, пребывая в состоянии покоя, ощущает себя до такой степени свободным, что в нужный миг отказывается соблюдать им же самим наперед поставленные правила построения текста и вдруг от мерного, исчисляющего на костяшках веков каждое слово и пору человеческой жизни повествования срывается в крик — рифмованный, правда, крик, потому что и ужасу не позволено было быть безобразным, — а потом находит себе утешение в покаянии:

«Извещение вкратце от создания, еже есть от нарождения и до исхода жизни, — в которыя лета во всем веке жития востают какие нравы. Седмицами убо исполняется всяк возраста своего, даже до совершения старости; каяждо же седмица имать по седми лет.

Первая седмица, егда бывает человек по рождении своем 7 лет, тогда младенец сущ незлобив, и зубом испадение, и многое неразумие и все помышление младенческое имеет.

Вторая седмица, егда бывает человек от рождения своего двух седмиц, сиречь 14 лет, приходит в юностное распаление и вожделение страсти и семени испущение.

Третия седмица, егда бывает человек от рождения своего трех седмиц, сиречь 21 лет, юноша в мужеском образе и ищет разум.

Четвертая седмица, егда бывает человек от рождения своего четырех седмиц, сиречь 28 лет, добродетелен бывает, — или златолюбив и величав, горд и высокомыслив, и всякого неистовства и буести потаковник.

Пятая седмица, егда бывает человек от рождения своего

пяти седмиц, сиречь 35 лет, муж исполнен возраста, кроме седин в телеси и приходит в совершение разума.

Шестая седмица, егда бывает человек шести седмиц, сиречь 42 лет, тогда средовечен, силен, правомыслен и богат.

Седмая седмица, егда человек бывает семи седмиц, сиречь 49 лет, муж сединами украшен и всякого младоумия отлагатель, и буести отвращатель; овогда же прискорбием и печалию посещаем, начинает обращатися бо в нижния степени.

Осмая седмица, егда бывает человек осми седмиц, сиречь 56 лет, приходит к согбению плоти и изнеможению костей его, и оттоле клонится на ветхоту.

Девятая седмица или вящьшая, аще повелит судьба, — иже к старости и к последнему концу снидох, а в чювство окаянный не приидох. Ждах себе во всех седмицах жития конечного посечения, а не остахся прелестного сего света попечения. Еже ныне со усердием возлюбих, а душю свою злыми делы погубих. Сей свет прелестен, закрывает век безвестен, токмо разумех, яко дряхл, и тяжек, и различными болезньми одержим, зубом искорение, очи имам несветлы, власы брадныя и главныя изменены, кровь не греет, старыя недуги и падежи и раны, иже в телеси от юности бывшия, востают, и скорби всегда и дряхлости одолевают, и кашли, и слин огустение, и все тело разсыпается, и слячие сиречь испадение лица, и мокроты, и многия труды и болезни, и тако приидох окаянный к последнему концу жития своего, еже есть к смерти. Увы, увы, душе, разлучихомся с телом, и уснух в смерть, и не вем камо иду, и что буду, боюся дел своих, яко дела моя осудят и оправдят мя... Виждь человече род естества своего и познай, кой князь, или воевода, или вождь, или богат, или убог, мужеск пол или женск, — не все ли смрад, и гной, и червь, и кал, и прах, и пепел, и персть, токмо кости едины, наги лежащия...»

— И вот такой страх, неминуемо возникающий при чтении исповеди этого давно уже мертвого человека, одним из первых в России заговорившего некогда барóчным, силлабическим стихом, страх, посещающий не в обычный свой час сиротливого ночного засыпания, а явственно днем, — он действительно способен стать образующим, строительным чув-

ством, не допускающим расслабляться, открывающим для ясного зрения чистое умное око.

...Но отчего-то нам все же свойственно делить мир именно надвое, на правое и левое, солнечное и лунное, природное и искусственное, чувственное и рассудочное, вплоть даже до того, что от неспособности стерпеть несимметричную пустоту в правой части груди разум сам стремится поместить там напротив сердца какой-то, хотя и не ведомый пока науке, но несомненно ощущаемый мысленный или душевный орган, качающий дыхание, сок духа... А раз таковое пристрастие ко двоечленности неустранимо, и умозрение приковано к нему от века подобно двум пригвожденным по разную сторону рукам, то приходится теперь в поисках чаемого пути менять направление взгляда, сдвинуть рассмотрение и побывать также и на десной стороне картины, в местах правоты, солнца и мужского начала, оставляя здесь обеих Марий, воплотивших в себе два лика женственности, Марию-матерь и Марию из Магдалы, плачущих и едва дерзающих поднять свои взоры на скорбно воспарившего над землею — пока невысоко, всего-то на половину человеческого роста.

Однако, если справа и на самом деле какое-то ответвление противостоит сердцу, то какая же тяжкая на него ложится ноша ответа и совести — потому что ведь по сравнению с естественным внешним миром, где многое попросту физически невозможно, в мысленном хождении вероятно как раз именно в с ё, и эта его всевозможность, ничем, кроме себя самой, не обоснованная истребительная свобода способна высосать силы души до конца, до дна, — так я опять подступал поначалу шажочком, боясь погрузиться с ходу целиком в скрытую и непроглядную до рассвета темень правой стороны, выжидая (нечестно) просветления ее чужими силами. Да и вообще, — оправдываясь все менее убедительно, сказал я себе, — никогда мой внутренний человек особенного доверия ни к расчленяющему любомудрию, ни ко блудливому воображению, оторванному от сердца, не испытывал.

И тогда снова пришлось проникать в опасную область через образ... Года два назад, холоднющим декабрьским вечером, когда мороз пробирал весь состав человеческий чуть ли не до самых костей и до костного мозга включительно, я вышел однажды из необязательных далеких гостей, кажется,

в районе «Ждановской» (как будто бы она уже где-то упоминалась?), да и до той еще нужно было незнамо сколько пилить на автобусе, который ночью раз в час ходил по этой окраинной улице с хитрым таким именем вроде «Красный Казанец» (где ударение ставить?) или же и вовсе «Кипятка» (я не вру, есть такая), — каковое последнее название звучало тогда подчеркнуто издевательски. Да вид вокруг и вообще был какой-то недобрый, а окна зданий светились ничуть не веселей, чем болотные огоньки. И еще — правда, может быть, мне это только так показалось во мраке — там был такой совершенно круглый дом... Вот рядом с ним-то, в скрытом за тьмою воздухе вдруг и послышался тонкий, расстроенный, напомнивший какие-то застывшие в отмороженной памяти не то образы, не то осколки образов, ни на что в точности не походивший звон...

Забывая о стуже, я отправился по слуху на ощупь к тому месту, откуда доносились диковинные переборы непонятного этого концерта, порою терявшего напряжение ритма, а потом разом взванивавшего во все свои то ли треснутые колокольцы, то ли рассохшиеся доски огромного ксилофона размером уже никак не меньше хорошей избы. Подходя постепенно поближе к неведомому источнику, я одновременно все больше терзался тревогою о том, что вот возьмут сейчас они и прекратятся, эти звяканья, как умолкает вблизи прохожего опасливый кузнечик, и гадай потом всю долгую дорогу домой на другой конец города — ехать туда отсюда, пожалуй, раза в два дольше, чем до Киева самолетом лететь, — что это за диво такое приключилось, ведь не могло же оно появиться совсем ниоткуда и нарочно только для того, чтобы меня озадачить, а после невидимо сняться с места и уплыть против ветра, как громадная эфирная цикада.

Страх спугнуть необычное своим приближением вообще свойствен сознанию, и возникает он всякий раз, когда случается что-то очевидно чудесное, которое душа, вопреки тому, как это обычно растягивают в книжках, принимает с готовностью сразу — а потому и обманывается: чудо же обращается прямо на глазах в тень от расщепленного надвое и скрученного неведомым насильником в подобие лиры уличного фонаря или в какую-нибудь еще иную похабную, но правдивую подробность. И вот, набивши шишки, я теперь научил-

ся, наталкиваясь на подобное, подбираться к нему не торопясь, будто бы внутри постоянно сомневаясь и ведя там с собою такие дурного тона недоверчивые разговоры, какие приняты среди напуганных пришельцами обитателей «научно»-фантастических пространств, уговаривающих друг друга ничему случившемуся не верить и чертыхаясь подшучивающих над глубиною собственного простодушия.

— А все это проделывается лишь для того, чтобы, подкравшись по возможности ближе, вдруг запечатлеть, опечатать взглядом — и тогда уже никуда они не смогут подеваться, эти застигнутые тайны, поневоле сделаются частью моей действительности, а она, обогатившись (и вновь неправедно) новым видением, станет живее и замечательней...

И вот так тихохонько подбредя на шершавых от мурашек озноба ногах, застывших под ставшими колом на зимнем колотуне штанами, я увидал невеликую пустую площадку с круглым замерзшим озерцом. За ним, вращенные намертво в плоские бетонные подножия, стояли две дюжины высоких полых стальных шестов, на какие обычно по праздникам надевают флаги. Теперь они были голы, и налетавший крепкими порывами пригородный ветер с пустого поля по ту сторону Кольцевой дороги стучал о них ржавыми тросами, извлекая неожиданные и жуткие перезвоны, подобные звуку, слышанному нами только в литературе — пению так называемой Эоловой арфы. Уже век или более как и самому ветру, наверное, не попадалась эта древняя барская забава, когда-то излюбленная помещиками среди славных пространств восемнадцатого столетия, — и тут наконец он, дорвавшись до игрушки своего детства, мирской колоколенки, выпевал как мог соскучившуюся неотвытую душу...

Мне сейчас кажется, что не неверным было бы попытаться сличить, вставить в сравнение и эту горестную музыку, наложив ее на внутреннюю картину видений разгульного воображения праздного разума, в котором звенящие шесты со спущенными флагами — коренные установки и понятия всякой личности — колеблются налетающими ветрами помыслов, приходящих изнутри и извне. И перестук их на декабрьском ветру — это те темные ночные мысли, от которых душе и мёрзко, и мерзко, и мертво, и страшно, и смертно.

— То есть вид снова выходит тоскливый, но такого рода

печаль, как и вызывавшийся ранее страх — печаль во славу, и бояться ее нечего, тем более что загодя было заявлено право на счастливого человека, а уж ему-то, должно быть, если и приходит на ум нечто механически-жуткое, удается разрешать подобные горестные недоумения надеждою или там еще чем-то похожим...

Дрожащие своею нотой хоругви застывших навек оснований, прочно севшие в бетонные сапоги, представляют собою также и видимый образ поминавшейся уже болезни души, происходящей от сковывания живого, замыкания его в матрицы для принудительного воспроизведения по приказу. Верю, что внешне как будто бы оправданное, всякое такое овеществление, протокол на искусство на самом деле ложны, ошибочны, ибо отсекают живую связь с миром: законсервированное в «Ученых записках» причитание, гравированная на канавке пластинки симфония (что в переводе ведь означает «со-звучие»), бросившее отблеск на кинопленку единственно-цветущее поле — срезаются, отрываясь от корня, питающего их кровью, и, поданные на блюде, напоминают голову еще недавно столь пламенноречивого Иоанна, уста которого теперь посинели и молчат, доносящийся же откуда-то из-под низу голос чревовещателя есть лишь неживая тень звука, застящая только открытый слух и мусорящая его шумом, отучая от пристального внимания к подлинному полногласному звону. Прекратившее вслушиваться и вглядываться, научившееся находить подмененное счастье в замороженных продуктах восприятие само смерзается, омерзевает и высыхает, становясь ломким на ветру тростником, шестом без стяга: подошва еще крепкая, но верхушка звенит без умолку и толку, остановиться не умеет, да уже и не может.

Утратив проникающее любопытство, человек постепенно теряет вместе с ним и верховенство в мире, царственное свое посреди него достоинство; или, вернее, хотя видимое возглавление еще и остается, но упущено подлинное руководительство, — а лишенный входящего во все его нужды хозяйского попечения белый свет становится похожим на разгулявшееся, запьянствовавшее имение увлекшегося цыганкою владельца. И гудит над ними диким эхом расстроенный аккорд уже не Эоловой — Бореевой арфы...

Расплевавшись с миром, принялся по закону всякого рас-

кола разваливаться далее на все меньшие доли в самом себе и внутренний наш человек; утратило в нем возможность сообщения природное, естественное начало — с началом умственным, с областью со- и воображения. Будто брутальный водитель междугородного автобуса, затормозивши посреди многочасового пути машину, не весьма обинуясь намеками, объявил: так, значит, мальчики — направо, девочки — налево, да поживей, стоянка всего три минуты. Потом он первым бесстрашно вошел в лес и пропал... А за ним уже и остальные ездоки, пока еще аукаясь, разбрелись помаленьку во все стороны и окончательно потерялись.

— И действительно, повод к разделению души вроде был приблизительно столь же мелок и пакостен, а позже вдруг оказалось, что незаметно обе ее части получились не левы, обе и не правы.

Взять вот, скажем, глаголемую правоту рассудка: не очевидно ли теперь, что, после высвобождения от связанности сердцем, главным его свойством делается блудливость? И следующее за ней непосредственно чувство — это тоска. А ум ведь блудник нисколько не менее распутный, нежели тело, так что байки вроде «Похождений повесы» впрямую, хотя и в символических одеждах, представляют именно его падение...

Ныне же он знай себе множит словоложество, распространяя внутри всякое понятие, раскладывая его, разъяв на части, покрывая отборными сопряжениями и фабулами — и все это из единого бесцельного стремления упражняться во тщете. Вот «фабула» неизбежно приведет ему на память какую-нибудь «фистулу», а с нею за руку и детишек ее: свищ, простату, почечуй, коросту, чесотку, язву египетскую и даже саркому; потом уже, вслушавшись в ужасающее бренчание всех этих звуков, с неожиданной свежестью представит еще страшнейшего фонетического монстра, скажем, *ШТАНИНУ* — и впрямь же звучит для уха таким живорезом, что если бы наперед не было известно, к чему это в точности относится, то какую кошмарную необъятных размеров злую вещь — зловещь — можно, воображая, подобрать для такого слова...

Но и впериваться во что-то надолго рассудок не способен, все ему быстро надоедает; позабавившись немного, он

вскоре потом отступает, звеня шестами, поигрывая сравнениями и довлея себе, пустой сочувствием, зато донельзя преисполненный склонностью ко вдохновенному растеканию вдоль по древу. И сейчас я, кстати, позабывшись и представляя игру его чересчур наглядно, сам тоже поддался ее правилам, только принял участие в ней уровнем выше — в области смеха, нежного подтруниванья над собою. Как будто бы ну никак уж от бессердечности его и не избавиться, этого ума-суеслова, пролаза-шатуна, похотливца-скоморошины, с подблудными его прибаутками, со всеми этими блюдо —

...вот ведь опять же понесло...

— Не соизволяю!!

Хорошо еще, что хоть это до поры останавливает.

И поэтому лучше всего, покуда чувствуешь, что он сильнее тебя — не соваться, не лезть головою в огонь, а благоразумно отойти прочь на безопасное от собственного вольного помышления расстояние, коли уж так раскипятилось безнаказанным самобурлением и брызжет соблазнами от каждого своего соображения...

Однако и оно изначально виновно не было, просто сбилось с ходу, а когда-то — совсем не так давно, на врожденной еще нашей памяти — так же гремя созвучиями, вместо опасных забав занимало себя наречением имен рекам, лесам и странам, народам и детям своим: но тогда, состоя со всеми ими в семейных отношениях, оно умело счастливо угадывать подлинные названия, заранее как будто уже заложенные внутри и только требовавшие первого произнесения вслух, после чего те отзывались, отвечая: «Я!» — на его голос, и колдовским этим откликом поджигали разложенный в них костер бытия. Такие имена в большей своей части дошли даже до сего дня, превратившегося тем временем в «сегодня», и совсем недаром то у одного сочинителя, то у другого вдруг посреди художественного обмана вылезает настоящее крепкое наименование старого города или никоим образом не могущая быть придуманной фамилия, точности которой он поразился где-нибудь в поездке, а потом и перенес, недолго мучась сомнениями и сочтя себя вправе объявить находку своею собственностью, так сказать, не зазря совесть — да в повесть.

Вот вынем из сумы хотя бы лист автобусных концов, списанный прошлой осенью на станции в Серпухове:

ВЫДУМКИ
ТЕМЬЯНЬ
ТВЕРИТИНО
КОШКИНО
БАЛАБАНОВО
ИСТЬЕ
СКРОБУХОВО
ВОРОБЬИ
СЛАЩЕВО
КИЯСОВО
СЬЯНОВО
МАШОНКИ
ШАРАПОВА ОХОТА
ВЯЗОВО
ВЫСОКИНИЧИ
СПЕЦОВО

— Ведь тут заключены чуть ли не все звуки нашей истории, с ее темной «Темьянью» и истинным «Истьем», от киевского «Киясово», тверского «Тверитино», белорусских «Высокиничей», басенных «Выдумок», барской «Охоты», крестьянских «Машонков» с домашне-животными «Кошкиным» и «Воробьевым» — вплоть до теперешнего «Спецова»...

Или еще, пусть и нет уже, кажется, числа подобного рода синодикам, однако они нам всегда в радость, и даже не столько уму, сколько внутреннему любовному к сродичам своим кровному чувству — вот бумажка с именами жильцов двухэтажного деревянного дома в двинском городке Красноборске: Улыбышев, Ястребцов, Козелихина, Запотылок, Марущак, Тощигина, Галочка (Людмила Владимировна), Зверс.

А у современных негодяев, кстати, и самой что ни на есть чистой славянской породы, разве не такие же навек запечатлевающие — только другого толка печатью — фамилии и имена, не менее того заслуженные, убийственно-верные, просто нарочно злей не придумаешь, вот, например, у...

— Эй, не соизволяю! Сказал же тебе-себе, что брось судить, что не ваше-наше это дело оценки раздавать, батюшка

мой собственный рассудок, Петрово детище, оставь, пожалуй, тотчас же и не пакости!

...Отошел пока...

Возвратимся же на должное. Все эти родовые слова тоже восстанавливают нашу связь (кажется, в эту минуту я и почувствовал впервые, что откровение потихоньку опять стало двигаться) с предками и поэтому следом за ними из сумы появляются еще и древнейшие прозвища, выписанные на сей раз из летописей и исторических книг. Вот на выбор сначала личные имена славян — то есть те, которые на «славу» рифмуются:

Доброслав, Болеслав, Изяслав, Ростислав, Борислав Некуришинич, Судислав, Пакослав, Мстислав, Мечислав, Всеслав, Вячеслав, Святослав, Предслава, Гордислава, Городислава, Звенислава;

и княжьи — Ярополк, Святополк, Володарь, Юрий Кончакович, Данило Кобякович, да еще мать Красна Солнышка Владимира Малуша, про которую вдруг под конец в «Повести временных лет» говорится, что «преставися Малфрида».

Потом боярские и воинские: Домажиричи, Молибоговичи, Гордяп, Боголеп Судьич, Глеб Зеремеевич, Якуп Зубаломич, Фома Доброщинич, дядька Вышата, мужики Поромоня, Тюфтярь и Милей...

А вот как осваивались имена инородческие: хан Котян, пан Лешко, венгр Коломан, литвины Миндовг и Бяконт, половцы Боняк, Шарукан и Тугоркан, татары Куремса с Бурандаем, варяги Рогволод и Ингварь, превратившийся в Игоря, а еще и целые племена — ятвяги, берендеи, черные клобуки, торки, мурома, ижора, меря, водь, лопь, весь, чудь (страна чуди у Чудского озера звалась Причудьем...).

И поселения: град Дядьков, град Завихвост, град Божьский, грады Холм, Чарторийск, Вручий, Торческ, Жидичин, Изволин, Межибежье, Зубцов, Кузьмище, Коснятин, Усвят, Теребовль, реки Лыбедь, Стырь и Звероножка...

— Это ли не свобода слова? И при полном, казалось бы, отсутствии суетливого гоношения, в совершенном покое, зато на такие звуки сразу откликается тот таинственный состав в человеке, который и не растолкуешь связною речью, а можно только назвать: русское...

Погоди-ка, теперь я припомнил и фамилию вчерашнего

нашего водителя, надписанную на вставленной в рамку табличке у кабины — потому что она тоже была какая-то значащая: ПЯТИКРЕСТОВСКИЙ.

Если б его еще и Питиримом звали —

...Хе-хе-с, как говорится: два Рима пали, третий стоял, четвертому не бывать, а Пятерим — наш водитель...

— Я не соизволяю, наконец!!!

...Тьфу ты, как разжегся, даже дотронуться горячо. И снова спасибо древнему средству, тысячелетнему совету на отсечение помыслов. А ведь тоже оно вовремя тогда пришло, именно когда разная зломудрящая пакость доводила до такого бездонного уныния своим постоянным у меня гощением, что сам уже стал склоняться счесть, будто один я и есть всего на свете такой бессмысленный шаткий человек — и недолго было до того, чтобы насовсем замкнуться, сделаться спасливым вообще на любую мысль и образ, окончательно потерять всякое душевное утверждение.

И вот на семинаре по средневековой культуре пустившийся в отступление профессор рассказал, как в былые эпохи споры о душе, воле и духе занимали целые народы и производили государственные перевороты, а потом для победы над налетающими ордами помыслов стараниями поколений подвижников был выработан немалый арсенал защитного оружия, открыта и исследована обширная область между любомудрием и душевнословием — то есть философией и психологией, — которую теперь называют психотехникой или еще аутогенной тренировкой; нынешние ученые советуют пользоваться их приемами для восстановления пошатнувшегося внутреннего единства и нравственного исцеления личности, защиты здоровья рассудка от воровского шатания мыслей и постоянно приражающихся желаний. Совершенно независимо в свое время в разных странах — в древней Индии, в Византии, у арабских суфиев — было обнаружено, что человек как независимое существо за возникающие у него непрестанно перед умозрением образы не несет прямой ответственности, потому что не он является их создателем и хозяином, да и вообще редкий из живущих и живших достигал того, чтобы по одному своему произволению не претерпевать таких искушений вовсе, при этом сейчас обычно вспоминают восточную притчу про то, как ходжа Насреддин до-

казал невозможность не думать о белой обезьяне как раз тогда, когда это нарочно настрого запрещено...

Но трезвый разум способен все же отгонять эти являющиеся ему картины, особенно при помощи того самого замечательного восклицания «не соизволяю!», означающего: я как полномочная личность с подобным пожеланием свою волю соединять отказываюсь. Вина начинается с того только часа, когда человек склоняет внимание и начинает прислушиваться к хульному помыслу, беда — когда помысел входит в душу, вступает в прение, соблазняя и привлекая, и горе — коли он все-таки сумеет подвигнуть на исполнение им подсказанного.

Отсеченный же своевременным отказом от соизволения, посрамленный искус тотчас с воем и проклятиями исчезает. Но есть в византийских сказаниях и история о том, как некий великий пустынник по имени Иоанн Колов, которому удалось еще в молодости совсем избавиться от блудливых соблазнов воображения, вдруг забеспокоился и стал добиваться возвращения их к себе, справедливо полагая, что без постоянной борьбы неготовая личность теряет крепость, слабнет и оттого постепенно утрачивает способность твердою стопой проходить посреди лукавой хитрости мира...

— Может быть, кому-то это со стороны покажется и не очень важным теперь и нужным, но пусть он подождет малое время, прежде чем осуждать, а самим существом своим поймет потом всё тот его будущий человек, кому придет пора собственной внутренней смуты, от которой душа невидимо плачет.

Сумевший же научиться воевать с мысленными мороками и побеждать их нечувствительно, но верно приобретает расположение к откровению — ожидающую чистоту всего состава своего естества. Был такой старинный обычай на Руси, устанавливавший, что даже совершенно незнакомые люди, встретившись на глухой тропинке в лесу, должны непременно здороваться, показывая этим свою доброжелательность к неведомому прохожему, то есть, в сущности, признавая во всяком своего брата по человечеству, сородича; молча шел мимо только недруг и немец. Подобное тому происходит и при начале просветления души, когда оказывается, что любое мгновение может принести разгадку искомой связи, каждый

случай и зрелище становятся вещими странниками, спутниками на дороге, неожиданно обнаруживающей наличие цели.

...Вот говорят, что современные археологи по вновь раскопанным останкам и древним изображениям открыли еще одну зловещую подробность страшной казни через распятие. Выяснилось, что руки несчастным прибивали к перекладинам креста не сквозь ладони, а в основании кисти — примерно там, где добрый доктор щупает у нас пульс; и тогда всякий вздох подвешенного вызывал в нем дикую боль, напрягая вместе мускулы тела от головы и груди до ног. Так причина всей жизни — дыхание — неразрывно и мучительно связывалось с нескончаемостью страдания.

Но не это ли и новое звено в цепи образов того, как болезнование и сочувствие способны возбуждать в душе ощущение сродности с теплотой всей Вселенной, сопрягая, казалось бы, никак не совместное, приближая вчерашнее к сегодняшнему, показывая архитектонику также и в нашей земной архитектуре — через совокупную цельность отечественного строения и благой заложенный в него замысел...

Внутреннюю подлинность соединения подобного рода исцеляющей боли и печалования со всяким дыханием доказывают уже не логика и не наружный общий смысл — его окончательным подтверждением служит так называемый «чин слёз». Это такое особенное состояние, когда любовь приводит человека на самый порог узнавания его связи со всем существующим и существовавшим; по преимуществу оно-то и представляет собою непосредственное действие откровения, то есть открывания, отворения всех дверей вовне, и вот какими словами передавали его испытавшие — подавай, сума, книжку:

«Сердце горит и, как огнем, распаляется день и ночь, не желая даже пищи от сладости пламенеющих видений. Потом внезапно начинают литься слезы и примешиваются ко всякому делу, то есть и во время чтения и размышления, и когда принимаешь еду и питье — в знак того, что общая всех мать, благодать, вожделевает таинственно произвести на свет обновленного человека. Тогда разум возбуждается чем-то высшим — подобно дыханию, какое младенец привлекает в себя, находясь еще внутри утробы; а поелику он также не терпит того, что для него необычно, то начинает вдруг изда-

вать вопль, смешанный со сладостью меда. И в какой мере развивается час от часу внутренний человек, в такой же бывает и приращение слез, — таким образом они оказываются как бы пределом, положенным между телесным и духовным, между жизнью страстной и чистотою. Но это и не то чувство, какое с промежутками посещает всех ищущих, также имеющих по временам слезное утешение, — это иной, особый чин, который бывает у плачущего непрерывно день и ночь. В сем случае очи его уподобляются водному источнику до двух и более лет, а потом только достигает он умирения помыслов; по умирении же помыслов, сколько вмещает отчасти естество, входит и в покой.

Среди мира душевного отъемлется уже и такое множество слез, так что теперь они приходят вновь в меру и в надлежащее время. По внутреннем упокоении ум научается созерцать скрытое, и человек начинает ощущать в себе обновление и изменение всяческих. Так происходит чудесное рождение в жизнь новую, в ту жизнь, где дух получает господство над плотью и свою печать целости и простоты кладет на все способности естества. В сердце тогда возбуждается всецелая любовь, которая, беспредельно расширяясь, включает в себя всех и вся, не разделяя на части и не привязываясь ни к чему исключительно. Упоенное этой любовью, оно возгорается о птицах, о животных и о всех вообще тварях, о разумных и неразумных, о добрых и злых. При воспоминании и при воззрении на них сердце от великой и сильной объемлющей его жалости умиляется и не может вынести, или слышать, или видеть какого-либо вреда и даже малой печали, претерпеваемых тварию...

Эта беспредельная и целостная любовь рождает истинное ведение и духовное созерцание, она становится столь естественна и горяча, что когда нападает на кого без меры, то делает душу его восторженной. Поэтому сердце стяжавшего любовь сию не может уже одно вмещать и выносить ее, но по мере приращения качеств нашедшей любви в нем усматривается новое необычайное изменение. И вот ощутительные признаки сего: лице у человека делается огненным и радостным, тело его согревается, отступают прочь страх и стыд; сила, собирающая воедино привычный ум, бежит от него, и бывает он как бы изумленным...»

5

Конечно, до этого изумления еще куда как далек путь, постепенно все круче взлетающий в гору, — однако же малое его подобие и сейчас вполне возможно представить. Приближающееся, соотносимое с таким состоянием ощущение возникает иногда, например, летом в городе, когда вдруг чувствуешь, что попал внутрь некой искусной игры, образованной людьми, домами и освещением и напоминающей собою известные шахматные положения вроде старой индийской защиты, в которой твердо укрепленный король, а с ним и каждая фигура на доске понимают оправданность и нужность своего стояния на условленной клетке в этом высоко символическом мире, потому еще напоминающем наш, что и там и тут есть внешне не выявленные, но заведомо известные движущие всем правила, а действительность порою видится целиком составленной из образов, рассказанной притчами, вложенными одна в другую, как разноцветные ярмарочные матрешки. И оказавшийся в состоянии соответствия, созвучия со всей расстановкою ходов, подымаясь мысленным взором над полем игры, начинает испытывать род духовного парения, полета, если сумеет воспринять веяние легчайшего дыхания общей целесообразности и смысла. Незаметно накопивши силу, внутри него наконец случается тогда беззвучная ослепительная вспышка мгновенного распознания, вокруг открываются, дымясь, обширнейшие области, разверзаются под ногами бездны, бывшее прежде прикровенным и темным делается безжалостно явным, и происходит быстрое резкое движение сознания вверх. Душа просвечивается до дна и принимает в себя распространенное повсюду тепло надежды — той надежды, которая была ранее названа буквально одеждою ее, приготовленной для декабрьских ожиданий и тоски о возвращении крыльев; на-деянье — это как бы направленность на деяние, надежда отворяет вежды свои, и в ней явственно звучит «да!» (надеж-да), а оно уже само по себе, кроме всех прочих значений, есть еще и «ад» наоборот. Правда (прав-да), как выясняется, была здесь заключена именно в древнем завете о том, что только надеющийся не погибнет. Надежда — как бы отпечаток, запечатление в человеке его откровенных видений на будущее, питающее веру в осмысленность красо-

ты в мире, жажду продолжения связи и включения в ее состав.

Близкое присутствие этого вхождения возбуждает, приподымает и тело, — при каждом шаге, когда нога с ходу ударяется в крепкую ответчивую осеннюю землю, лес и небо кругом подлетают, прыгают в глазу и гудят, наполняя слух своим гулом...

Похожее чувство уже приходило, несколько слабее, вчера под конец пути, в то время как на правой стороне начинало постепенно светать, а потом лунное и рассветное сияния стали соединяться. Сам водитель, будто поверив им, повернул машину и повел ее к месту встречи двух этих светов, неожиданно обнаруживших некую общность в своей коренной противоположности. Левое и правое, бестолковая прежде жизнь и бессердечный толк, вдвигаясь в середину с западного и восточного концов, собирались, с обоих боков втаскивая горе своего разделения на гору — горé, — и на замерзших голых древках рассудка один за другим принялись оживать знамена завтрашнего, то есть сегодняшнего уже, праздника.

— Но день минувший пока еще не обратился совершенно в нынешний, а усталый ведун, довезший гораздо позже, кружным путем, да и то не до конца — потому что, как говорили, главная дорога давно перекопана, — на последней остановке утомленно поник головою на руль и сонно пробормотал, указывая по проселку вперед (во всем автобусе оставались лишь мы с ним вдвоем): чем ждать попутную да мерзнуть тут до утра, иди-ка ты лучше пешком — все равно к полудню и добредешь.

...Так что с того часа до соединения было совсем уже немного времени...

Поначалу, не в силах и здесь насовсем бросить игру в уподобления, я согревал себя сочинением родового герба; и если взаправду на каком-то копье появится когда-нибудь значок Руказенковых, то пусть это будет рука, держащая лучащийся зрачок, — но только не пресловутое «всевидящее око», взлелеянное иллюминатскою эмблематикой, а наш вполне человеческий глаз, — над зеленым полем, уставленным избами, на очелье почти каждой из которых издавна действительно изображался именно этот крестообразно сияю-

щий солнечный знак. Поместиться между ними, продолжить тот строй, где гонитель Савл превращается в ревнителя Павла, а рыбарь Симон, суетящийся вокруг одержимой горячкою тещи, в подвижника строителя Петра —

...как создатели окраинных сторóжей-монастырьков времен первого обживания русских просторов носили не греческие имена игумена и архимандрита; первым их званием было: строитель...

— найти свое дело в этом ряду и роду, развить вязь и снова сплести, — не в этом ли состоит назначение и сегодняшнего пути, да и самогó идущего по нему; ведь, наверное, не зря предки мои все были чем-то связаны с зодчеством и дорогой в обширнейшем смысле слова: и отец — военный инженер, и дед — малороссийский писатель, и даже прадед, что работал брусчатником, мостил крепким камнем улицы и площади державы.

А эти люди, как кажется, обладали еще и счастливым умением не отождествляться с мутной проточной мглой времени и сквозь назойливую тьму беспрестанных забот ощущать внутри себя просторное царство свободы. Тут впору припомнить и урок великого в славе и в несчастии строителя Никона, выработавшего прочную способность не терпеть зла и жалеть злого: именно так можно достигнуть предварительной чистоты умного зрения, без которой за дело строения и приниматься-то стыдно.

Облик же полной чистоты трудно передаваем словами, но глубоко в нас живет вера в его существование; это легче почувствовать в высокой словесности или в музыке, вот, например, — спасибо, сума, я на сей раз рискну рассказать наизусть по памяти — высочайший образ творческого рая, сада духовных чудес, что увидал в конце своей жизни любимый герой средневековых сказаний и песен царевич Варлаам:

«Слезами поливашеся, повергся аз на землю и уснув мало; виде же себя восхищена и на поле великое заведенна, еже бе красными цветы и зело благоуханными преукрашено. Тамо сады стояху всяческия многоразличныя, плодами странными и дивными умножены, их же бе образ сладок и еже вкусити возжделенно; и листвие древес тех от ветра некоего тонка движушеся тихо и весело шумяше, несытное источаю-

ще благоухание. Под таковыми древесы престолы устроены, от сребра яснoблещуща и от бисерей лучи велии из себе испущающии; одрове драгими покровы постланы, коих лепота и светлость всяко сказанис превосходят. Воды же течаху посреде глубоки и благозрачны зело и само ласкающия видение.

Чрез чюдное убо оно и великое поле видешеся град неизреченною светлостию горящ, стены от злата чиста, столпы же и врата от каменей многоценных, ихже никтоже николиже виде, созданна имущий. И кто изречет доброту, и покой, и веселие, и радость града онаго, свет бо свыше, частыми лучами сияющ, вся улицы его исполняше...»

Вот таким представлен там символ итога, завершения трудов, просветления сердца, внешний видимый зрак вечной истины... Только хотя я и справедливо благодарил суму за участие, но обращаться-то к ней было ошибкой: она потерялась, да теперь уже и хвататься поздно. Забыл, наверное, в поезде или автобусе на переднем сиденье; а если разобраться хорошенько, то я начинаю сейчас сомневаться, брал ли ее вообще вчера с собою — просто, должно быть, привык постоянно обращаться к ней мысленно за художественною подмогой, советом или согласным сочувствием, Но ведь выше было уж прилежно выведено, что нужные слова запоминаются внутри нас сами собою, притаившись до времени, а потом по первому зову появляются в свой час, согревая надежду, подсказывая действия, — и оставляя, однако, всегда решать все самим.

На самом-то деле для того, чтобы вызвать ее содержание на свет, в суму мою не всегда действительно приходится лезть прямо рукою — да такая котомка-калита и не моя вовсе собственность, пусть я от души до сих пор и считаю ее за свою, складывая туда все потребное для будущего, так что с тех пор оно уже делается как бы полностью моим, а я — его. И, кроме того, постепенно растет уверенность в том, что даже сознательно и нарочно потерять ее нет возможности, потому что свитки эти раскатаны по всему белу свету и повести с притчами читаются в лесах, речках, полях и в цвете небес; похороненные осенью на глубине подобно зерну, они всходят, пережив холодную смерть, преобразив-

шись, подымаются из земли и возрождают вновь распавшееся было единство...

А почти в самый миг встречи прошлого с настоящим, когда дорога выкатилась из прохладной еловой рощи и с угора стала видна вся окрестность, на повороте вдруг возникла чудная, раздвоенная посередине сосна: в юности в нее, вероятно, попала молния, и единый до того ствол разошелся от опаления на стороны двумя ветвями, которые сделали в пространстве круг, а потом снова согласно потянулись кверху, образовав нечто вроде арфы. Тогда мне еще показалось, что где-то уж подобное дерево здесь встречалось, и мысли сразу рассыпались на поиски; собравшись же вновь, сложились в рассуждение о том, что вот если бы удалось провести через сердца двух таких созвучных растений линию взором, то в конце ее должна выйти живая разгадка всей связи... Но не чересчур ли это было бы одновременно внешне хитро и громоздко, а внутри простовато?

— Я все же не удержался и заглянул в пустое оконце между стволов: сквозь него далеко в поле за текущей в ивах Протвою видна была моя боровская деревня, которая хоть и не младше самой Москвы, но вот уже сотни лет лежит в земле, ничем почти снаружи не приметная для мира. Веками ее, существующую въяве, не замечали своим привычным закостеневшим оком проходящие мимо, а она, однако, не сгнила, ждет; кстати, «деревня» — это ведь, кажется, от «дерева»?..

Точный завершающий ход!»

Содержание

Паламарчук П. Г.

П 14 Ивановская горка: Роман и повесть / Предисл. В. Кожинова. — М.: Мол. гвардия, 1989. — 317[3] с., ил. — (Восхождение).

ISBN 5-235-00526-0

Главное действующее лицо романа — холм посреди Москвы, носящий имя Ивановского. Здесь, на площади менее одной квадратной версты, в течение тысячи лет сошлась добрая сотня Иванов — от нашего современника Вани-Володи до «знаменитого вора и сыщика» Ваньки Каина; а кроме них, и такие равнохарактерные герои, как княжна Тараканова, царица Евдокия Лопухина, вожди сект хлыстов и скопцов и даже доподлинный «чорт на Кулишках». Но все эти разномастные деятели и их похождения призваны в конце концов донести до читателя основную авторскую мысль: главный урок нашей истории, насущно необходимый в современности, — борьба за народное, государственное и духовное единство.

П $\frac{4702010201-165}{078(02)-89}$ **141—89** **ББК 84Р7**

ИБ № 5900

Паламарчук Петр Георгиевич

ИВАНОВСКАЯ ГОРКА

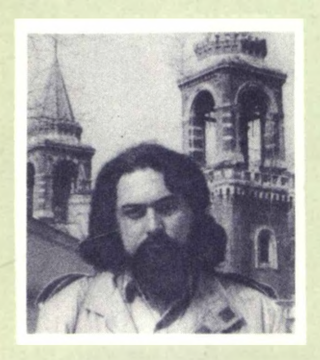
Заведующий редакцией **С. Рыбас**
Редактор **Е. Еремина**, при участии **М. Чаловой**
Художник **Е. Ковалева**
Художественный редактор **А. Романова**
Технический редактор **Н. Теплякова**
Корректоры **Т. Контиевская, И. Ларина, Л. Четыркина**

Сдано в набор 31.10.88. Подписано в печать 22.03.89. А04732. Формат 70×108$^1/_{32}$. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Условн. печ. л. 14. Условн. кр.-отт. 14,35. Учетно-изд. л. 16,6. Тираж 50 000 экз. Цена 1 р. 20 к. Заказ 2536.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес ИПО: 103030, Москва, Сущевская, 21.

ISBN 5-235-00526-0

1 р. 20 к.



Петр Паламарчук, кандидат юридических наук, автор художественного исследования о последних произведениях Н. В. Гоголя «Ключ» к Гоголю» (Л., 1985), подготовил к изданию сборник «Гоголь: история и современность» (М., 1985) и книгу избранной прозы Гавриила Державина и Константина Батюшкова (М., 1984 и 1987). Первая книга его художественных произведений «Един Державин» вышла в серии «Молодые голоса» издательства «Молодая гвардия» в 1986 году и получила Всесоюзную премию за лучшую первую книгу молодого писателя. Роман «Ивановская горка» собирает воедино исторические черты всех «современных московских сказаний» Петра Паламарчука.